

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ

РУССКАЯ
ФАНТАСТИКА

ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ



РУССКАЯ ФАНТАСТИКА



ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ

Казалось, в начале XXI века Россия больше не может мечтать о большом космосе. Казалось, ей навсегда придется проститься с амбициями великой космической державы. Однако отдельные люди, в советское время воспитанные на мечте об иных мирах и после распада СССР сумевшие добиться финансового могущества, с этим не согласны. В недрах секретных российских институтов начинается осуществление грандиозный тайный проект по разработке принципиально новых средств выхода в космос. Тайный – потому что в современной России слишком много тех, кто пытается навсегда отрезать страну от космоса: и своих, и чужих. И свои, как всегда, опаснее...





ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

ЗВЕЗДА
ПОЛЫНЬ

МОСКВА
«ЭКСМО»
2007

**ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ**

ЦИКЛ «НАШИ ЗВЕЗДЫ»

ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Р 93

Оформление серии *Е. Савченко*

Серия основана в 2003 году

Иллюстрация на переплете *М. Петрова*

Рыбаков В. М.
Р 93 Звезда Полюнь: Фантастический роман / В. М. Рыбаков. — М.: Эксмо, 2007. — 416 с. — (Русская фантастика).

ISBN 978-5-699-21613-0

Казалось, в начале XXI века Россия больше не может мечтать о большом космосе. Казалось, ей навсегда придется проститься с амбициями великой космической державы. Однако отдельные люди, в советское время воспитанные на мечте об иных мирах и после распада СССР сумевшие добиться финансового могущества, с этим не согласны. В недрах секретных российских институтов начинается грандиозный тайный проект по разработке принципиально новых средств выхода в космос. Тайный — потому что в современной России слишком много тех, кто пытается навсегда отрезать страну от космоса: и своих, и чужих. И свои, как всегда, опаснее...

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-21613-0

© Рыбаков В. М., 2007
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2007

*Антону Первушину, ненароком давшему мне идею
этой книги, — с благодарностью.*

*Памяти Королева, Гагарина и
многих, многих других настоящих —
с благоговением.*

Ибо религия, в конечном счете, есть действительно серьезное занятие человечества.

А. Дж. Тойнби

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЕТХОЕ НЕБО



ДРУГИЕ: ДАЛЕКИЕ МАЯКИ

 когда их голоса зазвучали отдельно от них самих, те двое и не вспомнили бы подробностей давнего разговора. Из их жизней спешащими на форсаже перехватчиками улетели (боевую задачу выполнили, но на базу не вернулся ни один) уже несколько лет, и каких лет! Если ныне и помнилось что-то, так уж не реплики, которыми они поначалу обменивались выжидательно и осторожно, будто подставные шары подкатывая один другому; запомнилось главное: по мере того, как они нащупывали друг в друге единомышленников, огромное яркое будущее, казалось потерянное, распахивалось впереди, словно небо, когда прорываешь облака. Запомнилось пьянящее чувство наконец-то найденного понимания, а значит — свободы.

Но теперь когда-то сказанные ими слова вдруг воскресли совсем в другом месте и совершенно для чужих ушей.

Потом их разговор прервала очередная пауза.

Скоро стало ясно, что это слишком уж долгая пауза. Нервно слущивались секунды. Упала минута. Лишь тогда один из слушателей остановил воспроизведение. И лишь тогда прозвучал вопрос:

— Это все?

— Это все.

— А предыстория?

— Предыстория довольно нелепа.

— Нетрудно догадаться, если запись началась с полуслова и на полуслове оборвалась.

— Носитель был поврежден.

— Очаровательно. Самосвал наехал?

— Не перебивайте. Носитель был поврежден. Курьер вообще погиб. Так и не удалось достоверно выяснить, несчастный случай это или хорошо подготовленное убийство. Это был не наш агент. Мы даже не знаем, чей это был агент. Мы не знаем, когда и кого он записал, и где, и почему этот разговор оказался ему достойным записи. Единственно, чем можем похвастаться мы, — это тем, что совершенно случайно оказались на месте гибели агента первыми и в числе прочих трофеев у нас оказалась флэшка с аудиофайлом. Файл был зашифрован, и весьма не по-любительски. Вы будете смеяться, но события произошли больше пяти лет назад. Вытянуть удалось лишь процентов двадцать семь информации, а потом ее еще крутили-вертели на расшифровке.

— Я хочу послушать еще раз.

— Нет ничего проще.

И снова голоса.

— ...Ведь даже при Совдепе это понимали. Военно-промышленный комплекс волей-неволей развивает высокие технологии, дает наработки — а потом они помаленьку просачиваются в остальные отрасли. Другое дело, что страсть к секретности их подве-

ла. Все, что рождала оборонка, было за такими семью печатями, что пытаться использовать новшества для обычной жизни оказалось невыносимо.

— Ну, и денег не хватало катастрофически...

Пауза.

— Кто о чем, а шелудивый — про баньку.

— Денежки счет любят, — по тону чувствовалось, что любитель денег улыбнулся.

— На себя денег никогда не было. На поддержку братских людоедов, идущих некапиталистическим путем развития, — всегда было. А вот на развитие собственное — шиш. Хотя... Если б Горбачеву нынешние цены на нефть — все могло пойти иначе.

— Да он при любых ценах развалил бы все, что только может развалиться. Катастрофическое неумение подбирать людей. Не было ни одного важного поста, куда он не посадил бы либо мечтательного пустозвона, либо врага...

— Ну да, конечно. Вот мы — другое дело, мы в людях не ошибаемся...

Пауза. Отчетливо было слышно, как трижды щелкнула зажигалка — кто-то из них надумал закурить. Но чувствовалось: пауза вызвана совсем не этим. Чувствовалось: банальности значат в их разговоре куда больше, чем когда их мусолят говоруны. Может быть, сейчас те двое с пытливым надеждой вглядывались в глаза один другому: у тебя та же боль? ты хочешь того же? мы можем заняться этим вместе?

— Во всяком случае, сейчас даже этого нет.

— Чего нехватишься, того и нет.

— Ах вы, Воланд наш... Я сражен. Я думал, на Руси, чтобы стать миллиардером, надо с детства не читать ничего уровнем выше «Каштанки». А если не удержался и открыл, скажем, в школе «Войну и

мир» или, паче того, Достоевского — все, пиши пропало. Деньги — грязь, промышленность — отупляющая погибель души, даешь слезинку ребенка...

— Во мне крепкий кулацкий ген, вот книжки меня и не испортили. У нас в деревне говорили: сей в грязь — будешь князь. В грязь, заметьте. Заметьте — сей. Это задолго до того, как Уоррен глубокомысленно изрек: надо делать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать... А дети плачут не потому, что кто-то худо строит мировую гармонию, а потому, что тятка вечно пьяный, шамать нечего и скушно жить.

— Я о том же. Никакая мечта, никакая мировая гармония не устоят, если не способны прокормить поверивших людей. Но верно и обратное: прокормиться легче, когда работа спорится, а спорится она, когда цель работы по душе. Что проку искать какую-то там национальную идею? Вот если появится, ради чего РАБОТАТЬ...

— Работают обычно ради денег.

— Да. Да, конечно, но если принять, что работают ТОЛЬКО ради денег, тогда мы упрямся в ту вонючую истину, которую нам навязывают: нет позорных работ, есть лишь позорные зарплаты. Киллер получает больше хлебороба или ученого? Долой хлеборобов и ученых, там позорно, айда все в киллеры...

— Кажется, понимаю, что вы хотите сказать.

— И это обязательно должна быть в высшей степени хайтековская задача. С одной стороны — достаточно масштабная, чтобы вовлечь не десятки людей, а хотя бы десятки тысяч. А с другой — предельно высокотехнологичная. Чтобы, ухватившись за это звеньишко, и всю экономику помаленьку вытянуть. Можно, конечно, согнать миллионы людей рыть канавы, чтобы повернуть реки вспять. Но тогда

через десяток лет мы окажемся вообще голыми и босыми, и даже с лопатами пойдут перебои, у китайцев придется покупать лопаты... Высокотехнологичная — и в перспективе очень-очень прибыльная. Чтобы покончить наконец с этим нефтегазовым зорищем!

— И у вас уже есть, конечно, точный ответ, уважаемый Борис Ильич?

— Да. Есть. Конечно, есть. Космос.

— Отчего же именно космос?

— Ответ простой и грустный. Колоссальные заделы, оставшиеся от Совдепа, здесь таковы, что при умелой реализации их хватит еще на один рывок. На следующий шаг. И его мы можем успеть сделать раньше всех. А это же и есть прибыль, в конце концов... Роль главных извозчиков в Солнечной системе — не так уж худо, а? Чем не идея? Ни в какой иной области у нас и в помине нет подобных заделов. Ни в вычислительной технике, ни в генетике, ни в биотехнологиях... да что ни возьми. Все упустили. Даже пресловутый мирный атом... хотя... термояд бы... Все равно, — голос дрогнул от волнения. — Космос ослепительней, вы не находите?

В ответ — беззлобный смешок.

— Как в старом анекдоте. Во-первых, это красиво...

— А вы не согласны?

Молчание.

— А разве нет? Разве не красиво?

Молчание.

— Господи, — голос неведомого Бориса Ильича, еще только что — сухой и напряженно сдержанный, вдруг ноюще раскис. — Ну неужели ни один человек из тех, что сейчас ворочают всей этой адовой бездной бабла, в детстве не сходил с ума от книжек про ракеты? Неужели ни у одного глаза не горели,

неужели не хотелось на самом деле, в реальной будущей жизни сорвать ветку марсианского саксаула? Полететь к венерианскому озеру, возле которого притаился древний звездолет фазтонцев? Какой скучный мир...

Пауза.

Медленно и задумчиво, даже чуть удивленно (нука, мол, помню или нет? смотрите-ка, помню!) второй голос проговорил:

— «Ту-ут, ту-ут, ту-ут», — пели далекие маяки...

Пауза.

Похоже, это был какой-то пароль. Какой-то кодированный сигнал: «я — свой...» В ответ раздался лишь порывистый вздох; но, судя по тому, как зазвучал разговор дальше, именно с этого момента предварительные переговоры начали стремглав превращаться во встречу старых друзей.

— Знаете, Борис Ильич... Когда в шестьдесят седьмом родители повезли меня в Крым, я прихватил с собой карту звездного неба. Там я впервые увидел не просто мутные бестолковые точки — а всю эту пылающую роскошь. Млечный Путь впервые увидел. Туда затягивает, будто смерчем, и страшно сорваться вверх, в прорву. Такой простор... Ночами, когда родители засыпали, я вылезал во двор с картой и фонариком и разбирался в созвездиях, зубрил названия... Маяки, понимаете ли, Вселенной! И ведь все помню до сих пор. Альфа Возничего — Капелла. Альфа Волопаса — Арктур. Альдебаран — Альфа Тельца, красный гигант. Альбирео — бета Лебеда. Бенетнаш, Мицар, Алиот... проверяйте — все семь из Большой Медведицы слева направо... Мегрец, внизу — Фекда, правее внизу — Мерак, и снова наверх, самая яркая — Дубхе.... А чтобы увидеть Орион, надо было суметь проснуться часов

в пять утра, в августе он же только под утро там восходит... Бетельгейзе, Ригель, Беллатрикс... Какие названия! Музыка, клавесинный концерт! А нынче спроси: что такое Беллатрикс? Крем для морд какой-то... Арктур? При Советах это был модный проигрыватель, а теперь и вообще, кажись, презики с бугорками в форме звездочек... Но я вставал и в четыре, и в пять, потому что от Ориона слева и чуть ниже — вообще Сириус, его ж нельзя не выучить, он же самый яркий на все небо, и вообще там Калисто с калистями!

Невеселые смешки в два голоса.

— Зачем это было пацану? И зачем у меня в башке все это до сих пор киснет? Ответ один... один-единственный. Потому что красиво. — Пауза. — Продолжайте, Борис Ильич. Пожалуйста.

Пауза.

— Да, собственно, у меня практически все... Просто время уходит. Люди, кстати, тоже. Кто уезжает, кто пропадает... Еще десяток лет — и все эти заделы утратят актуальность. Либо успеем, либо — ставим крест. И на возможности вдохнуть в экономику настоящую жизнь. И на возможности стать чуть ли не монополистами в межпланетье. И, между прочим, на мечте многих, очень многих не самых плохих людей, которые все это придумывали и старались построить...

Пауза. Наверное, самая долгая за весь разговор. Это был решительный момент.

— Но ведь все время что-то запускают. То с Плесецка, то с Байконура... Вон, к французам влезли, на Куру. Да еще морской старт... Вроде и так масса дел делается, нет?

— Как бы вам попонятней... В свое время народ вполне тащился от монгольфьеров. Весь Париж сбе-

гался газет, как покоряют небеса. Воздушные шары, ого-го! Мешки с песком, плетеные корзины... Передовая техника! Ветер дунул не туда — лети, куда он дунул. Дождь пошел, ткань намочила — читай отходную. Только когда появились принципиально иные аппараты, аппараты тяжелее воздуха — тогда и впрямь можно стало говорить о том, что человек научился летать, куда и как хочет.

— Ну так что с того?

— Мы до сих пор летаем в космос на воздушных шарах, вот что. У нас самые надежные воздушные шары в мире, согласен. Отладили за сорок лет. Но это воздушные шары. И мы даже не пытаемся делать что-то более современное. Махнули рукой. Даже мечты такой нет, не говоря уже о технических заданиях.

Пауза.

— Без государства тут все равно не обойтись, Борис Ильич. Ни по финансам, ни по индустриальным мощностям. Ни по безопасности, между прочим.

Это была первая реплика о конкретном. Уже не о цели — о средствах. Значит, о цели — договорились?

Пауза.

Потом тот же голос — негромко и задумчиво, словно бы отвечая сам себе:

— С другой стороны, государство большое... Столько ведомств... Разве все знают про всех, кто что делает? И кто чем зарабатывает?

Смешок.

— Насчет заработка, между прочим, может оказаться куда более радостно, чем вам по первости кажется....

— Что вы имеете в виду?

— То, что, во-первых, если собрать побольше не-

стандартно мыслящих людей, перспективных, окрыленных, дать им вдоволь денег для быта и работы — никогда не знаешь, сколько всего нужного они попутно сумеют придумать. Принципиально нового. Могут возникнуть оч-чень приятные неожиданности. Мозги надо собирать. А во-вторых, космос — это не данаидова бочка, куда деньги льются без пользы и без следа исчезают, а наоборот — бочка с деньгами. Кто ее откупорит — тот и будет богатенький Буратино.

Пауза.

— Нет, без Кремля не обойтись. Мечты мечтами, горящие глаза в детстве — это прекрасно, конечно, всех колбасит и плющит, но тут такие риски, на какие не пойдет никакой частный капитал. Надо как-то мухлевать по-хитрому... и очень честно притом. От всей души. А в Кремле тоже люди разные. И похуже, и получше...

— Вопрос, как отличить первых от вторых.

— Ну, это всегда вопрос вопросов...

Двойной грустный смех, усталый-усталый.

Пауза.

И все.

Конец записи.

Слушатели перевели дух.

— Странный документ.

— О да. Казалось бы, обычный интеллигентский скулеж. Очередной «Вишневый сад». Два потерявших себя человека плачутся друг другу в жилетку. Одно удовольствие иметь таких противников. Но есть настораживающие моменты. Первое — сам факт того, что этот разговор был записан. Кому-то, кто, во всяком случае, не глупей нас, он показался настолько важным, что его решено было писать. А потом еще и с нарочным переправлять полную за-

пись неким неизвестным нам хозяевам. Второе — несколько раз названное имя: Борис Ильич.

— Что-то знакомое...

— Вот-вот. Если провести одну прямую через две точки: первая — русские ракеты, вторая — Борис Ильич, то получим Бориса Ильича Алдошина, видного ракетчика еще советских времен. Ныне — научный руководитель смешанной государственно-частной корпорации. Она создана совсем недавно. То ли дочернее предприятие космического агентства, то ли будущий конкурент ему...

— Даже не слышал. Хотя уж мне-то... Нешумное предприятие, судя по всему. Как называется корпорация?

— «Полдень-22».

— Как-как?!

— Вы удивлены?

— Не то слово...

— Весьма претенциозно, согласен. Ну, полдень — это, надо полагать, помпезная заявка на будущий расцвет России. А двадцать два... Интеллигенция советской закваски всегда была без ума от антиармейской литературы. Гашек, Хеллер... Видимо, кто-то из организаторов вовремя вспомнил «Уловку-22». Полвека назад в вашей стране такое назвали бы низкопоклонством перед Западом. Теперь это можно расценить как успокоительный жест американским друзьям: мы, мол, о вас помним и с армией не работаем... Врут, скорее всего.

— М-да. Ну... можно, наверное, и так... И чем эта корпорация занимается?

— В том-то и дело, что ничем из ряда вон выходящим... Всего-то коммерческими геостационарами. Довольно конкурентоспособными, но не более того.

И много их не нужно. Эпизодическая функция, можно сказать.

— Больше настораживающих моментов нет?

— Как сказать... Есть. Если бы речь шла о нормальной стране с приемлемым для Запада уровнем жизни, мы бы и внимания не обратили. Подумаешь, человек перешел с одного места работы на другое... Но это же Россия. За последний год трое очень видных русских ракетчиков без шума и рекламы вдруг отъехали из Штатов обратно на родину. Один был далеко не последним человеком в марсианской программе. Двое других занимались интереснейшими орбитальными экспериментами. Ни Марс им оказался не нужен, ничего не нужно... Я уж не говорю об уровне и качестве жизни. Все теперь в «Полудне». Вот вопрос вам как русскому: чем можно сманить увлеченно работающего на переднем крае науки русского из его уютного собственного домика на берегу Чесапикского залива или в пригороде Хьюстона? Знаете?

— Я предпочту выслушать начальство, не пытаюсь предвосхитить его блистательных умозаключений.

— Странно, что я должен объяснять это вам...

— Бывает, что со стороны виднее. Да к тому же и по-русски вы говорите лучше, увы, иных русских.

— Сесе... Так вот — ответ напрашивается. От интересной работы, от гарантированного достатка, от перспективы закончить дни свои в благоденствии в самой комфортабельной стране мира русского можно сманить только перспективой построения какого-нибудь очередного коммунизма. Уже далеко не на всех русских это действует. Но если действует, то только это. Ему говорят: ты нужен светлomu будущему! И готово дело, человек сам не свой. Теряя порт-

ки, плюнув густой слюной на три «Крайслера» в гараже и на яхту на причале перед домом, бежит строить светлое будущее.

— Вы поэт...

— Сам председатель Мао писал стихи.

— Да, слышан. Какие выводы из всей этой поэзии следуют лично для меня?

— Самые простые. Через три недели «Полдень» осуществляет запуск. Для европейского космического агентства... Вы известная акула пера. Неоднократно писали о проблемах российской науки. Вот и действуйте. Вам надо попасть на Байконур для освещения этого довольно заурядного, но все же события. И посмотреть. Во-первых, действительно ли именно геостационарными спутниками занимаются люди, которые нам особенно интересны. Список фамилий вы получите... Прежде они работали над очень перспективными сюжетами. Если эти люди вам встретятся, надо познакомиться и аккуратно поинтересоваться: а что они, собственно, творят? Неужели всего лишь спутники? Если эти люди вам не встретятся, надо аккуратно поинтересоваться: а где они, собственно? Мы, мол, так слышаны об этих талантах... народ хочет знать... И во-вторых. Во-вторых... Не может ли так оказаться, что запуски геостационаров и вся эта достаточно банальная возня — лишь операция прикрытия, а на самом деле в «Полудне» трудятся над чем-то куда более дорогим и масштабным. Когда я буду знать, что вы действительно туда едете, мы обговорим некоторые существенные детали подробнее.

— Вы обо мне очень высокого мнения. Задание проще, так сказать, пареной репы...

— О нет. Понадобится приложить усилия.

— Спасибо, что объяснили... Вы дадите мне ко-

пию файла? Надо вслушаться. Уловить характерные обороты, любимые словечки... Голосовые идентификации не проводились?

— Борис Ильич — это действительно Алдошин. У нас была запись его выступления на последнем Дне космонавтики в центре Хруничева. Совершенно легальная, для ТВ. Второй голос сопоставлять не с чем. У нас же нет банка данных голосов всех русских миллионеров.

— Пора бы иметь.

— А если это не миллионер? Просто, скажем, работник спецслужбы, прикинувшийся миллионером?

— Или миллионер, прикинувшийся работником спецслужбы.

— Да так хорошо, что им стал.

И они засмеялись — в первый раз за весь разговор.

ГЛАВА 1

Считая чужие деньги

Чтобы хорошо считать чужие деньги, одного образования мало. То есть ремесленнику, может, и хватит — но на то он и ремесленник: ему на роду написано решать только рутинные, стандартные задачи. Для настоящей работы нужен талант — а он, надо сказать, лишь другое имя интуиции. Разве можно просто научиться, например, расставлять слова в правильном порядке? То есть можно, даже компьютерные программы научились править стиль — и правят его, как бравые фельдфебели: пятки вместе, носки врозь. Возможно, нарушен порядок слов, следует подлежащее поставить после сказуемого... или наоборот... Неважно. Разве мог бы ре-

месленник расставить слова так: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...» Тот, кто запрограммирован на правильность, правильным счел бы вот что: «Ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана прокуратор Иудеи Понтий Пилат вышел в крытую колоннаду дворца шаркающей кавалерийской походкой, в белом плаще с кровавым подбоем». Все, что сложнее этого построения по росту — это уже не умение, а исключительно талант, сиречь интуиция. Чутье. Нюх.

Иногда, чтобы понять, куда делись деньги, чутья нужно не меньше. Все вроде правильно, тик в тик, комар носу не подточит, ни компьютер, ни ремесленник и не почесались бы. И только интуиция, едва-едва встревоженная ей одной приметными странностями в бумагах, тебе говорит без обиняков: документы хоть на выставку, а денежки тю-тю.

Нецелевое использование?

Не удивишь нас этим, ох, не удивишь... Обидно только, что на сей раз корыстным паскудой оказался не какой-нибудь очередной «Влип-Инвест» или ООО «Му-му», а благороднейшее, казалось бы, заведение, занятое счастьем человеческим, пусть в отдаленной и оттого не всеми одобряемой перспективе. Освоением космоса...

Давно уж пора бы, кажется, хорошим пинком распротиться с благодушными идеалами юности — а особенно на такой работе, где идеалы не то что не живут, но быстро либо стервенеют, сатанеют даже и тянутся к огнестрельным мерам пресечения, либо хладнокровно делаются очень дорогим товаром, ненавязчиво выставляющим себя на торг среди тех са-

мых ООО, на борьбу с нечестностью коих они, идеалы эти, так кавалерийски рвались...

Давно бы пора — а все никак.

Спутники они, поди ж ты, запускают... То есть иногда и запускают, конечно, — но не зря же те падают теперь через раз. Потому что, надо полагать, делают их по остаточному принципу — из колбасных обрезков.

Корпорация-то смешанная! Государственно-частная!

Ну, понятно, кто б сомневался... Из казны частникам бабки качают, а там — тонкими струйками в офшоры. Держава дерет налоги с тех, кто работает и, болбоча красивые слова, из-под полы отдает тем, кто зарабатывает. А те знай пилят. Чего ж не пилить, коли дают? Тебе, мне, ему, жене моей, евонному дядюшке... Что? Осталось чего-то? Ну, тогда давай и впрямь, что ли, спутник запустим...

Все как у всех. Жулье. Везде жулье.

Тщательнейшим образом Кармаданов готовил свой отчет, готовил не день и не два, подчиненных буквально загонял и все нервы им вымотал, себе — тоже; все оттенки и едва заметные неувязки сплел и сфокусировал в один вывод так, что тайное стало явным, однозначным и не подлежащим сомнению — и ждал справедливой и заслуженной если и не награды (не военные все ж таки), но хотя бы уж похвалы.

Размечтался.

— Вы понимаете, Семен Никитич, — бубнил, свесив щеки ниже подбородка, Сам, а Кармаданов, закипая, не мог отделаться от ощущения, что непосредственный начальник в растерянности и не знает, как себя вести со слишком дотошным работником, сунувшим, по всему виду, нос дальше и глубже, нежели по чину положено; и это было

★ — подозрительнее и отвратительнее всего. Крышует он их, что ли? Мысль Кармаданова текла накатанным путем, профессиональным. Ремесленным. — Вы поймите, Семен Никитич...

Суть долгой путаной речи сводилась к тому, что род деятельности там у них в «Полудне» уж очень специфический и не надо сразу предполагать худшее. В конце концов, если в процессе работы вдруг выясняется, что нечто запланированное оказалось не нужно, а нечто незапланированное — нужно, то в пределах определенных сумм можно и за необходимостью последовать, а не за буквой договоров и смет... Старая песня. Начальник трамвайного парка тоже может в процессе работы вдруг выяснить, что ему не пять новых вагонов нужны, а одна новая дача. Понять его, конечно, можно, но отнестись к этой ситуационной переброске средств с уважением — никак. Зачем тогда мы тут сидим, штаны протираем? Чтобы ворье чувствовало себя под заботливым крылышком другого ворья, уровнем выше?

Ох, страна! Игла в яйце, яйцо в ларце, ларец в подлеце...

А ведь Кармаданов был так в себе уверен, что даже перед женой похвастался утром. Кратенько, без занудных подробностей. Просто хотелось от нее услышать «молодца» и пожелание успеха. Жена у него была умница, красавица, на восемь годков моложе его и вдобавок учительница литературы в обычной школе. Что такое учительница литературы в обычной школе в Москве в начале двадцать первого века? Это — диагноз! А она ухитрилась ходить гордо, как фотомодел, как голливудская дива, и даже ее раздолбаи относились к ней соответственно. «Руфь Борисна, а на фига этот ваш Болконский торчал, как рекламный щит? Падать надо было,

брюхо беречь! Салабон! Князь, а выучка как у голубого...» И она была счастлива: фамилию все ж таки запомнили, подобным прилежанием учеников не во всех школах могли похвастаться... А дочку держала так, что малышка, когда ее на дне рождения (пять годочков ей тогда исполнилось всего!) попросили прочесть стишок (один из взрослых гостей, перебрав, что ли, перепутал эпохи), отвесила тому по полной: только тряхнула косичками и, не задумываясь, почесала: «Или бунт на болту обналузив из-за пояса лвет пистолет...» У любителя сажать чужих детей в лужу только глаза на лоб полезли.

Что Кармаданов теперь-то жене скажет?

Ох, какие пустяки в башку лезут, когда тебя нежданно-негаданно натягивает твое же собственное начальство. Которому ты доверял, которое уважал...

И конечно, кончилось все просьбой оставить пока отчет и все прилагаемые к оному документы здесь, у Самого, для более глубокого и тщательного обдумывания и анализа, для осторожного наведения окольных справок («У них же запуск на носу, ответственный, для европейцев — нельзя их сейчас нервировать...») и забыть о своих подозрениях впредь до особого распоряжения, уведомления, свистка...

Понятно. Скажут тебе «ату» — кусай, бухгалтер. Скажут «фу» — отползай, извинительно поджавши хвост и с надлежащей скромностью прискуливая: прощеньица просим-с, обознались... совсем не то-с имели в виду-с...

Запуск у них, значит...

Ясно, какой это запуск. Очередной кровный российский миллиард в Европу запускают на чей-то потаенный счет, и к бабке не ходи. Спорим — спутник до орбиты не долетит?

Этого Кармаданов, конечно, вслух не произнес. Смысла не было. Закончил на «Понятно» и, надув морду дисциплиной, с непроницаемо тупым видом отклонялся.

Никак он подобной зуботычины не ожидал. Здесь, в своей же цитадели, в одном из последних оплотов... Тьфу, черт. Все, хватит быть дураком. Хватит.

Но чтобы Сам — крышевал...

Большому кораблю — большое плавание. Не кого-нибудь крышует, а освоение околоземного пространства. Земля — колыбель человечества, но нельзя же, в самом-то деле, вечно сидеть в колыбели, пора и на промысел, пора и о семье подумать...

Интересно, каков откат?

Мысль легко катила накатанной колеей...

Стало быть, думал он, выходя под праздничные лучи весеннего, уже почти летнего солнца, можем расслабиться и получить удовольствие. Все впус- тую. Зато теперь — свобода. Имеем право даже пив- ка попить.

Он походя взял бутылку якобы «Варштайнера» и по-простому употребил. Позорище. Гуляет средь бела дня, забыв машину на стоянке, взрослый солидный работник и прилюдно дует из горла.

И с виду позорище, и на вкус дрянь.

Он взял еще одну и оприходовал еще торопливей. Захотелось чего-то большого и чистого. Что называется, приникнуть к корням. Полечиться, сбить пере- хлестнувшую горло удушливую уверенность в том, что, кроме жулья и ворья, ничего в мире уж и не оста- лось. Кармаданов спустился в метро и доехал до оста- новки, которую про себя так и называл до сих пор «Площадь Ногина». Странно — как старик. Он, мол, Сталина видел... Нет, конечно, не видел, бог миловал. Но почему-то заклинило еще в ту пору, когда он ез-

дил сюда чуть ли не каждый день по вечерам в течение нескольких месяцев — старательно умнел, работая в Исторической библиотеке. Три ха-ха. Думал науку двигать... А когда грянула демократия, Кармаданова после краткого восторга так перекосило от боли и жалости к тем, кто вкалывал-вкалывал, да и проснулся вдруг за бортом жизни, на свалке, никому не нужным приживалом в родной стране, и скоропелые хозяйчики в нос лишенцам кулачки суют, злорадно приговаривая: «Это ты просто жить не умеешь, совок!», и с наработанным на трибунах комсомольских райкомов пафосом трясут коротенькими пальчиками перед телекамерами: «Я своими руками заработал пятьдесят миллионов!» — так перекосило... А, что говорить, все тыщу раз говорено, языки в мозолях. Но в опера идти было и не по темпераменту, и не по физическим данным. Решил брать воруе единственным, что имел, — умом...

И вот чем все кончилось.

Воздух был похож на вздувшийся пузырь расплавленного стекла. По Маросейке перли валы машин. Теснота сбила их в единую грудку так плотно, что казалось, это, урча и вонюче газуя, ползет какой-то нескончаемый ящер с панцирной ячеистой спиной — то приостанавливаясь переварить очередную живьем заглоченную писклявую мелочь, то снова пускаясь в многотонное перемещение. И сказал Господь змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и есть прах во все дни жизни твоей... Редко-редко мелькал со всех сторон затурканный отечественный уродец — все джипы, все «Лендроверы», все «мерсы» а то и «Феррари», а то и «Ламборгини». Москва — столица нашей Родины. Мила мыла «Вольво»...

★ Богатеет Отчизна. Вот только не платят почему-то никому, кто что-то производит. Платят только тем, кто перераспределяет кем-то уже произведенное. Или продает, что природа стране подарила. Чисто конкретно зона — кто при кухне, тот и сыт, а кто на лесоповале, тому известно что.

Он взял еще пива. Давненько он так не заводился. А пиво было теплым и омерзительным, как жизнь. Теплая такая. Не холодная, не горячая... Никакая.

Горькая.

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, и пала на источники вод. Имя сей звезде Полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки...

«А ведь я не был тут с тех самых пор», — сообразил Кармаданов и отхлебнул пива. Он свернул в Петроверигский переулок — двадцать лет назад тот был тоже Петроверигским, в этом наблюдалось постоянство.

Петроверигский медленным извивом втек в Старосадский. Это название тоже было вечным. И вот напротив — библиотека. Государственная публичная историческая... Сколько лишних слов.

Как там пахло книгами...

Как она облупилась, бедняга. Какая обшарпанная. Какие мутные окна. И заклеенные бумагой расколы стекол. Будто тут свалка, и сто лет никто не бывал... Будто война, и фугаска взорвалась неподалеку, а никому и дела нет, все вымерли...

Он так и не перешел Старосадского. Приблизиться к двери не осталось сил — он слишком хорошо помнил, как, пропуская именно в эту самую дверь юную, тоненькую, как камышинка, красавицу гимназической стати, познакомился с нею — с буду-

щей своей женой. Которая пожелала ему нынче утром успеха, сказала: «Какой же ты молодца» — и чмокнула в щеку...

И тут он понял, что не может так просто смириться. Если у вас, подонки, такая война, что библиотеки разваливаются сами собой, то — на войне, как на войне.

В голове уже шумело, и море было несколько по колено. Кармаданов аккуратно поставил пустую бутылку на заплыванный тротуар, аккуратно вытер губы тыльной стороной ладони и достал мобильник.

С Валькой Бабцевым они корефанили еще с восьмого класса. Одно время даже всерьез дружили. Восторженные юнцы, трепещущие от близкого торжества светлого будущего, съезжались день у Кармаданова, день у Бабцева, и вместе смотрели первый съезд горбачевского Верховного Совета, даже лекции мотали из-за этой бодяги — каждый свои. Где-то с середины девяностых несколько разошлись — уж больно неистово Валька клеймил зверства федералов в свобододолюбивой, невинно поруганной Чечне. Он тогда сильно пошел в гору — золотое перо демократии; каких-то иностранных премий кучу нахватал, летал в Европу бесперечь... Но был все равно славный, честный, забронзовел совсем немножко; многие, куда менее именитые, надували щеки куда толще и только этим, по сути, и брали. Хотя, конечно, ругал все, что положено: свертывание реформ, насилие над бизнесом, тупость и лицемерие почвенников, мракобесие православия, государственную поддержку русского национализма, произвол спецслужб, нарушения прав человека... Стандартный набор «Собери сам».

Про воров, правда, писал мало — мелко это было для него.

Но тут — как раз ему по росту: не просто воры, а воры государственные, да еще и не в нефтянке какой-нибудь, всем приевшейся, а на космодроме. Кто еще наилучшим образом лягнет государство, ничего не проверяя и всю душу вкладывая в этот страстный акт?

И когда ответил в трубке донельзя недовольный Валькин голос, Кармаданов, наскоро поздоровавшись и даже не политесничая в стиле: «Как жив-здоров? А жена? Есть пять минут поговорить?», жажнула сразу:

— Слушай, тут такое дело... Срочно надо встретиться. Почему? Потому что есть взрывной материал.

Позже, вспоминая и анализируя импульсивные свои действия в тот день — хотя зачем было их анализировать задним числом, он и сам не знал, после драки кулаками ведь не машут, — Кармаданов иногда спрашивал себя: неужели, если бы не три пива натошак, он бы как-то молча, внутри себя смикшировал полученную плюху и ничего бы не случилось?

Или пиво все же было ни при чем, а просто у него сточилось наконец все самообладание и до смерти захотелось того, что по сравнению со вставшими поперек горла бумажными прохоровками показалось настоящим боем?

ГЛАВА 2

Свобода на баррикадах

— Мне страшно... — пробормотала жена. — Мне очень страшно, мы же воюющая страна...

Он ласково прижал кончиком указательного пальца ее нос, как кнопку.

— А что ты мне говорила, когда я писал, что Пу-

тина нужно сместить и судить за нарушение Хасавюртовских соглашений?

Она опустила глаза.

— Что нельзя идти на поводу у бандитов... — тихо признала она.

— Ну, вот.

— Он так быстро вырос... — едва слышно прошептала она, и голос ее дрогнул близкими, готовыми хлынуть через край слезами.

Это точно, подумал Бабцев. Быстро.

Только вот — кто о ком.

— Первогодков сейчас в горячие точки не посылают, — успокоительно сказал он. — Хоть этого мы сумели добиться.

— Ну и что? — спросила она. Шмыгнула носом. — Ну и что? Там и без войны сколько ребят калечатся. По телевизору чуть ли не каждый день... Побег, стрельба друг в дружку... Это же страшно подумать, что творится в армии.

Да уж, подумал он. Американец Хеллер, наверное, полагал, что описал ад — а описал дом отдыха с рисковыми аттракционами. Читайте Гашека. Армии всех тоталитарных государств одинаковы.

Только плюс еще вечный русский бардак.

Правой рукой он обнял жену за плечи и несильно притянул к себе. Она прижалась на миг, потом уперлась в его грудь кулачками.

— Нет, Тинчик, надо наконец что-то решать.

Тинчиком она его называла, когда хотела ну очень уж приласкаться. Понятно...

Она заводила этот разговор не в первый раз. Но теперь уже был май, приперло. Выпускной год у балбеса.

— Ты же знаешь, что у нас нет сейчас свободных денег.

— Неужели нужно так много? Я узнавала...

— Но ты же хочешь не только в военкомат. Ты же хочешь, чтобы он сразу поступал. Это по меньшей мере двойная такса.

— Как ты говоришь... — Она вывернулась из-под его руки и отступила на пару шагов. Подняла глаза. Глаза уже сделались сухими, и понятно было, что теперь она примется не умолять, а требовать. — Такса... Все-таки ты не настоящий отец.

— Тогда попроси у настоящего, — сухо сказал он.

— Ты же знаешь, что у него ни гроша.

— Так не бывает. Все эти годы он не давал ни гроша — это да. Воля твоя, тебе хотелось быть благородной. Я понимаю. Раз, мол, я сама ушла, то и... Но сейчас действительно критический момент. Пусть твой гений в коротких штанишках раскошелится в кои-то веки.

— Почему ты так пренебрежительно о нем говоришь?

— Да побойся бога, Катя! Я его вообще не знаю, мельком видел пару раз еще тогда... Я говорю о нем только так, как говоришь о нем ты!

— Неужели я обзывала его гением в коротких штанишках? Не помню...

— А разве это бранные слова? — улыбнулся он.

— Смотри каким тоном... Вот у тебя тон был сейчас такой...

— Какой у тебя, такой и у меня. Вот где-то перед самым разводом по телефону ты его назвала даже «Эйнштейном недоделанным». Но только один раз.

— И ты помнишь?

— Наверное, это у меня профессиональное.

Она помолчала. Покосилась в зеркало, летящим движением — он очень любил, как она движется, — поправила прическу. Помяла один из локонов надо

лбом, когда прижималась лицом к его груди. Теперь все снова стало как надо.

— Это твое последнее слово?

— Катюша, ну нет денег, — сказал он мягко, но окончательно.

— А ты напиши что-нибудь такое... быстренько... для европейцев.

— Сейчас уже не те времена, дорогая. Нас почти придушили. Начинается все с того, что простые люди не хотят идти на поводу у так называемых бандитов — а кончается тем, что по-настоящему бандитской становится власть.

— Потрясающе. То есть ты хочешь сказать, я же и виновата в том, что у тебя нет прежних возможностей плевать желчью?

— Не ты одна. Народ опять взалкал величия и вечных ценностей. Как я еще в девяносто седьмом писал, сравнивая нацистскую Германию и современную Россию, «расцвет национальной культуры даром не проходит».

— Ой, да хватит политики. Сколько лет вместе живем, парень к тебе по-своему очень даже привязан. И ты с ним вроде дружишь... Ты понимаешь, что сейчас решается вся его жизнь?

— Конечно, понимаю. Я не понимаю только, почему его отец должен быть избавлен от всех этих проблем. Он что, несовершеннолетний?

Она глубоко втянула воздух носом.

— Ну, хорошо, — сказала она.

Потянулась к вешалке, сняла плащ. Одним текучим, змеиным движением облилась чужой кожей. Линька наоборот. С почти издевательским изяществом вступила в туфли. Все это заняло секунды, он ни разу не смог поймать ее взгляд. Когда она хотела, она умела прятать глаза по полдня — а тут секунды.

— До вечера, — примирительно сказал он на пробу.

С поджатыми губами, молча она вышла из квартиры. Уже с лестницы оглянулась.

— Я сегодня возьму твою «Ауди», — сказала она, не глядя ему в лицо. — У тебя все равно пьяный вечер, а мне надо хоть иногда выглядеть посOLIDней.

Кладнула дверь — словно киллер передернул затвор.

С добрым утром, сказал себе Бабцев и несколько раз глубоко вздохнул, старательно успокаиваясь. Вот и попробуй поработать теперь. Она-то в своей конторе может это делать в любом состоянии, как автомат. За несчастные шестьсот баксов...

А ведь она заранее знала про «Ауди». Если сказала это только с лестницы — стало быть, ключи уже были у нее в кармане...

Все, все. Надо сосредоточиться. Работы непочатый край. А вечером — идиотская пьянка; никак в этой стране не могут без пьянок, ну никак. Подумаешь, несколько редакций разом определились, кого посылают на запуск. Первый частный геостационарный спутник... Как будто это что-то значит. Если в стране фашист на фашисте, то хоть каждый день мирные геостационары запускать для слеподырых, блаженненьких дурачков из Европы — все равно от этих запусков за милю воняет поганой оборонкой. Ну, бог даст — опять упадет.

Коли едем вместе, надо, понимаете ли, всем заранее сдружиться — то есть выпить. Будто мы и без того не знаем каждый каждого, как облупленных. Один себе на уме, ни рыба ни мясо, один русопят (представляю, как он ужрется!), одна красотка, даже удивительно, как она с такой мордочкой и фигуркой

еще умеет прилично складывать слова... Почему я должен с ними пить?

Что за мерзкая страна...

Бабцев просидел у ноутбука почти час, но работа не шла, и, когда зазвонил телефон, взял трубку с отчетливой надеждой.

И она оправдалась.

Хотя в первый момент он почувствовал скорее разочарование. Конечно, с Семкой Кармадановым они в свое время очень неплохо дружили, но нельзя дважды войти в одну и ту же реку — особенно если она давно пересохла. В молодости ничто не говорило о том, что, повзрослев, Семка станет ограниченным фанатиком. А нынче у него повсеместно воры, грабители обездоленного трудового народа, зверообразные приватизаторы...

Курам на смех. Как будто можно предоставить людям свободу выборочно. Хорошим — свобода, плохим — конвой. Наоборот, только свобода и показывает, кто чего стоит. В строю-то все одинаково славные, красивые, бескорыстные и бритые наголо. Нельзя сначала выяснить, кто честный, а потом дать ему права. Наоборот, надо сначала дать права, а потом смотреть, кто нечестен, и к тому применять закон. А вот если закона в этой стране нет и не предвидится и если никто даже не хочет, чтобы он был и применялся, а все рассчитывают исключительно на царскую милость да на шубу с боярского плеча, — никто ей, стране этой, не виноват.

На самом деле хорош-то именно и только тот, кто умеет свою свободу, свои права превратить в источник существования. Пока не превратил — свободы и права пустой звук. Все равно что библиотека в доме неграмотного. Чем обильнее получился источник — тем, значит, тот, кто конвертировал в него

свою свободу и свои права, лучше и умнее. А кто всегда готов сдать их за фук, чтоб его обрили и загнали в барак с барачным торжеством справедливой пайки — чем он хорош? Гад он, убогий и опасный. Убогий потому, что не способен ничего создавать, а опасный потому, что тех, кто создавать способен, жаждет утянуть в барак с собою вместе.

Лет восемь назад их с Семкой только начинало растаскивать в стороны этими истинами, но теперь Бабцев мог относиться к бывшему другу в лучшем случае лишь снисходительно. И, сказать по правде, Бабцев поехал на предложенную Кармадановым встречу только потому, что это был хороший предлог уйти из дома, оторваться от текста, который не хотелось писать.

А оказалось, что Семку бог послал.

Тот, конечно, даже сам не понимал, на какую напал золотую жилу, да еще как своевременно. Ну, куда ему понять — пивом от него разило на пять метров. Поэтому Бабцев сразу с мягкой решительностью отклонил предложение приятеля зайти куда-нибудь «посидеть» — он знал, что такое посиделки с пивком, начинающиеся чуть не в три пополудни, и чем они кончаются; а вечером и так обязательная пьянка. Они обосновались в скверике между Старой площадью и Лубянским — на солнышке, на скамеечке, хорошо! Весна!

У Бабцева уже через пять минут разговора так поправилось настроение, что он наконец ощутил весну.

Впрочем, разговор оказался недолгим. Собственно, Кармаданов не шибко много мог рассказать подробностей — как раз подробностями-то ему заняться и не дали, стреножив с ходу. А если учесть, что надо ухитриться подать материал, не засветив источник, не таким уж пудовым обилием фактов можно было

отмолотить очередной мыльный пузырь, которым никак не желающая подышать империя по старинке дурила головы своим крепостным. Но упускать такую возможность было нельзя. Бессовестно было упускать такую возможность, недостойно.

Довольно поспешно отговорив заключительную часть дружеского разговора («Совсем мы оборзели, видеться перестали! Надо чаще встречаться! С кем еще и поговорить-то в этом мире! Ну, созвонимся...»), Бабцев понесся обратно, к станку. И по дороге все прикидывал: придержать материал до возвращения (то, что ему в ближайшие дни как раз на этот запуск и предстоит командировка, он Кармаданову не сказал) или пустить в дело сразу, торопя публикацию насколько возможно? И тот, и другой варианты имели свои преимущества, но имели и свои недостатки. В итоге Бабцев остановился на втором — отчасти, наверное, потому, что ему самому по-детски не терпелось ударить жареным фактом в рыхлый бок гниющего ВПК. Сейчас все же не социализм; душат прессу, душат, но полностью отработать назад не удастся и не удастся ничем — во всяком случае, без большой крови. А стало быть, отказать Бабцеву в доступе на космодром после такой публикации никто не сможет; наоборот, будут пылинки сдувать. В итоге перед ним все двери откроются. Ну, может, и не совсем все, но многие. Прямая выгода: явиться в качестве уже состоявшегося обвинителя. Чтобы они ему не просто рутинно пыль в глаза пускали, а просили прощения. Чувствовали себя нашкодившими и пойманными за руку молокососами, каялись. Принимали позы подчинения. Это азы психологии...

А пасынок был уже дома и, разумеется, сидел у то и дело гремящего лучевыми выстрелами компью-

тера. Звук был врублен на полную. Шестиканалка... От каждого зала квартира ходила ходуном, чуть штукатурка не сыпалась. На дисплее вилась какая-то тропка среди зеленых холмов, вдали виднелся полуразрушенный замок. В такие минуты Бабцев не мог удержаться от унылой мысли: какие же сокровенные таинства природы, какие достижения человеческого гения и какой умопомрачительный полет высоких технологий задействованы тут — только для того, чтобы и от рождения-то не слишком умный рослый розовощекий балбес становился все глупее и глупее. Ребенок, время от времени вкрадчиво и вслепую касаясь клавиатуры, с донельзя озабоченным, мыслящим лицом неотрывно глядел в экран — будто судьба человечества зависела от того, направо он шагнет или налево.

— Привет, Вовка, — сказал Бабцев.

Ребенок даже не обернулся — только обернись, а вдруг плевател ь яда выскочит, или кто там у него сейчас? Лишь негромко пробормотал:

— Привет, Валентин.

Вот так. Уж не «папа», разумеется, и даже не «дядя Валентин» — просто по имени. Будто они одноклассники, весь век списывают друг у друга и на одних девчат заглядываются. Сколько лет это Бабцева коробило — а что сделаешь?

— Чем занят?

— Драконов мочу, — сквозь зубы ответил Вовка.

— В сортире? — не удержался Бабцев.

Эта фраза как гнутый гвоздь застряла у него в душе. Сколько раз давал он себе зарок больше не трепать ее, и так уж затрепанную, и не марать об нее губы — но время от времени она по-жабьи выпрыгивала сама. Это была не фраза, а квинтэссенция эпо-

хи. С первых же дней своего существования режим все сказал о себе сам.

Вовка ответил не сразу. Что-то там порулил сначала, холмы поползли за левую рамку экрана, замок скрылся.

— Где встречу, там и мочу.

— Послушай, Вовка, — сказал Бабцев. — Отвлекись на секунду, послушай.

Ребенок, будто делая великое одолжение, с демонстративной неохотой полуобернулся к нему и даже снял пальцы с клави.

— Н-ню? — подбодрил он отчима.

Бабцев встал перед ним посвободней. Не хватало еще выглядеть как солдат перед маршалом, торчать навтыжку. Сесть? Поздно.

— Жизнь очень короткая, Володя, — проговорил он мягко, повествовательно и с нарочитой неторопливостью. — Сейчас ты об этом еще не задумываешься, но в ней не так уж много часов. Да-да, не дней даже, а именно часов. Можно посчитать.

— Не надо, — тут же предупредил пасынок.

— Не буду, не дрейфь. Но на прохождение каждой такой дурки у тебя уходит все свободное время трех, а то и четырех недель, так? За это время можно было бы прочитать десяток хороших книг. Я не говорю про всякую ученость, это на любителя, — но хотя бы художественных. Из них тоже много вытягиваешь — причем как бы невзначай, произвольно... Думаешь, откуда я впервые узнал, скажем, про реформы Эхнатона в Древнем Египте? Из фантастики про древних пришельцев! Если б не она — в жизни бы, может, не узнал, это же не мой круг интересов... И такого очень много. Потом ведь не наверстать, Вовка. Стукнет тебе сорок, и вдруг спохватишься: я же ничего не знаю! Монтесума кто такой? А чем от-

личается Нансен от Амундсена? А что за штука — астероиды? Нет, не помню. Помню, что сто сорок семь драконов замочил... А больше — ничего. Прощел всю игру? На месяц меньше жить осталось — вот и вся игра. Сейчас у тебя такая голова, что с лету все воспринимает, раскладывает по полочкам, запоминает с легкостью навсегда. А ты ее оставляешь пустой. Даешь съесть твою собственную единственную, неповторимую жизнь этой муре, от которой тебе на будущее совершенно ничего не останется, только дыры в мозгах. Я в последних классах школы читал, как сумасшедший... Дня не мог без книжки. И знаешь, весь кругозор, вся эрудиция — оттуда. Потом уже некогда, потом надо искать место в жизни, деньги зарабатывать — но каким я был бы сейчас неинтересным, серым дураком, если бы не нахватался тогда. Глотал все, от «Теории относительности для миллионов» Гарднера до «Крымской войны» Тарле, от Стивенсона и Стругацких до Цвейга и Манна...

— И много помогли тебе, сынку, твои ляхи? — басом спросил Вовка и захохотал. Выждал мгновение, но прежде, чем влет застреленный его репликой Бабцев опамятовал, примирительно улыбнулся отчиму: мол, не обижайся, я пошутил! — и повернулся к компьютеру.

Бабцев стиснул челюсти так, что захрустело где-то в глубине затылка, потом резко повернулся и пошел к себе в кабинет. И тут же сзади, упруго пнув его громом в спину и едва не заставив подпрыгнуть на месте, на сто децибел рванул бластер. Снося, вероятно, очередной сортир до основания.

Поговорили. Бабцев плотно закрыл за собой дверь. Ладно. Хорошо хоть не патриот... И на том спасибо.

Любить эту страну может только тот, кто любит, когда его, извините, дерут в зад. Коллективно. Позводно. Если вдруг выяснялось, что рядом — патриот или хотя бы тот, кто себя так называет, Бабцев испытывал приступ необоримой гадливости, словно к нему вдруг сумело незаметно подобраться отвратительное огромное членистоногое. И вот зашевелило теперь склизкими от яда жвалами...

Все что угодно — только бы не патриот.

Бабцев открыл ноутбук. Надо работать. Надо бороться, только это придает жизни смысл. До вечеринки оставалось три часа. Надо успеть написать и отправить.

И присовокупить в сопроводительном тексте для редактора, что весьма существенно — поторопиться с публикацией. Тогда будет шанс, что успеет выскочить до отъезда, может, просто-таки с колес, завтра или послезавтра.

ГЛАВА 3

Радость Руси есть пити

Голова ощущалась как трехлитровая банка, до половины наполненная чем-то тяжелым и жидким. Жидким и очень тяжелым. Сверхтяжелой водой. Тэ два о, невесть почему и зачем высунулся из темной глубины чей-то хвостик с наклеенной на него пожелтевшей этикеткой. Вот тебе и тэ два о. Стоило хоть чуть-чуть двинуть головой, тяжелая густая жидкость внутри черепа — свинец? ртуть? тэ два о? — увесисто плескалась, больно ударяя в кость. Того и гляди выпрет через темя, проломив детский родничок... Конечно, тэ два о. Не зря ведь так тошнит. При лучевой болезни, говорят, тошнота — первый сим-

птом, а она ж еще небось и радиоактивная, сверхтяжелая-то вода, особенно если в больших количествах.

А все же страшной водки в больших количествах жидкостей нет.

«Ну зачем же я вчера опять так», — с долгим внутренним стоном раскаяния и муки подумал Степан Корховой.

Все же есть тут некая роковая закономерность, непреложная, как... как главная звездная последовательность Герцшпрунга—Рассела, с неожиданной услужливостью высунулся из мрачной затхлой бездны еще один хвостик с ярлычком покрупнее. Ну, пусть. Непреложная, в общем. Сначала — просто сто грамм для храбрости, чтобы не стесняться, чтобы язык развязался. Чтобы быть на уровне. Как все они. Только все они в это время лишь по глоточку сделали, а ты уже тяпнул пару рюмок. Но потом бы остановиться, пусть они подтягиваются, догоняют, а ты пока сожри что-нибудь существенное; но нет. Зачем-то уже обязательно надо показывать, что ты удалой и можешь выпить море. Вы ж, мол, все интеллигенты в пятом поколении, а я богатырь.

А после череды веселых и вполне еще аккуратных полтинничков вот уже сам собой летит навстречу и третий акт: ляпнул, раскрепостившись, в разговоре что-то, что и сам с ходу ощутил бестактностью, хамством даже — и, чтоб заглушить жгучее, как кислота, осознание своей неуклюжести, начинаешь хлебать без разбору.

Интересно, почему они никогда, даже если говорят бестактности, не чувствуют себя виноватыми? Даже не ощущают, что сказали бестактность? Им можно? Или это привычка, впитанная с молоком матери в интеллигентных семьях, боевая трениров-

ка, без которой в их среде не выжить и дня, заключают — даже если сделал что-то не так, ни в коем случае не подавай виду, а, наоборот, пуще строй морду валенком? Не оправдывайся, а нападай?

И почему у них у всех так язык подвешен... Пока ты им слово — они тебе десять. И все с превосходственной ухмылочкой такой, от которой, сколько ни пей, язык все равно, чуть что, прилипает к гортани и в которую так и хочется засветить уже без лишних слов...

Вот и засветил.

Корховой опять застонал. Хоть гори живьем теперь от стыда — ничего не поправишь. Опять они — невинные жертвы, оскорбленные и поруганные, а он — бандит.

А ведь никто же Бабцева за язык не тянул. Сидели, шутили, смеялись, про ракеты беседовали, блистали эрудицией. И Наташка от каждого глоточка и от каждого нового взрыва смеха все хорошела, хотя куда уж дальше — и вообразить невозможно. Но факт: глаза разгораются, сверкают уже почти нестерпимо, а щечки рдеют, а голосок звонче и звонче... Корховой все пытался за ней поухаживать, то винца подлить, то подложить закусочки, но она ж самостоятельная! Только искоса полыхала на него вспышками чуть раскосых своих глазищ — тувинская у нее капля крови затесалась, что ли, или еще какая-то тамошняя — и ладошкой этак отмахивалась беззлобно, где-то даже заботливо: «Себе, Степушка, себе...» У него от этого «Степушки» в животе, где пониже, прыжками чередовались то лед, то пламень, и безо всякой водки в бестолковке само собой шумело нечто вроде нескончаемых бурных аплодисментов. Или водопада. И Ленька Фомичев через некоторое время стушевался и стал отвечать,

только когда к нему обращались, — вроде как, с места не сходя, слегка отступил, молча признав, что Корховой нынче интересней. А это само собой получилось. То есть, на самом деле, загадочная штука психология, но простая, как вымя: кого интересная женщина взглядом или жестом, словом — интересом своим назначит более интересным, тот таким и оказывается. Потому что взбадривается произвольно: обо мне хорошо думают — значит, я такой и есть.

Лишний повод уразуметь наконец, что если человеку ли, народу ли, стране ли, наоборот, твердить: ух, какой ты гадкий, тебе надо срочно улучшиться, и мы даже знаем как — он послушает-послушает, да и станет окончательной сволочью. И первым делом, скорее всего, по возможности засветит тебе в глаз...

Во-во.

И теперь даже вспомнить трудно, с чего началось-то!

Как всегда, с пустяка. С выстрела в Сараеве. Но пустяк-то пустяк, а это ж надо иметь напрочь вихнутые мозги, чтобы вот так выворачивать мелочи наизнанку и ломать вечеринку об колено в угоду своей узкой идейной специализации. Сидят люди, каждый со своими прибабасами, не черти, не ангелы, и им весело и дружно. Корховой, посмеиваясь, рассказал в лицах, как недавно, выпивая с японским одним редактором в гостинице, где тот остановился, они столкнулись с необходимостью сходить за добавкой. Ну, спустились в кабак, там только что танец очередной начался, народ потянулся из-за столиков, и на одном сиротливо осталась едва початая бутылка «Джонни Уокера». Ни тарелок, ни вилок-ложек... Торчит бутылка, и все. Картина — вызывающая, по большому счету — невыносимая. А они оба уже

сильно теплые. Переглянулись молча и поняли друг друга без слов. Без единого русского, без единого японского и даже без единого английского. Просто короткий взгляд глаза в глаза, обмен понимающими улыбками, и все. Подошли, взяли — и в лифт. И уже в лифте, не дотерпев до прибытия в номер, из горлышка пригубили. И оба довольны были потом весь остаток вечера, будто по Пулитцеровской какой-нибудь премии схлопотали. «Так что культуры, может, и разные, — под общий хохот закончил Корховой, — но есть в людях что-то базовое. Всегда можно найти точки соприкосновения. Общечеловеческие ценности, ребята, — не пустой звук!» Ну, рассказал человек смешную историю во время застолья — что тут плохого. Даже неизвестно, правда это или он для красного словца и вящего веселья приврал и приукрасил. Но Бабцев этот с постной миной не преминул изронить золотое слово правды: «Вот только вопрос: что он потом о нас подумает? Что, интересно, они о нас благодаря таким, как вы, думают...» А то неизвестно, что они о нас думают, хотел было отмахнуться Корховой, любой их фильм про нас посмотри. Но смолчал. Не хотелось портить вечер. На фига? Ну хорошо же сидим! И Наташка рядом, смеется, и иногда получается коснуться ее локтем, а она даже не отдергивается. Так что поддался на провокацию как раз Фомичев, обычно в таких вопросах нейтральный до зевоты; тоже, верно, уж окосел. «Почему мы все время должны думать, что о нас подумают? Почему его не озаботило, что мы о нем подумаем?»

Сразу стало ясно — Бабцев только того и ждал. А то вроде как все людьми себя чувствуют, забыли о своей скотской сущности, пора напомнить. «Всему свету известно, что японцы не воруют, а работают. Просто-таки по результатам известно. Где Япония и

где наша Раша! Именно поэтому человек, про народ которого известно, что он исключительно порядочен, честен и трудолюбив, может себе позволить такую шалость. Особенно здесь, в нашем Парке русского периода. А вот нам следовало бы вести себя особенно осмотрительно, потому что всему свету известно: мы тут, как и все рабы, — ворье. Спокон веку — ворье. Удел ежесекундно зыркать по сторонам в поисках того, что плохо лежит, — это нормальное состояние русского крепостного, у которого нет гарантированной собственности...»

У Степана от негодования просто в зобу дыхание сперло. Это японцы-то не воруют! Одна из самых мощных мафий в мире! Но хрен с ними, с японцами, — их проблемы! А мы! Мы!! И Корховой, нервно запинаясь и став опять бездарно косноязыким, поведал, что в родной деревне его родителей (до школы да в младших классах Корхового увозили туда к бабушке на целое лето, и он всей сутью своей успел неотторжимо впитать эту истинную — луговую, соломенную, яблочную — Русь) еще в семидесятых никто не запирал домов. Разве что снаружи на щепочку или палочку, когда уходили.

«Баушка, ты зачем в колечко хворостинку сунула?» — «Ну как же, Степушка... Ежели кто к нам придет — сразу увидит: никого нет дома...»

Хотя в то же время: «Степка, ну что ты все с книжкой да с книжкой? Ты мушшына или кто? Делать нечего — так по воду сходи!»

Но об этом — не здесь и не сейчас...

Бабцев усмехнулся своей кривой, превосходственной ухмылочкой.

«Да что у вас там взять-то было», — парировал он. Хорош довод, да?

«А когда стало что взять?! — свирепея, заорал

Корховой. — Кто взял? Иванов-Петров-Сидоров, что ли? Нет, дорогой! Гусинский-Березовский-Ходорковский! Так кто тут рабы? Кто зыркает, что плохо лежит?»

«Мужики! Эй, мужики! — уже откровенно встревожившись, спохватился Фомичев. — Кончайте! На кой ляд вам это надо? Хорошо ж было!»

Поздно.

Бабцев с ледяной удовлетворенной улыбкой откинулся на спинку своего стула.

«Ну, разумеется, — сыто констатировал он. — Опять во всем евреи виноваты. Какая свежая мысль! Как она необходима для процветания Отчизны!»

«Валентин, ну хватит, правда! — взмолилась уже и Наташка. — Евреи хорошие, мы любим евреев. Я сама еврейка! — и она указательными пальцами растянула себе глаза чуть ли не к вискам, подчеркивая раскосость. — Все мы отчасти русские, но все мы немножко евреи. Будет вам, ребята!»

Да. Ну почему, стоит только заговорить о России и русских, икнуть не успеваешь, как, сам того не желая, говоришь уже о евреях? И то, с чего начался разговор, уже забыто, уже неважно все по-настоящему важное, будто нет в мире иных проблем, кроме как исчадия ада они или вечные жертвы? Да что в лоб, что по лбу!

Корховой всадил еще грамм полтора ста, пытаясь взять себя в руки, и тут ему показалось, что у него появился довод — мирный, уважительный к собеседнику и, что немаловажно, даже где-то неотразимый.

«Послушайте, Валентин, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Всем понятно, что есть такой штамп. Типа если в кране нет воды... Он отвратителен. Но есть другой штамп. Что еврей —

это просто-таки синоним несчастного страдальца, от веку без вины виноватого. Его все гнетут ни за что ни про что, просто потому, что он еврей. А спроси: а почему, собственно, их все всегда угнетали, может, отчасти и неспроста? Правильный ответ: потому что они несчастные евреи, народ с очень тяжелой исторической судьбой, ведь их всегда все угнетали. Это тоже штамп. Но есть еще много штампов столь же мерзких и неумных. Например, стоит кому-то заикнуться о тяжелой — тоже тяжелой! — судьбе русского народа, как в ответ слышишь: ну, никто вам не виноват, вы все это сами на свою задницу придумали! Чуть заикнись о тех, кто нам кровь пускал и головы морочил, сразу — ага, конечно, чтобы оправдать собственную глупость и подлость, всегда надо найти врага. Так ненавидеть одни штампы и так боготворить другие — разве это честно?»

Корховой и сам не ожидал от себя столь связной и вроде бы убедительной, и даже вроде бы сбалансированной, ни для кого не обидной речи. Он с облегчением и толикой гордости перевел дух.

Однако Бабцев в ответ лишь развел руками: ну, мол, случай клинический, медицина бессильна.

«Вот вам, господа, обыкновенный русский фашизм в натуральную величину», — сказал он.

Тут Корховой ему и врезал. Просто и молча перегнулся через столик — ни Фомичев, ни Наташка не успели его даже за локоть ухватить — и врезал по самодовольной морде. Даже не задумавшись ни на миг, еврей сам-то Бабцев или просто так гонимо гонит. С грохотом Бабцев слетел со стула, стул полетел кверху ножками в одну сторону, Бабцев кверху ножками — в другую. Вокруг завизжали, с ужасом прыгая в стороны с пути катящегося на спине Бабцева,

будто из лопнувшего радиатора отопления под давлением хлынул кипяток и надо от струи спастись.

Что было потом, трудно сказать. Где-то на дне трехлитровой банки с мутной сверхтяжелой водой едва-едва колыхались при потряхивании блеклые, сморщенные лоскутки воспоминаний. Конечно, пока Бабцев вставал и размазывал кровь по лицу, Корховой залил еще порядка стакана, потому что ему сразу стало стыдно и тошно, но отменить случившегося уже было нельзя. Это как несчастный случай: мгновение назад все еще было хорошо, а мгновение спустя уже ничего не поправить.

И нужна только анестезия.

На том стакане кончались достоверные сведения.

Кажется, Наташка увела Бабцева — умыть. Во всяком случае, оба куда-то исчезли. Странно, что это не взял на себя Фомичев. Собственно, куда они ходили: в мужской туалет или в женский? Запоздалая ревность медлительно прожгла внутренности, заставив их судорожно сжаться — а им и так было несладко; и Корховой, по-прежнему не открывая глаз, застонал уже вслух и, постаравшись перевернуться на живот, обнял подушку.

Кажется, Фомичев отмазывал Степана от администратора кафе, совал какие-то деньги... Дальнейшее — молчание.

— Живой? — раздался осторожный голос откуда-то с заоблачных высот иного мира.

Несколько мгновений Корховой не отвечал, собираясь с силами.

Голос принадлежал Фомичеву.

— Ох... — сказал Корховой. Помолчал. — Ты нас спас, да?

— Угу, — ответил Фомичев. — Пива хочешь?

Корховой поразмыслил. Потом его передернуло. Наверное, так передернуло, что даже спина сказала Фомичеву все без слов.

— Это хорошо, — ответил Фомичев спине. — Все равно нет, бежать бы пришлось.

— А зачем спрашиваешь?

— А вдруг ты без пива помрешь?

Корховой неуверенно перевернулся на бок. Разлепил глаза. Спустил ноги с кровати. Сел.

— Ты меня что, довез?

— Я всех развез. Сначала потерпевшего, потом Наташку, потом тебя. А тут два фактора: во-первых, я не был уверен, что ты в силах от тачки до квартиры доползти сам, а во-вторых, у меня уже ни копыя не осталось. А рыться тут по твоим карманам я не стал. Расплатился, отпустил мотор, допер тебя доверху — ты хоть просветлился на миг и номер квартиры смог вспомнить... Ну, вывалил тебя в кроватку, а сам на диване прикорнул. Я-то тоже не вполне свеж... Только что поднялся, воду хлебал, а тут слышу, стоны...

— Я бы с тобой пошел в разведку, — помолчав, хрипло проговорил Корховой. Он смотрел в пол — боялся поднять глаза. То ли потому, что робел приступа тошноты, то ли от стыда; он и сам не знал.

— А я бы с тобой — нет, — ответил Фомичев. — С тобой только на смерть ходить. Руссошахид хренов.

— Перед Наташкой совестно... — невпопад пробормотал Корховой.

— Ты на нее запал, что ли? — попросту спросил Фомичев.

— Ага.

— Ну-ну. Смотри, она дева серьезная.

— Я знаю. Я тоже, знаешь, не просто перепих-

нуться. Во всяком случае, такое у меня ощущение в последнее время.

— Ну-ну, — уважительно повторил Фомичев. — Тогда я тебя поражаю. По-моему, она на тебя тоже. Во всяком случае, слегка.

— Почему ты так думаешь? — спросил Корховой после паузы. У него от недоверчивой радости даже дурнота слегка отступила.

— А ты не помнишь?

— Что?

— В машине?

— Побойся бога... Что я могу помнить?

— Да, действительно. Это я, можно сказать, глупость сморозил. Ну, вот тогда и томись в наказание. Не скажу ничего.

— Ленька!

— В связи с плохим поведением дитя нынче оставляется без сладкого.

Корховой только вздохнул. Поднялся. Прошлепал босыми пятками на кухню, огляделся. Обычно он избегал пить из-под крана — хрен их знает, чем они ее обеззараживают. Но сейчас все емкости были пусты — Ленька уже попасса тут. Зверье идет на водопой... Корховой открыл воду, подставил стакан под шипящую белесую струю, потом выпил залпом.

Даже не поймешь, лучше стало или хуже.

Нечего сказать, посидели...

— Славно посидели, — сказал он, входя обратно в комнату. Ленька пребывал там же, где пять минут назад Корховой его оставил, в кресле у окна. Вид у него тоже был не очень.

— Посидели — и ладно бы, — ответил Фомичев, покачав головой. — А вот поездка у нас будет... Веселая.

— Ты думаешь, он поедет?

— Непременно поедет, — ответил Фомичев.

Корховой помолчал.

— Перед Наташкой надо извиниться.

— Подожди маленько. Приди в себя. От тебя ж даже через телефон сейчас выхлоп. Все равно она извинений никаких не ждет, так что полчаса-час ничего не решают. Я понимаю, у тебя сейчас острое воспаление совести, но... Возьми себя в руки.

Корховой, от застенчивости и благодарности как-то даже косолапя, подошел к Фомичеву и неловко ткнул его кулаком в плечо.

— Спасибо, Ленька.

Фомичев сделал страшную морду, высунул язык и мерзким голосом ответил:

— Бе-е-е!

— Да ладно тебе... — отозвался Корховой. — Я и так сквозь землю провалиться готов.

Помолчал. Потом добавил задумчиво:

— А вот он — не готов...

Поразмыслил еще. И вдруг спросил:

— А ты его хорошо знаешь?

— Нет, — ответил Фомичев. — Шапочно. Он очень ангажирован, ты ж понимаешь. В своем мире варится. И чего это на сей раз западники его командируют? Странно... Никогда он к космической проблематике касательства не имел — все больше про зверства русских в Чечне да гонения на бедных миллиардеров...

Некоторое время они молчали. Похмелье медленно укладывалось на покой. Мутное, истеричное возбуждение, простая производная химического восторга крови («Пьянка — это маленькая смерть...») — «Жив! Жив! Опять жив!», сменялось усталой апатией и вселенской грустью.

Слепящее солнце ломилось в окно, больно попи-

рая светом еще полные хмеля глазные яблоки. «Как в домашних условиях обнаружить давление фотонов? — подумал Корховой. — Вот, пожалуйста... Легко».

Прообраз, можно сказать, межзвездного двигателя...

— Я вот думаю, — сказал Корховой негромко. — Мы тут бухаем, скандалим... Роемся в дерьме друг у друга и только и знаем, что пытаемся выяснить, чье дерьмо дерьмовее. А скоро поедем туда, где к звездам летают...

— Думаешь, они там не бухают и не скандалят? — с тихой тоской спросил Фомичев.

Корховой пожал плечами.

— Бухают и скандалят, наверное. Люди же... Но там, по-моему, это не главное. На периферии главного. Когда такое дело рядом, все это должно казаться очень мелким... Стыдным. А у нас, мне иногда кажется, кроме этого, ничего нет.

— Да вы романтик, мессир, — сказал Фомичев. — Успокойся: до звезд им так же далеко, как и нам. Нуль-транспортировку еще не выдумали, и вряд ли выдумают. Да и с фотонными параболоидами в стране напряженка. На повестке лишь все тот же бензиновый черт, только очень большой, очень длинный и невероятно дорогой. Камера сторания, карбюратор, искра... зажигание барахлит, гептил потек, окислитель то ли не подвезли, то ли пропилили...

Корховой потер лоб.

— Наверное, без пива все же не обойтись, — глядя на него, с намеком предположил Фомичев.

Корховой помедлил, потом решительно сказал:

— Ну, нет. Надо перед Наташкой извиниться. Типа цветов накуплю.

— Ну, ты пропал, — сказал Фомичев.

Почка, почка, огуречик — был да вышел человечек

Несмотря на относительно ранний час, дядя Афанасий уже затарился в ближайшей аптеке пузырьками то ли боярышника, то ли пустырника — и теперь кейфовал на лавочке, что твой султан в гареме. Безмятежно вытянув ноги в познавших всю скверну мира штанах, он прихлебывал из горлышка живительную брынцаловку и подставлял костлявое, в неряшливой седой щетине лицо майскому солнцу, фосфорически пылавшему сквозь ослепительно белые перья облаков.

— Не хошь, Костантин? — спросил он, с царственной щедростью протягивая Журанкову один из пузырьков. Почему-то он упорно называл Журанкова не Константином, а Костантином. Будто имя являлось производной не от константы, а от кости. Впрочем, трудно сыскать в живых тварях что-то более твердое и склонное к постоянству, нежели кость.

И, увы, столь же ломкое.

Журанков шагал из магазина. В его полиэтиленовом пакете мотались кирпичик хлеба и пакет йогурта.

Чуть сбавив шаг, Журанков кротко улыбнулся и ответил:

— Спасибо, дядя Афанасий. Я вроде здоров.

— Для здоровья тока больные лечутся. Здоровые лечутся для радости.

Афанасий жил через площадку.

Не самый плохой сосед. На третьем этаже года два назад вообще притон завелся — безумные под-

ростки с глазами зомби то и дело курили на площадке, квохча и мыча оживленно на каком-то языке приматов и время от времени скатываясь вниз, чтобы где-то в окрестностях, не утруждая себя долгими ходками, вырвать, скажем, мобильник у подвернувшейся беспечной дурешки или не понявшего еще, в каком мире живет, пацана и в тот же день загнать по дешевке... На лестнице то и дело скрипели под ногой использованные шприцы, кусты под окнами периодически обрастали восковой спелости презервативами. Все всё знали. Никто ничего не делал. Шприцы и шприцы... При чем тут милиция, это же рост благосостояния!

А вот у Афанасия хватало только на боярышник да пустырник.

Журанкову несколько раз повезло увидеть, как это происходит. Чернея из щетины жутким провалом доброй утренней улыбки, Афанасий, когда-то — механик золотые руки, подходил к окошечку и молча смотрел снизу вверх на аптекаршу. Если была очередь, он смиренно отстаивал ее всю, никогда никого не задирая и тактично стараясь ни на кого не дышать. Когда подходил его черед, аптекарша сама спрашивала: «Как всегда?» — «Как всегда, милая, как всегда», — шамкал Афанасий и начинал, подслеповато щурясь, кривым пальцем гонять мелочь по коричневой морщинистой ладони.

И тут ему наступало счастье.

Он нетвердыми движениями рассовывал по карманам тупо постукивающую боками стеклянную снедь, несколько раз прожевывал морщинами улыбку и с легким поклоном, как лорд, удалялся. Юным приматам с третьего и не снились такие манеры.

Конфуций, в миллионный раз подумал Журанков, не зря в свое время говаривал: «В стране, иду-

щей путем справедливости, стыдно быть бедным и убогим; в стране, идущей путем несправедливости, стыдно быть богатым и преуспевающим». Великая книга «Лунь юй». В смысле ракетостроения или, скажем, квантовой механики бесполезна, но по жизни ее надо бы наизусть знать всем.

Впрочем, поди объясни теперь хоть кому-нибудь, что такое — стыд.

— Счастливо, дядя Афанасий. Лечись.

Сосед молча отсалютовал Журанкову вздернутой вверх рукой и вновь ушел в себя.

А Журанков пошел к себе.

После развода он оставил городские апартаменты бывшей жене (та их скоро продала, откочевав в столицу к новому) и перебрался в родительскую живопырку в Пушкине. В том Пушкине, который Детское Село, в том, где лицей. И где жил когда-то и где страшно и одиноко умер Александр Беляев; нынче, конечно, любую его книжку в здравом уме и пролистать нельзя, хотя бы чтоб не глумиться взрослым умом над собственным же детским восторгом, — но было время, классе то ли в третьем, то ли даже во втором, когда Журанков читал «Звезду КЭЦ» по кругу: закончит и опять сначала, закончит и опять... Что с того, что он уже и в том возрасте многое понимал и дико смеялся вслух, например, всякий раз, когда доходил до описания садящейся на горное озеро ракеты: «длина ее намного превышала длину самого большого паровоза, и весила она, наверное, не меньше»... Что с того? Смех не мешает любить, даже наоборот; если только он не исполнен презрения.

А презирать Журанков так и не научился. Никого не умел презирать. Даже когда ему очень хотелось.

Улицкая недавно гениально дала формулу любви:

когда достоинства восхищают, а недостатки — умиляют. Правда, у нее говорилось о любви супругов, но то же самое верно и для любой иной. И Журанков до сих пор время от времени совершал паломничества к мемориальной доске на доме несчастного человека, наделенного в свое время огромным даром мечтать и обделенного даром подбирать своим мечтам достойные образы... Мимо кафе «Льдинка» — где они с Катей впервые попробовали так называемый шартрез, зеленый, пахнущий гороховым супом, советского еще разлива; мимо кинотеатра «Авангард» — в котором они столько фильмов пересмотрели, от «Верной руки — друга индейцев» до «Зеркала»... И во внутренний дворик.

Теперь Журанкову казалось, что все, связанное с бывшей женой, осталось там же, где и «Звезда КЭЦ». Далеко в детстве. И сама Катька стала сродни «Звезде КЭЦ» — встречаться нельзя, нет уже места в нынешней жизни всему, что так будоражило и вдохновляло, но в памяти — только восхищение и умиление. Ничего кроме.

Ему до сих пор ее не хватало.

Воспоминания чувственные — те, где Катерина, по тогдашним патриархальным временам с зазывностью предельно вообразимой, скидывала платье и оставалась в одних лишь жутко возбуждавших Журанкова черных чулках, так подчеркивавших белизну и нежность бедер (с нынешних высот — затеи сельской простоты!), или упоенно стонала под ним: «Ой, мамочки! Что ты со мной делаешь?», и он благодарно и гордо и впрямь становился Гераклом... воспоминания эти, от которых, казалось, еще вчера тревожно теплело на душе, из воскресающих ощущений мало-помалу превратились просто в давние

факты. Журанков сам удивился, когда понял, что эта пуповина разорвалась.

Но ему и поныне хотелось сделать Кате что-нибудь хорошее. Порадовать, помочь. Да хоть просто поговорить.

Красивый закат — надо, чтобы и она увидела и тоже восхитилась...

Наверное, это и есть любовь.

Для Журанкова Детское Село тоже было детским — сюда они вселились, когда он еще в школу не ходил; и прожил он тут, в этой самой квартирке, с мамой, с папой больше двадцати лет. Сюда и вернулся. Правда, папы уже не было, перебрался на кладбище. А два года назад и мамы не стало. Рано взялись теперь умирать наши еще не старые старики... Невыносимо рано. И Журанков, точно отшельник, доживал тут свой век один-одинешенек, по Бродскому: ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Простая душа Афанасий, полный сочувствия ко всем божьим тварям, однажды, когда сумел все ж таки Журанкова разговорить и что-то выяснить, не поверил ушам своим и в полном потрясении даже уточнил без обиняков: «Так ты чего ж, Костантин, с той поры так ни в кого свой огуречик и не засовывал?» Журанков лишь усмехнулся. Он не обиделся, не расстроился, не возмутился. Это было не более чем, по тому же Бродскому, согласное гудение насекомых — и относился Журанков к подобным попыткам проникновения в свою частную жизнь соответственно.

Презрение, презрение, презрение дано нам как новое зрение, как пропуск в грядущий покой...

А забавно — Галич, наверное, был уверен, что этими словами описывает тех, кого чуть позже начали именовать совками. А описал тех, кто вскорости

побежал туда, в качестве пропуска громогласно презирая все, что оставлял здесь...

До чего ж нам нравились когда-то все эти стихи!

Стояли на пирсе в Гурзуфе, бодаясь с бившим из ослепительной бездны ветром, солнце неистовствовало, расплавленное море жевало ржавые опоры хлюпающими горами тяжелой пены и простреливало воздух мириадами жестких водяных искр; пахло солью и бесшабашным весельем, и мы, взявшись за руки, возбужденно орали, стараясь перекричать гром шторма: «Нынче ветрено и волны с перехлестом...»

Ах, да что там. Ну, разлюбила. Любила и разлюбила, бывает. Дело житейское. Любовь такая странная штука, что, если человек кого-то разлюбил, нельзя считать его по этой причине хуже, чем он прежде казался. Может, даже наоборот. Разлюбить и уйти, не оглядываясь, куда честнее, чем разлюбить и все равно волочь на горбу постылый, убийственный для души — да и для тела! — совместный, но вчуже быт.

Не хотелось думать о том, что ее честность как-то уж очень совпала по времени с крахом его работы, со стремительным обнищанием... Нельзя так думать о женщине, о которой всю юность мечтал, с которой потом прожил годы и годы... Нельзя. Совпало и совпало, мало ли в жизни совпадений.

А кроме того, потребность в материальном достатке — тоже дело житейское. Никакого криминала.

Грех сказать, но по сыну он так не скучал. В последнее время уже, пожалуй, совсем не скучал. Почти. Может, дело в том, что слишком уж маленьким тот был, когда все кончилось. Не успел стать ни единомышленником, ни собеседником, ни даже кандидатом в собеседники. Конечно, Журанков учил его

ходить на лыжах — дошло даже до совместных семейных пробежек по таинственным глубинам Александровского парка, и в шахматы учил играть, и ночей не спал, сам не свой от тревоги, то и дело меряя Вовке температуру проверенным поколениями способом — прижимаясь щекою или губами ко лбу спящего дитяти... И, уж совсем на заре эпохи, с прибаутками ворочал утюгом — гладил пеленки... Да что говорить, запах младенца навсегда стал для него символом домашнего уюта. Долго еще парочки, гуляющие без коляски, всего лишь вдвоем, казались ему впустую транжирящими драгоценное время бездельниками, некомплектными и неполноценными.

Но все же — уже не скучал. Может, если бы Катя не положила резкого запрета на их общение — было бы иначе. Но...

Но.

А странно: снился он ему даже чаще, чем Катя. И во сне, когда Журанков делал ему козу или брал на колени, у него слезы наворачивались от счастья: наконец-то все уладилось... И не хотелось просыпаться.

Но снился он всегда маленький. Такой, как был тогда. И, открывая глаза, Журанков не вдруг соображал, что сейчас этого теплого добродушного кулика нет вообще нигде на свете, вообще нигде. Вместо него — ровесник приматов с третьего этажа; рослый, жесткий, жующий резинку. Чужой.

Сегодня Журанков думал на эти темы куда больше обычного.

Потому что именно сегодня в начале восьмого разбудил его телефонный звонок.

Журанков и всегда-то засиживался допоздна. А сейчас, когда близилась экзаменационная страда, и богатые недоросли особенно нуждались в натас-

кивании, Журанков целыми днями мотался от одного ленивого страждущего к другому, чуть менее ленивому — для него это тоже была страда; он зарабатывал себе на весь остальной год и потом растягивал отслюнявленные импозантными родителями убогие суммы до следующей весны. Поэтому для собственной работы оставались только ночи. Не работать он не мог, хотя спроси его, зачем он обсчитывает какие-то очередные идеи и прожекты, он не сумел бы ответить.

Словом, вчера он лег, ровно молодой, в четвертом часу.

Поэтому, когда телефон с междугородней истеричностью пошел ни свет ни заря трезвонить, Журанков в бестолковой панике захлопал кругом себя ладонью, как цыпленок с отрезанной головой хлопает крылышками; чуть не снес лампу со столика у изголовья, снес-таки пустой стакан из-под йогурта (поздний ужин, который Журанков заранее готовил себе на случай, если уже в постели поймет, что оголодал), и лишь потом нахлопал трубку. Поднося ее к уху, он все еще не мог разлепить глаз.

— Да? — сипло спросил он.

В трубке молчали.

— Журанков слушает, — сказал он тогда. Веки наконец разлиплись. Сердце прыгало в груди увесисто и плотно, словно мячик из литой резины катился вниз по крутым ступеням.

— Константин? — неуверенно спросил женский голос в трубке.

Какое-то очень короткое мгновение Журанков то ли не мог его узнать, то ли не мог в него поверить. Потом сердце в последний раз рухнуло с особенно высокой ступеньки и, упруго подскочив, вылетело в открытое окошко.

— Да, это я, — сказал он. — Доброе утро, Катя.

— Как хорошо, что у тебя не изменился номер телефона, — неловко сказала она после осязаемой задержки. — Я совсем не была уверена, что попаду куда надо.

— У меня все очень стабильно, — ответил он.

Ему было так неловко, что он в постели, небритый, наверняка со всклокоченными волосами и вдобавок ко всему, пусть и под одеялом, но голый, и зубы не чищены... Будто она могла его оттуда видеть и обонять. Непроизвольно он старался говорить чуть в сторону от трубки.

— Что? — переспросила она.

А ей всего-то оказалось плохо слышно. Вероятно, именно из-за его нелепых ухищрений.

— У меня все очень стабильно, — повторил он громко и прямо в микрофон.

— Как это хорошо, — она вздохнула, похоже, с неподдельной завистью. — Стабильность... Ты так и живешь в той уютной квартирке в Пушкине?

Голос выдавал волнение. Но она старалась быть вежливой и светской.

Он понял это с умилением.

— Да, — ответил он. — Мне здесь нравится.

— Я рада за тебя.

Он молча усмехнулся.

— Извини за ранний звонок, — сказала она. По чуть изменившемуся тону он понял, что лимит светскости исчерпан. — Я понимаю, что в такое время звонят только очень близким людям... Или по предварительной договоренности. Но я очень боялась, что, если позвоню позже, ты уже куда-нибудь уйдешь.

— Понимаю. Что случилось?

— Ты помнишь, сколько Володе лет?

Он не помнил. С ходу не мог сказать. Но пре-

красно помнил, сколько было ему самому, когда сын родился. А считать в уме он всегда умел мгновенно. Так лихой казак перебрасывает шашку из правой руки в левую и обратно движениями, почти неуловимыми — солнечный зайчик мелькнул, и все... Катя не смогла бы почувствовать ни малейшей заминки.

— Восемнадцать.

— Правильно. Нам грозит армия. И нам грозит не поступить в институт.

— Куда вы собрались, если не секрет?

Она на миг запнулась.

— Неважно. Мы еще не решили... — Голос ее нервно, напряженно дрогнул. — Не сбивай меня.

— Прости.

— Нет, ничего. Я никогда не решилась бы тебя побеспокоить. Зная тебя, я прекрасно понимаю, что твое финансовое положение вряд ли принципиально улучшилось за эти годы. Я до последнего надеялась, что мы сами справимся. Но сейчас времени уже почти не осталось. А Валентина как раз вчера сильно избили. Напали и избили... Из-за его убеждений, конечно. Националисты. Он приехал домой весь в крови... Возможно, у него сотрясение мозга. И все равно буквально на днях ему лететь в очень ответственную командировку...

Теперь Журанков понял, отчего Катя так взволнована. Еще бы. Можно только догадываться, как она передергалась ночью.

При сотрясении мозга ставят компрессы?

Наверное, ставила... И вообще.

Избили. Националисты. Избили — это я еще понимаю, и в наше время хулиганья хватало; но... националисты. Ну и времена.

— Снова приставать к нему сейчас из-за денег просто бессовестно. И, в конце концов, я за все эти

годы ни копейки с тебя не взяла. Теперь ты просто обязан помочь.

— Да, конечно, — совершенно искренне, как под гипнозом, ответил он.

— Ты согласен?

— Разумеется, Катенька...

Это свойское «Катенька» сорвалось с языка совершенно случайно.

Она так изумилась, что не сразу смогла ответить.

Потом очень по-деловому спросила:

— Сколько ты можешь дать?

В доме было рублей семьсот, прикинул он. И плюс завтра еще два урока — оба физика. Математика — послезавтра...

Но говорить об этом ей — только смешить.

— А сколько надо?

Она сказала.

И очень его насмешила.

Только смех оказался бы горьковат.

— Какие сроки? — спросил он как ни в чем не бывало.

— Чем скорее, тем лучше. Я и так уже непозволительно затянула.

— Я постараюсь что-нибудь придумать. Ты мне дашь свой телефон?

Она помолчала.

— Лучше я сама позвоню тебе завтра.

— Хорошо, — безропотно согласился он. Собственно, так и впрямь лучше — чтобы потом никогда, никогда не возникло соблазна. Она права.

— Во сколько тебе удобно? — вежливо осведомилась она.

— Можно в это же время, — еще более вежливо ответил он.

Она опять помолчала. Она будто все еще ждала,

что он откажет. Он уже согласился, согласился без колебаний и без задних мыслей, но она все еще не верила и ждала подвоха.

— Спасибо... — нерешительно сказала она. В голосе ее было какое-то недоумение.

— Вы в милицию обратились? — спросил он.

Она несколько мгновений напряженно не отвечала, и он спохватился:

— Впрочем, это не мое дело. Хорошо, я сегодня постараюсь что-нибудь придумать. Слушай, а самому-то Вовке что нравится?

Это снова вырвалось непроизвольно. Как «Катенька». Будто они все-таки все еще были вместе. Или, по крайней мере, не порознь.

— Да как-то многое сразу... — неопределенно ответила она.

Похоже, она не знала, как себя с ним теперь вести.

А можно и никак не вести. То, что надо, — сказано, а остальное — никому не нужная бутафория... Да?

Да?!

— Я позвоню завтра, — повторила она и повесила трубку.

Да.

Он принимал душ, брился, завтракал, ощущая странное раздвоение. Руки чуть дрожали. В кои-то веки к нему обратились, да еще по такому простому и естественному делу, а он был практически бесполезен. Он не мог помочь. Хотел бы, и не может. Не может?

А может, все-таки может?

Конечно, неторопливо и очень академично размышлял он, намазывая на хлеб бережный слой масла. На конфорке уже фырчал чайник. Конечно. Уроками такую сумму не зарабатываешь и за всю жизнь. Даже если не есть, не пить, не платить ни за кварти-

ру, ни за транспорт... Таких денег вообще невозможно заработать. Такие деньги можно только выручить какой-то продажей. Но у Журанкова ничего не было, кроме его самого и его дома.

Вот из этого он и решил исходить.

Конечно, существовал еще один лот, в принципе куда как пригодный, чтобы выставить его на продажу — но об этом Журанков не хотел даже думать. Это было за скобками. Этого они не получают.

Да может, это уже и не нужно никому.

Когда «Сапфир» нежданно-негаданно оказался кем-то когда-то приватизирован и буквально на следующий день продан какому-то нездешнему инвестору, все были в таком отчаянии, что просто не верили. Они же занимались очень важными вещами! Очень нужными! Очень, в конце концов, секретными! Общим убеждением было, что в неразберихе и радостной сутолоке разгара демократии стряслось недоразумение, которое, безусловно, вот-вот разъяснится и скоро все они начнут работать как ни в чем не бывало.

Ага. Щ-щас.

Принять меры успел лишь сам Журанков. Не начальство, не завлаб, никто. Только Журанков. Самый простодушный. Почти посторонний... Эпоха тогда была еще не вполне компьютерная, хотя кое-какие, потешные с нынешней точки зрения, пишешки стояли у них... Но и бумага была более чем в ходу. И вот на следующий день, безошибочно учуяв каким-то образом, чья именно собака тут порылась, представитель нового, так и оставшегося неведомым владельца без обиняков, взял Журанкова за пуговицу пиджака. «Уважаемый Константин Михайлович! А что это у вас все винчестеры девственно чистые, и нигде ни клочка бумаги? Как же вы тут ра-

ботали?» Он охотно поддержал этот шаловливый тон. Он понимал, что всерьез разговор пойти не может и что собеседник это тоже понимает — просто пытается то ли взять его на понт, то ли попользоваться его возможной юридической безграмотностью. «Бумаги мы все в макулатуру сдали — они же не нужны больше, — с ясной улыбкой ответил Журанков, глядя собеседнику прямо в глаза. — А компьютеры я специально сам для вас очистил, чтобы были как новенькие». — «Капитально очистили, должен признать. Ни одна программа восстановления не срабатывает». Журанков картинно поднял брови. «Надо же... Вы что, пробовали? А какие данные вам хотелось бы восстановить?» — «Собственно, все. И неважно, что конкретно на какой машине было. Это же буква закона, уважаемый Константин Михайлович! По договору в собственность нового владельца переходит все имущество, фактически имеющееся в таких-то и таких-то помещениях на такой-то момент. Например, бумаги...» — «Погодите, погодите. Что-то я не припоминаю, чтобы интеллектуальная собственность сотрудников «Сапфира» была где-то включена в понятие находящегося в помещениях имущества или приравнена к ней. Что же касается бумаг, то надо было это оговаривать специально, вопрос спорный, поскольку личные рабочие бумаги сотрудников тоже не могут быть автоматически включены в понятие имущества...»

Взять на понт не удалось, и это было уяснено сразу. Представитель несколько мгновений внимательно вглядывался в глаза Журанкову, и взгляд его стал откровенно грозящим. Журанкову впервые пришло в голову, что весь многоходовой финт с приватизацией «Сапфира» был затеян чуть ли не специально ради просто-напросто разрушения «Сапфира» и попут-

но — завладения тем, что Журанков сумел в последний момент утянуть из-под продажи. Не зря же неизвестный владелец затем чуть ли не с маху перепродал здание, вдруг утратив к нему всякий интерес...

Приблизительно полгода спустя тема неожиданно получила продолжение. Когда и Журанкову, и всем, кто еще продолжал с ним общаться, стало ясно, что он на мели, полностью и, похоже, навсегда на мели, ему вдруг окольным путем передали предложение переехать работать в Хьюстон. А если он по каким-либо причинам не захочет покидать Россию, то за кругленькую сумму он мог бы продать, например, свои рабочие материалы времен работы над прикладными задачами для «Сапфира», или, например, возможно, сохранившиеся у него общие документы того же периода... Даже если бы от него с лёту рожала любая девушка, на которую он когда-либо, включая школьную пору, заглядывался, предложенной ему тогда суммы, как он теперь понимал, хватило б, чтобы всех детей отмазать от армии и пропихнуть, скажем, в МГИМО. Наверное, авторы предложения в течение без малого семи месяцев ждали, когда он, избалованный долгой жизнью у ВПК как у Христа за пазухой, поймет, что куковать впроголодь, сам по себе, на семи ветрах холодной свободы — не может. И осознает, что это ему и незачем. Чего ради? Кого ради? Вероятно, они дотошно проверили, не снимал ли он где-либо сейфов. Не посещал ли по непонятным на первый взгляд причинам камер хранения... Он не знал и даже думать не хотел, кто такие — они. Может, даже свои. Может, даже собственные прежние начальнички. Посреднички добровольные. Совершенно не исключено. Он сделал вид, что не понял, о чем речь. А уехать от-

казался категорически. Что вы, что вы, тут могила бабушки... Конфуций, знаете ли, не велит.

Этого они не получают, думал он тогда. Ни за что. Не для вас мечтали мы, не для вас не спали ночей, не для вас были наш звездный восторг и наша бессильная тоска, извечные их качели, сопровождающие всякую серьезную работу... Не для вас. Кто бы вы ни были.

Он знал, что они никогда ничего не найдут. Он был хитрый. Какие там сейфы, какие камеры хранения... на них тоже нужны деньги, а откуда у него... Просто, как бином Ньютона. Непромокаемый пакет плюс мать сыра земля. Он долго думал, где прикопать дело своей жизни. Где спрячут лист? В лесу. Если человек идет с лопатой в парк, туда, где царские дворцы и Чесменские всякие колонны, или в загаженные пустыри, или к гаражам — это наводит на размышления. А вот если он идет туда, где нашинкованы приусадебные участки для жителей чуть ли не всего Пушкина... Едва успеет сойти снег — пол-России встает на лопату; потребительской корзины, которую назначили для нас аскеты из Белого дома, нам, обжорам, почему-то не хватает... Так что милости просим, господа любители дармовщинки. Узрите. Вот я с грязным рюкзаком на спине и лопатой на плече пересекаю железку прямо перед платформами станции Детское Село, вот шагаю себе параллельно железке по Удаловской так называемой улице — кусты, заборы, мозаичный хлипкий асфальт — в поля, в поля, в благословенные края, где в синем небе плещут крылышками звонкие жаворонки, а кругом — грядки, грядки, грядки, а над ними — спины, спины, спины... Знаете загадку: брюшко беленькое, спинка черненькая, лапки в навозе? Со спутника вы, что ли, снимете, где именно я помог знакомым, скажем, подкопать редиску? Да и

то — поздно. Уже все — там, в русской земле, и где копать — знаю только я. Капитан Сильвер. Граф Монте-Кристо. Не получите, твари. Наше. Советское, поняли?!

Никогда он это не продаст. Пусть лучше сгниет. Он не знал, откуда в нем эта пещерная, недостойная ученого нетерпимость. Наверное, он был достоин за нее осуждения. Казалось бы — пусть достанется человечеству... Кто богаче, кто умнее, кто способней и удачливей — тот и применит, если захочет, если это и впрямь нужно...

А я — не отдам. Мое право. У нас демократия.

Значит, на продажу у него был только он сам — и эта маленькая квартира. Простор для маневра оказался, что греха таить, невелик.

Говорят, сейчас модно и выгодно торговать органами для трансплантации, по зрелом размышлении вспомнил Журанков. Здоровьем бог его не обидел, так что...

Он присел к компьютеру. Благословенное время, когда можно узнать все обо всем, не выходя из дома! Можно экономить на хлебе, но нельзя — на скорости подключения... Уже через какие-то десять минут, пробежавшись по поисковым программам, Журанков потрясенно читал:

«Почки. В нашей стране торговать человеческими органами — тяжкое преступление, но за рубежом почка стоит от 10 до 50 тысяч долларов. Потенциальные покупатели имеются в Японии, Индии, Ливии, Гонконге, Англии и Германии.

Костный мозг. В США костный мозг можно только пожертвовать, став бескорыстным донором, но за границей существует длинная очередь желающих приобрести его за сумасшедшие деньги.

В среднем небольшое количество костного мозга стоит 10 тысяч долларов.

Печень. Этот внутренний орган восстанавливается, поэтому может идти речь о нескольких порциях на продажу. Один срез печени за пределами США стоит около 150 тыс. долларов.

Роговица. За границей эта важнейшая часть человеческого глаза продается по 4 тыс. долларов, хотя несчастным, вынужденным пойти на это, приходится остаток дней носить пиратскую повязку или вставной глаз...»

Самое странное — у Журанкова даже сомнений не возникало в том, что он должен сделать это.

Она же попросила. Он же обещал. И какая разница, что, если вдуматься, ее — той, тогдашней, любимой и влюбленной, светящейся в ночи — давно уж на самом-то деле нет. Нет нигде на белом свете, словно она умерла. Даром что незабываемое тело ее по-прежнему живет, охорашивается, надевает колготки. Она — действительно умерла и кремирована где-то в самых потайных глубинах себя. Не только воскрешение — эксгумация и та невозможна, ведь в ее теле давно поселился новый человек, производная новой жизни; судя по утреннему разговору, даже не прямой наследник... Но какая разница? Я уношу в свое странствие странствий лучшее из наваждений земли!

Наверное, сходное с этим чувство не очень понятного даже ему самому долга и не позволяло Журанкову торговать тем, что он так заботливо укрыл в земле. Не создан был Журанков для свободы.

Прихлебывая несладкий чай, он несколько раз вдумчиво перечел безучастные, даже слегка игривые по тону прејскуранты. Из документов явствовало, что выгоднее всего, похоже, толкать нарезкой собст-

венную печенку («Вам кусочком или нарезать?»), но период реабилитации короче после удаления почки. Да и операция проще. Денег, правда, дают меньше...

Прошло еще с полчаса, в сущности, утро только начиналось, а он уже сидел, сняв руки с клавиатуры, успев перелистать несколько досок виртуальных объявлений — совершенно обыденных, будто речь шла о распродажах домашней мелочовки, — и удрученно переваривал обескураживающую информацию: предложение тут, похоже, сильно превышало спрос.

«Дорогие люди Обращаюсь к Вам с предложением Хочу начать новую жизнь исправить свои ошибки прошлых лет вернуть дорогим и самым любимым мне людям всё что отнял и всё чего не дал Воровать грабить обманывать убивать не умею и что более важно не хочу С работой постоянно не клеится Есть хорошее предложение начать своё дело но нужны деньги поэтому предлагаю Вам себя в качестве донора почки О себе: мне 32 года здоровье хорошее группа крови 1 положительная гепатитом не болел алкоголь не употребляю больше 8 лет рост 175 см вес 65 кг анализ на совместимость тканей не делал не за что Цену ломить не хочу 10 000 долларов США Если Вы всё-таки считаете что здоровье стоит дешевле то зря Контактные телефоны ускорят нашу встречу Пожалуйста это для меня очень нужно и очень срочно С уважением Петр».

«срочно нужны деньги продам любой орган за кароткий срок АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ + костный мозг кто заинтересован пишыти мне 20 лет 1 + группа к. я абсолютно здаров полный мед асмотр».

А делать было нечего.

В такой толпе надо как-то выделиться, обратить на себя внимание... Яркий фантик зачастую ценнее вкуса конфет.

Непроизвольно стиснув зубы и сам не понимая, почему ноют скулы, с наивностью неудавшегося святого он принялся легко набивать на шелестящей клавиатуре правду: «По семейным обстоятельствам срочно продам почку или срезу печени. Абсолютно здоров, никогда не курил и не увлекался алкоголем. Сорок три года, доктор физико-математических наук, главный теоретик бывшего СКБ «Сапфир» (там, где теперь казино «Остров сокровищ»), лауреат Государственной премии уже несуществующего государства. Контактный телефон...»

Потом пошел в булочную.

И только возвращаясь домой с кирпичиком хлеба и пакетом йогурта, только поздоровавшись с Афанасием, безмятежно поглощавшим пузырек за пузырьком целебную настойку, Журанков по-настоящему понял: жизнь его кончилась, когда кончился «Сапфир». Именно поэтому ничего ему нынче не жалко и ничего не страшно.

Кроме одного: не выполнить свой долг. Долг, который, собственно, он слепо навязал себе сам давным-давно, ни с того ни с сего возомнив себя порядочным человеком. Теперь не отвертеться.

Он стоял у окна, сунув руки в карманы, и бездумно глядел сквозь растопыренные ветви кустарника на серую пятиэтажку напротив. Ветви были усыпаны нежными хвостиками распускающихся, полных надежд почек и обляпаны ссохшимися мутно-прозрачными презервативами; когда налетал порыв ветра, они разом принимались шевелиться — точно опустевшие коконы неизвестных науке, быть может, даже внесемных тварей, заразивших весеннюю планету. Журанков отдыхал после первого сеанса самосожжения, прикидывая, когда и как лучше совершить второй — а в голове медленно, как пузы-

ри в вязкой среде, сами собой всплывали совсем не относящиеся к делу строки: претенциозные, высокопарные, манерные по нынешним простым временам... Откуда они плыли сквозь Журанкова и куда, он не знал и не задумывался над этим.

В час кровавый,
В час заката,
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград.
И горит на рдяном диске
Ангел твой на обелиске,
Точно солнца младший брат.
Я не трушу,
Я спокоен,
Я, поэт, моряк и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным,
Знаю: сгустком крови черным
За свободу я плачу.
Всех, кого я ненавижу,
Мертвый, мертвыми увижу.
И за стих,
И за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
Знаю: строгий город мой
В час кровавый,
В час заката,
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.

Но то уже была рисовка. На самом деле ненавидеть он тоже не умел — так и не научился. Как и презирать. Некоторым вещам некоторых людей учить совершенно бесполезно.

ГЛАВА 5

Оазис

Она оказалась совсем домашняя — в короткой юбочке, если что и прикрывавшей, так уж, во всяком случае, не гладкие танцующие ноги, наглядно отдельные одна от другой, и замечательно тесной футболке с надписью «СССР».

Корховой только сглотнул от такого зрелища — и сразу, еще не перейдя порога, протянул Наташке букет. Буквально спрятался за него. Пивом они с Фомичевым так и не полечились. Корховому маниакально хотелось извиниться перед Наташкой, причем дела в долгий ящик не откладывая; стыд жег свирепо, будто под майку горячих углей насыпали — и хотя от бутылки пива с утра никто еще не умирал, это получилось бы по отношению к женщине как-то неуважительно. Да и некрасиво. Пришел прощения просить за то, что вчера перебрал, — и ввалился, дыша свежим «Туборгом», ухмыляясь с идиотской глубокомысленностью и натужно выговаривая слова... Картина! Нет, лучше смерть.

Благодаря такой щепетильности в вопросах чести теперь, в шестом часу, Корховой был свеж, как майская роза, а кровь его бурлила юно и даже как-то — невесть с чего — обнадеженно.

Верно, потому, что в доме у Наташки он был впервые.

— Господи! — Она засмеялась. — Так вот в чем дело! Заходи же! Спасибо, что хоть из подворотни позвонил...

— Не предупредить я не мог, — сказал Корховой, входя. Она взяла букет обеими руками и с какой-то знаково девичьей всполошенной заботливо-

стью закрутилась на месте, соображая, где, куда и как его сажать. — Мало ли чем ты тут...

— А если б меня дома не случилось?

— Не пугай. Я и так нервный.

— Нет, ну — если?

— Ну, пошел бы пиво пить. И цветами закусь-вать...

Она с букетом наперевес уже бежала на кухню. Обернулась. Глаза ее сверкали, будто она была Корховому рада.

— Тебе что, сказали, у меня день рождения, что ли?

— Не-ет... — и впрямь испугался Корховой. — А что, у тебя день рождения?

— Не-а!

Убежала. Цветочки обрабатывает. У дев насчет роз какие-то свои приколы, чтоб дольше не вяли — прижечь, надстричь... или наоборот... Ладно, их проблемы.

— А чего ж ты спрашиваешь? — повысил он голос.

Ее не было какие-то мгновения, и вот снова идет — уже с вазой в руке, а розы, как и положено, не в руках, а в вазе. Поселила без бюрократической волокиты.

— А с чего ж ты тогда с цветами?

— А ты смеяться будешь, если я скажу.

— Ну и посмеюсь, что плохого... Ты проходи, проходи.

Он, как телок за мамкой, пошел вслед за нею в комнату. Небольшая, но очень ухоженная и уютная. И все что надо. Ну, кроме кровати, конечно... Спит Наташка, надо полагать, вон за той дверью — и туда так запросто не попадешь. Тут — ладный компьютерный столик с мощной машиной, по сторонам навороченная акустика и ребристые стояки, полные

компактов, аккуратно под рукой — стеллаж со словарями и справочниками... Все очень рационально. Целая полка научпопа по космосу и ракетам. Готовится... И ни следа сигарет, ни единой пепельницы, ни малейшего запаха. Похоже, она и впрямь, даже дома, не курит. «А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет?» Книг пропасть, журналов две с половиной пропасти. Неужто красивые молодые женщины по сей день читают? Впрочем, по работе чего не сделаешь, за деньги женщины еще и не то вытворяют... Да, но в том-то и кино, что Наташка Постригань за деньги предпочитает мотаться по миру, читать и писать — а не вытворять. И у нее все это классно получается, что тоже немаловажно. На единственной свободной от стеллажей стене две какие-то репродукции, даосские пейзажи, наверное, — Корховой в китайской живописи был не силен, хотя порой жалел об этом: есть в ней что-то гениально не наше, царствует не европейская мясная тяжеловесность, всегда сродни тупым фламандским развалам жратвы — вот это дуб, на нем сидят, вот это хек, его едят... Нет. Душа. Невесомая, летучая... Кузнечика тебе черно-белого нарисуют одной тушью — а и в нем душа дышит... Хотя, по слухам, как раз у китайцев-то души в нашем понимании и не мыслилось никогда, одна вполне материальная легкоэнергетическая сущность. Как ее... Ци. Только, говорят, упаси бог произносить это как цы. Хуже, чем говорить «деревня» через «ё» — «дерёвня»... А, ну конечно — у Наташки глаза раскосые и на стенах — китайские картинки. Стиль.

— Голова не болит? — спросила Наташка.

Она еще и заботливая!

— У меня немножко вискарика застоялось. В лечебных целях могу накапать...

— В глаза, — сказал Корховой. — Пипеткой. До полного рассасывания мозга. Если плохо помогает — рекомендуется вводить посредством клизмы.

— Да, — сказала она удрученно. Ваза с букетом уже стояла посреди стола, и Наташка уже лила туда воду из кувшина. — Судя по уровню юмора, тебе нынче градусов больше не надо. Чаю?

— Могу.

— Тогда айда обратно на кухню. Нет, букет я с собой туда же возьму. Пусть нам пахнет, пока свежий... Так что у тебя за дело?

Он вежливо пропустил ее перед собой. Вот откуда мужская галантность, на тридцать втором году жизни сообразил он, опять идя вслед за Наташкой. Ясно, зачем их надо вперед пропускать! Чтобы без помех смотреть, как у них под платьем ягодицы перекатываются!

Вроде бы условности дурацкие, бессмысленный политес — а если вдуматься, как мудро!

Прямая, гибкая, она шла, не оборачиваясь, и несла вазу обеими руками, и ножки ставила, что твоя трепетная лань.

Художественная гимнастка с олимпийским огнем. Можно было решить, будто этот букет ей драгоценен. Будто это первый букет в ее жизни.

— Ты будешь смеяться, — повторил он, — но я приехал просто попросить прощения. За вчерашнее.

Путь оказался недолог — квартирка была невелика. Наташка поставила вазу посреди кухонного стола и обернулась. Нет, положительно у нее глаза просто сверкали. И улыбка не сходила с лица.

— У меня? — с картинным изумлением спросила она.

— Ага.

— Есть мужчины в русских селениях... — с иронией пробормотала она, но чувствовалось, что ей легко.

— Я почему-то подумал, — стесняясь, сказал Корховой, — тебе вчерашнее было неприятно.

— А перед Валентином будешь?

— С какой радости? — сразу ощетинился он. — Пусть он передо мной сначала извинится!

Она уже метала на стол чашки-ложки, и газ под чайником уже расцвел хищно шипящим, призрачно-синим инопланетным цветком.

— А по-моему, надо... Нет-нет, я не советую — просто мыслю вслух. Тебе самому в первую очередь надо.

— Мы и так все время перед ними виноватые ходим... — угрюмо сказал он.

— Ну да, лучше все время ходить виноватым и злиться за это на себя и на весь свет, чем один раз предложить руку, а уж если ее не примут, тогда плюнуть и больше вообще этого человека в упор не видеть... Ты садись к столу, садись... Чай — он полезный. А хочешь зеленый? Он вообще от семи недугов! Промоет — ни одного свободного радикала в организме не останется!

— А как же я без них?

Она засмеялась. Тон был какой-то ласковый, почти материнский.

— Ты что, не знаешь, сколько от них вреда?

— Да как-то не сталкивался... Руки где помыть?

— А, да... Вон ванная. Полотенце рыжее, справа — для рук.

Он тщательно намылил ладони, потом долго мыл их теплой водой. Потом тщательно вытер. Наташка была просто — так бы и проглотил целиком. Корховой даже глянул в зеркало и, как сумел, пригладил

волосы. «Интересно, что же все-таки было вчера в машине, чего Ленька не рассказал? Или он наболтал просто, чтобы меня подогреть?»

Когда он вышел, чай уже был разлит и дымился в чашках. И впрямь какой-то бледно-зеленоватый. Наташка сидела спиной к окну, положив подбородок на сцепленные кулачки, и смиренно ждала. Когда Корховой показался, она сразу подняла на него глаза и с готовностью заулыбалась.

— Я тебе не помешал? — осведомился он.

Она захохотала.

— Ну до чего ты тактичный! Спасу нет! Вовремя спросил!

— И Ленька тоже тактичным меня обзывает, — насупился Корховой.

— Нормально вчера доехали?

— Да. Он у меня и переночевал.

— Так вот с кем теперь проводят ночи русские богатыри! — воскликнула она патетически. — Таким роскошным генам грозит не перейти в следующее поколение!

— Ты чего? — испугался он. — Ты чего подумала? Да мы...

Она засмеялась и озорно захлопала в ладоши.

— Поверил, поверил!

Он только головой помотал — как бык, которого достали оводы.

— Нет, погоди. Что-то с головой у меня, никак в тон тебе не попаду... — Он помолчал. Она выжидательно смотрела ему в лицо. — Ты такая... — Он пустил пробный шар и сам удивился тому, что волнуется, будто ему лет шестнадцать, а этот пробный шар у него первый и пробный скорее для него самого, чем для той, в чью сторону запущен. — Ты такая красивая и малоодетая, что я тебя просто стесняюсь. И по-

тому в мозгах ступор. Сейчас я постараюсь привыкнуть и приду в норму...

Она перестала улыбаться и отвела глаза. То ли искренне смутилась от столь нахрапистой откровенности, то ли — наоборот, подыгрывает...

Но если подыгрывает — так это ж еще лучше!

— Ты тоже славный, — негромко сказала она, не поднимая взгляда. Положила ногу на ногу. Ноги были полные, светлые, хотелось хоть щекой прижаться к ним, что ли... Порывисто вздохнула. — После вчерашнего мне тебя так жалко стало...

— Жалко?!

— Конечно. Ты пей чай, пей... Тут такого не достанешь, да и заваривать на Москве не умеют. Это наш, сибирский.

Он послушно отхлебнул. Странный был вкус. Впрочем, травяной. Пахло лугом каким-то, вернее — опушкой. Цветы, цветы, иван-чай выше человека, а дальше — чащобы малинника. Почему-то сразу сделалось уютно, ровно в детстве на открытой веранде, где они всей семьей сидели и пили чай из самовара, с медом... Какой там был воздух!

А пожалуй, Наташка со своей Сибирью тоже в этом должна понимать. Не то что вся эта интеллигенция.

— Ты по родным местам скучаешь? — спросил он.

— Я знала, — тихо сказала она. — Вот как в воду глядела. Это волшебный чай. В нем травы... Стоит только глоток сделать — и начинаешь вспоминать детство и родные края. Иногда скучаю, Степушка...

У него просто дыхание оборвалось, такой у нее стал вдруг мягкий, родной голос.

«Кто кого клеит?!» — с изумлением подумал он.

— Так вот. Мне стало тебя очень жалко, — заговорила она, не дав ему себя перебить. И посмотрела ему в глаза. — И кулаки-то у тебя не такие уж боль-

шие... И рожа совсем не тупо богатырская. И весь ты на самом деле такой беззащитный... Знаешь, сейчас жизнь стала, как война. Я вот несколько материалов по школам делала, по тому, какое там житье-бытье — в обычных школах, в продвинутых и, наоборот, в интернатах, в школах для детей с ограничкой... Все детки такие разные, а вот в этом — уже одинаковые. Они уже много себе и не представляют. Каждый один, сам по себе, и либо ты — либо тебя... Война без конца. Мечтают о другом, хотят чего-то совсем другого — но на деле этого другого уже не представляют. А ты как будто вырос в мирном мире, где, конечно, не рай и люди вполне с норовом, но — все, в общем, вместе, а не поврозь. И поэтому тебя очень легко все время заманивать в засаду. Понимаешь? Тебя бы в общинный мир снова — цены бы тебе не было.

— А у тебя был общинный мир? — спросил он тихо.

— Да, — коротко ответила она. — Более чем.

— А что это?

Она задумалась, глядя куда-то в сторону. Сосредоточиваясь, подыскивая, видимо, слова поточней, глубоко втянула воздух носом и, давая легким простор для вдоха, на несколько мгновений выпрямила спину так, что упругая грудь ее будто коротким горячим ударом в низ живота ударила Корхового.

— Лебедь, рак и щука могли бы отлично сотрудничать, если бы делали какое-то общее дело, — сказала она. — Каждый живет там, где не могут жить остальные двое, и способен на то, чего опять же не могут остальные. Идеальное сотрудничество. Но это только если все трое друг другу очень доверяют. Вдали друг от друга, не видя, не в силах контролировать — всегда знают, что остальные все равно делают это общее. Значит, все трое должны быть чем-то

по-настоящему, всей душой увлечены. Только так разные могут искренне делать что-то одно. А у нас теперь даже представления об общем деле нет, все мечты о единстве сводятся к тому, чтобы под общий хомут всех поставить. И поэтому, натурально, все только и норовят из-под хомута сбежать — и остаться в одиночестве. Общинный мир — это там, где не общий хомут, а общее дело.

— Никому не дано повернуть вспять колесо истории, — с отвратительной ему самому иронией сказал Корховой.

— Да, — грустно сказала Наташка. — Но иногда очень хочется.

— Луддиты вот в свое время машины ломали — думали, все зло от них...

— Ну да. А русские богатыри по пьянке демократов бьют — думают, все зло от них.

Его аж скрючило от стыда.

— Ну вот же как ты все вывернула!

— А потому что обидно за тебя. Ты же истреплешься по мелким бессмысленным дракам... Которые нужны не столько тебе, сколько тем, на кого ты кидаешься. Обидно. Грустно. Хочется уберечь.

— Наташка, — потрясенно сказал он, малость обдумав ее слова. — Так ты что же? Про меня думаешь, что ли?

— Бывает, — просто сказала она. — А теперь даже опасаться начала. Если бабе мужик интересен, симпатичен, а потом его плюс к тому еще и жалко становится — тревожный сигнал. — Помолчала. — Можно влюбиться до зеленых соплей, а мне это совсем не с руки.

Тут уж он вообще слегка онемел. Только схватился за свою чашку без ручки — пиалу, вот! — и отхлебнул.

И опять запахло детством. Теплым и незлобным. С гудением пчел, с мирным запахом цветущей картошки, со скрипучим колодезем...

— А... — у него голос дрогнул. — А почему это тебе не с руки? Если бы...

Он попытался ухмыльнуться с лихостью опытного сердцееда, но получилось худо, Наташка ему слишком нравилась, чтобы ему и впрямь легко балагурилось; и только фраза, раз уж запал успел взорваться, полетела неудержимо:

— Если б ты влюбилась в меня до зеленых соплей, я бы не возражал.

— Да я знаю, Степушка, — почти пренебрежительно ответила она. Оглядела его каким-то новым, пробующим взглядом. Чуть усмехнулась. — Степка-растрепка... Причесать тебя, что ли?

— Нет, ты объясни, — чуть хрипло сказал он. — Почему это не с руки?

Раз уж пошел решительный такой разговор — не Корхового в том, увы, заслуга, не он вырулил, а она, ну и ладно, — надо было разъяснить тему раз и навсегда.

— Налить еще чаю?

Он набычился.

— Нет.

Она встала.

— Хочешь, музыку послушаем?

Он не сразу сообразил, что ответить. Слишком внезапным был переход от интимного к светскому. Откашлялся, стараясь поскорее справиться с накатившим возбуждением и овладеть собой.

В чем разница между обладанием и самообладанием? После самообладания поговорить не с кем.

— Н-ну давай! — залихватски поддержал он нелепую идею. — Моцарта или Сальери?

Она усмехнулась, мимолетно оценив его юмор. Проходя мимо, пренебрежительно повела плечом.

— Да ну ее, эту Европень.

Он встал и, ловя себя на том, что, в который уже раз послушно семеня за Наташкой, напоминает, наверное, водевильного лоха, опять поплелся за нею вслед. Пришли снова в комнату. Наташка легким пролетом руки показала ему, в какое кресло сесть (а то бы он сам не догадался — не так уж много, прямо скажем, в комнате насчитывалось посадочных мест!), и с сухим треском вывалила перед ним на журнальный столик с десяток дисков. Ну, следовало ожидать. «Акупунктура разума», «Китайская флейта», «Бамбук на ветру», «Чайный дзен»... А вот и во все «Гу юнь» какой-то...

— Ты сто, — проговорил он тонким противным голоском, — китайская сипиона по клитьке Маленькое лисовое зёлнысыко?

— Угу, — сказала она. — И перуанская, — она сняла с полки и показала ему несколько дисков со слегка варьирующимися изображениями на обложках: вдали — длинные заснеженные хребты под пронзительно-синим небом, поближе — странные ступенчатые пирамиды. На дисках было написано «Музыка Анд — 1», «Музыка Анд — 2»... Корховой уважительно поднял брови. Наташка убрала андские диски и показала ему еще пару — с пустынями и верблюдами один, с пустыней и без верблюдов другой — только барханы, барханы, барханы без конца... — И иранская, разумеется. Два года назад товарищ аятолла Хоменюк наградил меня за беспорочную службу именовым хиджабом с золотыми детонаторами. — Она повернулась и задумчиво перетасовала диски в ладонях. — Вот этот мы и поставим... Обожаю этномузыку. Ты кури, если хочешь, я

же знаю, у тебя вон пачка сигарет в кармане топорщится. Я чего-нибудь под пепелку придумаю.

— Я курю, только когда пью, — сказал он честно.

— Смотри, сколько сразу пользы появится, если ты перестанешь пить, — сказала она.

— Да я ж не алконавт, я просто широкая натура.

— Какая у тебя натура, можешь мне теперь не рассказывать — сама насмотрелась, пока ехали.

— Чего? — опасливо спросил он, в сущности, совершенно не желая, чтобы она ответила. — Хорош был?

— Змей Горыныч.

— Это как? Огнем дышал?

— Огнем, водой, медными трубами... Всем, что было. Хорошо, у меня пакет в кармане случился — успела подставить...

Хоть сквозь землю провалились — а ничего уже не поправишь. И Корховой просто смолчал, сгорбившись в кресле. Но Наташка и не ждала ответа. Опять положила ногу на ногу. Ох...

Проигрыватель занял.

— Слушай.

Не то мужской, не то женский протяжный голос вывел какое-то «Расул улла иль алла», или как-то этак — и буквально через пару минут Корховой понял, что ему — нравится. То есть — даже не то слово... Он совсем такого не ожидал, приготовился просто поскучать, коль уж взбрела женщине в голову блажь... Корховой никогда не видел песка больше, нежели в песчаном карьере, что в двух километрах от деревни, и даже там по застарелым склонам росли зеленые, полные влаги кусты, а внизу стояли теплые лужи, в которых они, огольцы, с визгом купались да ловили головастика. Но знакомая всем смертным тоска, на сей раз обернувшись вроде бы

предельно чужим напевом, настигла его и проколола насквозь, и Корховой вдруг ощутил себя кораблем пустыни, мерно бредущим от оазиса к оазису, от колодца к колодцу сквозь ослепительное мертвое марево без конца и края, и под ороговевшими копытами — каленый песок, обжигающий, как вулканическая лава, и сыпучий, как день за днем. Да это же не пустыня, это жизнь, понял он.

Наташка, чуть встряхнув головой, поднялась и подошла к окну; встала к Корховому спиной.

— Всегда реву, когда это слушаю, — сказала она низким, грудным голосом. А он теперь мог без помех любоваться ею сзади, выглаживать взглядом каждый изгиб ее тела, каждую округлость, растворять взглядом даже ту игрушечную одежду, которая делала ее не совсем нагой, и он поймал себя на том, что — может быть, впервые с момента, когда они познакомились, — действительно любит.

Он встал и медленно пошел к ней. Араб длил и длил свою путеводную грусть, наверное, старался растянуть ее на весь дневной переход, до следующего колодца, и держал ее как можно выше, на вытянутых к небу руках, чтобы та не упала и не зажарилась в барханах живьем. И может, так она Аллаху заметнее. Наташка не оборачивалась. Он подошел вплотную, положил руки ей на теплые плечи и чуть потянул к себе. Она легко откинулась спиной и затылком ему на грудь, запрокинула голову; он увидел, что глаза ее закрыты, а уголки их влажно искрятся. Духи ее пахли бережно и невесомо, как пахнут, верно, какие-нибудь лотосы. Он не знал, что делать дальше. Все это оказалось слишком всерьез. Она слишком нравилась ему, чтобы он мог быть бесцеремонным.

— Почему тебе не с руки? — чуть хрипло спросил он; от желания у него даже голос сел.

— Жизнь короткая, Степушка, — сказала она, не открывая глаз. — Не успеешь губы покрасить — уже волосы поседели. А хочется же что-то сделать настоящее. Вот сейчас поедем на космодром... Я столько лет мечтала. Я зацепиться там хочу, потому что мне приспичило не статейками отделаться, а книжку про них написать... литературную биографию, скажем, хоть того же Алдошина, хоть кого... Или космонавта — вдруг мы там космонавта встретим? Есть же там космонавты, наверное. Из нынешних уже, не из великих советских, не Гречко, Леонов или Джанибеков, а из молодых. Чем они дышат? Это ж с ума сойти как интересно. Но я вполне допускаю, что мне придется там кого-то охмурять. У всех свои методики работы, у женщин специфика, пойми. А если у нас с тобой что-то будет... Вдруг ты ревновать начнешь? Ты вон какой темпераментный — чуть что и по сопатке. Или просто окажется видно, что я уже при мужике? Это само по себе неудобно. И даже если ты не станешь мешать — мне, главное, самой может оказаться совестно. Буду бояться тебя обидеть... Это вообще уже не работа. Понимаешь?

У него перехватило горло от нежности.

— Господи, — пробормотал он, — какая ты хорошая!

Так и лежа ароматным затылком у него на груди, она улыбнулась с закрытыми глазами.

— Торжественно обещаю, — сказал он, — что не буду ревновать и путаться под ногами. А если поймаю космонавта первым, то оглушу, припру его к тебе и сдам с рук на руки. А сам отвернусь и заведу с Бабцевым разговор о том, что нам до Европы еще

расти и расти и пора смирить имперские амбиции и встать перед ними по стойке «смирно».

— Степка... — растроганно смеясь, проговорила она. И в тон ему повторила: — Какой ты хороший!

За окном совсем свечерело. Тихо умлевала в гаснущем весеннем тепле улочка Куусинена, будто застрявшая где-то годах в семидесятых прошлого века. Трудно было поверить, что в пяти минутах ходьбы — метро, а в трех остановках — шепелявый грохот и нескончаемый круговорот жерновов Садового кольца. Застрять бы и самим вот так...

— Ну поцелуй меня, что ли, — сказала она.

— Хабиби-и, — нежно протянул он на одной ноге в тон все не могущему добраться до оазиса арабу.

ГЛАВА 6

Время жевать камни

Все же Валька классный журналист.

И хороший человек.

Ни одного неосторожного слова. Ничего, что могло бы впрямую указать, откуда он, собственно, взял материал для своих обличений. Конечно, те, кто знал, чем и с каким результатом сам Кармаданов занимался в последние недели, без особых усилий могли бы заподозрить, откуда дунул ветер перемен, — но только заподозрить.

Зато умозаключениям Валька дал волю. Даже, на вкус Кармаданова, малость перегнул.

Так называемое покорение космоса, мол, и в советское-то время было не более чем промышленными отходами оборонки и сверкающей пылью в глаза, тщательно нагнетаемой иллюзией, призванной поднять так называемую гордость за отвратитель-

ную на самом-то деле страну, и воспитывать так называемый советский патриотизм — позорный, как и всякий патриотизм, являющийся последним прибежищем негодяев, если только он не есть закономерный и естественный ответ на реальную заботу государства о свободе и благосостоянии. А уж в наше-то время верить бессовестно распространяемым некоторыми официозами байкам о сохранении и преумножении замечательных традиций великой космической державы могут только непроходимые тупицы, потому что любому мало-мальски здравомыслящему человеку должно быть ясно: в принципе не может претендовать даже на малый ломтик космоса страна, в которой и приличных унитазов так и не научились делать, в которой текут все, какие ни есть, трубы жилкомхоза, в которой половина лекарств, вплоть до простейшего аспирина, — подделка... Такой стране просто нечем и не на чем летать. Не говоря уж о том, что незачем. Как и всякие песни о великих традициях и замечательном наследии, песня о космосе — лишь средство оболванивания людей, средство легального и даже радостного для самих этих людей отъема у них последних денег. У этой страны нет великих традиций и замечательного наследия, нет и нет, и быть не может, пора наконец это понять! У нее есть только привычка к идолопоклонству, к коленопреклонению и к кнуту. И те, кто стоит во главе этой страны сейчас, прекрасно это знают и пользуются народными привычками беззастенчиво и почти неприкрыто. Старые песни о главном запели сейчас слегка на новый лад — но это ничего не меняет. Вот, например, вновь созданная государственно-частная корпорация «Полдень-22». Одно название чего стоит! Издевательство, а не название! А по сути? Почему не государственная — понятно.

У государства уже не хватает ума ни на что, кроме как пить кровь из нефтянки. Но почему не просто частная? Ведь понятно, что частный бизнес идет именно в те области экономики, за которыми будущее. Если бизнес чем-то занялся, если он рискнул чем-то заняться — будьте уверены, через пятнадцать-двадцать лет именно здесь будут золотые горы; и не под землей найденные, а настоящие, сделанные трудом людей. Если частный капитал не занимается космосом — значит, космос не нужен. Значит, за этим занятием нет перспективы. Значит, оно — туфта, как любит называть подлоги и обманы поголовно ставший уголовником хотя бы в том, как он говорит, так называемый народ-богоносец. Тогда зачем нужна государственно-частная корпорация? Зачем этот не понятный никому тянитолкай? Надо полагать, все для того же простого занятия: обогащения чиновников. Потому что, если кто еще не понял: отъем денег у тех, кто их честно зарабатывает, то есть у бизнеса, у реальных организаторов реального производства, и перекачка их в карманы тех, кто не делает ровным счетом ничего, кроме как сидит в высоких кабинетах, есть основное занятие государственных служащих высшего и среднего звена. Но существуют разные схемы. Одна — прямой государственный рэкет. Заботами СМИ, общественных организаций и международного сообщества, пристально следящих за бандитскими прихватами путинской вертикали, эту деятельность чиновников удалось подсократить. Но даже голь на выдумки хитра, а уж вертикаль — и подавно. Следовало бы как следует проверить, не является ли корпорация «Поддень» обкаткой — возможно, не первой — новой схемы: самим же Кремлем в одночасье назначенные частными предпринимателями служилые

товарищи просто получают из казны действительно колоссальные, космические во всех смыслах, можно даже сказать — астрономические суммы... А дальше — ищи их свищи. Недавно полученные нами косвенные данные недвусмысленно намекают на то, что именно ракетно-космическая отрасль благодаря традиционно не скупому (мягко говоря!) бюджетному финансированию избрана государственными тунеядцами новым каналом обогащения и «Полдень» является первой по-настоящему работоспособной схемой такого рода. И самое отвратительное, что рука руку моет, и все государственные учреждения — в том числе и те, что призваны контролировать остальные и не допускать их до лихоимства, на самом деле в доле, или, по крайней мере, берегут честь мундира, надеясь, скорее всего, оказаться за это в доле хотя бы потом...

Лихая получилась статья.

И в то же время... Кармаданов перечел ее дважды, сложил газету и понял, что ему даже жалко немножко Вальку Бабцева. Дон Кихот... Мечтатель. Юный пионер, честное слово, буржуинский Мальчиш-Кибальчиш. Нам бы только день простоять да ночь продержаться. И банки есть, да банкиры побиты... Частное предпринимательство у него — спасение от всех бед, панацея от нечестности, коррупции и произвола... Иногда Кармаданову казалось, что Валька сам-то в глубине души давно уж не уверен в том, что большие и чистые деньги (поселянка, хочешь большой, но чистой любви? приходи на сеновал!) есть главная тяга мироздания и венец развития человечества. Потому и утверждает это с такой неистовостью при каждом удобном случае, тщась в первую очередь удержать в этой вере себя самого. Потому что если не это, тогда что? Опять комму-

низм какой-нибудь? Это ж лучше повеситься! И вот стойко, как оловянный солдатик, хранит верность перестроечным смутным надеждам. Можно только восхититься — но почему-то не хотелось. И даже понятно почему — слишком Валька был воинственен и непримирим. Будто знал истину в последней инстанции и с ее высот раздавал всем сестрам по серьгам. А это всегда противно и всегда вызывает протест. Любая сказка, которая вдруг зазнается настолько, что начинает почитать себя единственно верным отражением так называемой реальной жизни, становится рвотным порошком...

Ах, если бы Валька прав был — как это оказалось бы хорошо!

Правда-то в том, что хапают и частники, и госслужащие, все, просто каждый по-своему. Что-то рухнуло куда более стержневое и нутряное, нежели монополия государства на производство и крупномасштабное стяжание.

При коммуняхках был один идеал на всех, ради него делалось все. Ради него поля пахали, ракеты летали, солдаты маршировали. Ради него имело смысл быть честным и бескорыстным, ради него можно было с легким сердцем смеяться над барахлом да барахольщиками и пренебрежительно отмахиваться от неустроенностей быта. Прямо по Библии: Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною... Но поскольку государство сей идеал старательно вбивало в мозги, в конце концов всяк стал от него шараться. Даже неважно уж, правильный он или нет, — просто человек не терпит насилия. Раз вбивают — значит, неправильный. Тогда разрешили идеалы выбирать самим, но главным идеалом как-то очень уж проворно стала толщина бумажника. Энергичность и порядочность,

★ талант и упорство меряются единственно этим критерием! Кто не удовлетворяет ему, тот дурак (умный всегда найдет способ заработать!), тот подлец (как можно забывать о своем долге заботиться о семье, о детях — а разве может дать им достойную жизнь бедный?), тот бездарь (в наше время одаренному человеку все пути открыты!).

Не предусмотрено ни одной развилки в сердце, которая могла бы отвлечь от этого идеала ради какого-то иного... Не о чем мечтать. Ничто не ценно и не мило само по себе, без наклепленного ценника...

Кармаданов успел прочесть Валентинов опус по дороге на работу — специально поехал, как бедняк, на муниципальных перекладных, чтобы на станции метро купить излюбленный Валькин еженедельник. Смотри, шустрый какой Валька. Утром в газете — вечером в куплете... Надо будет вечерком позвонить ему, поблагодарить и поздравить.

Да, он настоящий товарищ. Не засветил. У Кармаданова, если честно, немножко тряслись поджилки после откровенного разговора с другом — не ляпнул бы тот потом лишнего. Нет, Кармаданов ни секунды не жалел о своей порывистой откровенности — на войне, как на войне. Но все же неприятностей не хотелось. Если можно обойтись без них — лучше бы все-таки без них. На работу он пришел, ощущая себя кем-то вроде сапера, шагающего напрямик на минное поле. Вот под ногами привычная почва, затканная душистым зеленым кружевом травы и всяких там полевых цветочков, а вот-вот ухнет, и травушка-муравушка — в стороны, и почва ломтями вывернется из-под ног наизнанку, выстрелив изнутри прямо в тебя преисподний огонь... Но сослуживцы вели себя как всегда, и бумаги дожидались на столе, как всегда;

и скоро Кармаданов с головой погрузился в текучку и забыл о своих опасениях.

Хотя, конечно, расслабляться рано. Это ведь только он сам, Кармаданов, прикинул, когда и где ждать статью. Пока еще на нее обратят внимание, пока у начальства шестеренки в головах провернутся...

Так или иначе, день пролетел незаметно. И хорошо. Нынче Кармаданову было все ж таки не по себе в родных стенах. В каком-то смысле он ведь свою контору предал. Ибо сказано в Писании, сиречь в законе о Счетной палате: при проведении комплексных ревизий и тематических проверок должностные лица Счетной палаты не должны предавать гласности свои выводы до завершения ревизии или проверки и оформления ее результатов.

Однако в нем же сказано: Счетная палата должна регулярно предоставлять сведения о своей деятельности средствам массовой информации...

Хороший закон. Умный. Но, собственно, у нас все законы такие. Нельзя, но надлежит. Можно — да не в этот раз.

Домой Кармаданов возвращался в добром расположении духа. День прошел, ничего не случилось. И гражданский долг свой выполнил, и с рук сошло — во всяком случае, пока; но газета-то уже вышла, и круги по воде пойдут, пойдут, не могут не пойти, а после драки кулаками не машут. И погода — хороша... Вот ведь как весна спохватилась и решила напомнить, что после нее — не сразу осень, а еще и на лето можно рассчитывать. Еще позавчера моросило и ни намека на листву, а теперь просто сердце радуется.

Кармаданову нравилось место, где он жил. Такой зеленый массив под боком — парк МГУ, не шутка, многие сюда специально с других концов города ка-

таются — пройтись, полюбоваться, ощутить смутную гордость... В юности Кармаданов и сам обожал бродить по смотровой площадке. Вся Москва на ладони. Лечу это я, лечу... А уж как благоговейно он трепетал от вида титанических корпусов цитадели знаний да грандиозных каменных болванов с каменными же книжками... Теперь ему на эти очковтирабельские красоты начхать, а вот что зелени много — это хорошо, это правильно. Было где малышку выгуливать. Есть где подышать на досуге. Даже если некогда тащиться на смотровую — все равно уже в пяти минутах от дома, только переиди перекресток, в одночасье ставший площадью имени Индиры Ганди — хотя ничего в обличье перекрестка не изменилось, перекресток и перекресток, только статую невинно убиенной премьерши вдруг взяли да воткнули, — и вот он тебе длинный, с красивым круглым прудом, сквер, заклиненный в узости между Мичуринским и улицей Дружбы, чуть ли не во всю длину занятой великой стеной китайского посольства.

Когда Серафима была еще совсем малая, в коляске гуляла, именно здесь Кармаданов ее напITYвал кислородом. В ту пору почище было, и скамейки не так утопали в окурках, обедах и пластиковых пустых бутылках...

А сколько было в мае—июне одуванчиков! Будто густое, крупитчатое солнце заливало поляны...

Жена сидела, чуть сутулясь, над очередными тестами своих — отнюдь не каменных — болванов; манжила она их, как Суворов солдатиков. Явно пришла недавно. Но каким-то чудом в квартире уже пахло мясным и вкусным; Кармаданов, и не заходя на кухню, сразу понял: ужин ждет. Каким манером жена все успевала — загадка.

— Шалом, Руфик, — сказал Кармаданов и поце-

ловал жену в склоненный над ученическими каракулями затылок. — Эрев тов.

Она повернулась к Кармаданову, недовольно оттопырив нижнюю губу. Поглядела на него поверх очков.

— Слушай, сколько ты еще будешь меня доставать своим пиджин-ивритом? — вместо «здрасьте» брезгливо осведомилась она, но глаза ее смеялись. — Гляди, на пиджин-русском заговорю.

— С тех пог, как твоя тетя Гоза пгигласила нас погостить у себя в Нетании, я тгенигуюсь, — сказал Кармаданов, расстегивая пуговицы рубашки. — Вдгуг ты туда и на вовсе гешишь пегебгаться?

— Вот только гиюра мне не хватало, — мрачно ответила Руфь и снова повернулась к кипе листов.

И неожиданно подумала: а может, муж и не просто шутит. Может, эта мысль беспокоит его всерьез? Руфь Кармаданова продолжала смотреть в бумагу, но уже не видела ни единой буквы.

Неужто правда? Придумал себе тревогу и вполне всерьез теперь относится к выдумке — только виду не подает? И решил теперь вот так, дурачась, осведомиться невзначай... Может же такое быть?

Ведь чужая душа — потемки, а душа близкого человека — и подавно, потому что близкий тебя бережет, ни ранить не хочет, ни унижать, ни даже просто ставить в неловкое положение; как ни крути, а больше всего достоверной информации о мире мы получаем, когда он нас унижает и доставляет нам всяческую боль.

И, чуть подумав, Руфь добавила, не оглядываясь на мужа и как бы тоже шутейно:

— Я женщина, гусская сегцем...

Нет, сразу поняла она, мало. Если он себе такое пугало измыслил два месяца назад, когда она читала

вслух письмо, и все это время отрачивал — мелкой проходной шуткой его враз не вылечишь.

— И вообще, — сказала она, горбясь над бумагами, — русский с еврейкой братья навек.

Она так и не узнала, понял он ее, или нет. Если она про его тревоги все попусту придумала, то наверняка не понял; но лишний раз объясниться в любви никогда на самом-то деле не помешает. А если не придумала — может, она ему тем и впрямь выбила мрачную придурь из головы. Потому что подхватил он ее тон сразу и с таким легким, летучим вдохновением, какое бывает, лишь когда гора валится с плеч. Только секундочку промедлил и запел:

— Крепнет единство народов и рас! Рюрик и Шломо слушают нас!

И совершенно как едина плоть, разом, они расхохотались до слез; даже в своей комнате Серафима, читавшая в кресле, их все-таки услышала и, не тратя времени на то, чтобы впрыгнуть в тапки, босиком побежала туда, где все и где всем весело. Через мгновение, подозрительно приглядываясь к гогочущим родителям, она уже возникла в дверях. Как всегда, с какой-то книжкой под мышкой.

— Привет, — сказала она.

— Привет, — ответил, чуть задыхаясь, Кармаданов и ухватился за брюки, которые расстегнул было, чтобы сменить на домашние. При дочери он разоблачаться стеснялся.

— Слушай, Семен, — озадаченно спросила Руфь, — а откуда мы слова-то знаем? Это же пятидесятые годы! Ни тебя, ни меня еще и в проекте не было!

— Советские гены, наверное... Они же стальные, как Павка Корчагин. А может, в каком-нибудь фильме про те времена ее употребили в фоновом режи-

ме... В общем, понятия не имею. Я, кроме этих строчек, и не помню ничего.

— А я бы и про народы и расы без тебя не вспомнила...

Серафима решила, что слишком уж долго в ее присутствии родаки беседуют друг с другом через ее голову, и решила встрять.

— Ты кого-нибудь нынче прихватил?

— Нет. Нынче не прихватил. Отвернись, девушка, я же штаны меняю.

Она послушно отвернулась, но разговора не прервала ни на миг.

— Похоже, па, день прошел впустую?

— Да как сказать... Мы восполним другими радостями. Погода хороша. Ты уже гуляла, шестикрылая?

У Серафимы с вожделением напряглась спина.

— Хорошего всегда мало... — нейтрально сказала она.

— Вот мы сейчас поедем и пойдем еще подышим. Я тоже с удовольствием повечеряю среди куц с газеткой...

— Пора бы тебе во время своих лингвистических тренировок выучить, — не поворачиваясь, подала голос Руфь, — что куци — это не кусты, а шалаша.

— Понял, не дурак, — сказал Кармаданов. — А нам шалаша не нужны, у нас жилплощадь. Нам свежий воздух нужен. Мама не против?

— Мама не против.

— А что девушки нынче читают? — спросил, переодевшись, Кармаданов.

Серафима молча протянула ему книгу обложкой в нос.

— «Алые паруса», — растерянно прочитал Кармаданов заезженное по пустякам, но в перевоздан-

ной сути своей почти забытое сочетание слов, и с некоторым сомнением обернулся на жену. — Руффик, а не рано?

В памяти сразу всплыла неприятная, будто пахнущая многомесячной немытостью картинка в телевизоре — разбитные девицы в блестящих портках, кривляясь, гундосят нарочито противными голосами что-то вроде «ты больше не зови меня Ассоль, у меня на этом месте от тебя мозоль...». Нет, дословно не вспомнить текстовку, только образ остался. Яркий, надо признать. Сто вкусных супов съешь, а будто и не было их — но таракан в супе не забудется.

И нынче тараканов стало больше, чем супов.

Впрочем, в самой книжке, вспомнил Кармаданов, этого все-таки нет. Так что глупый вопрос он задал, и понятно, что дочка прокомментировала его, саркастично хмыкнув: мол, ты вообще-то заметил, что я уже не в подгузниках?

— Я не знаю слова «рано», — проворчала Руфь. — Я знаю только слово «поздно».

Явно что-то процитировала. Что-то даже знакомое, но Кармаданов никак не мог вспомнить что. Вертелось, раздражающе виляло задом из кустов — а лица не показывало.

— Между прочим, сейчас новый взгляд возобладал, — академично начал Кармаданов и сел в кресло сбоку от стола, за которым работала жена. Сима с проворством котенка устроилась у него на коленях, и Кармаданову, как всегда, показалось, что она и весит не больше. Теплая, уютная и все еще маленькая... Он обнял ее левой рукой. — Современные тенденции борьбы с мифологизацией сознания, в частности, гласят, что Ассоль и впрямь свихнулась на красивой сказке и совершенно не могла приспособиться к реальности. Не мылась, не стриглась, отца

уморила голодом, спалила по рассеянности дом — все корабль свой ждала. А капитан Грэй, когда ее повстречал, враз сообразил, что в братья милосердия не нанимался, и сбежал. И только тем ограничился, что нашел сказочника, который свел девку с ума своей выдумкой, и начистил ему рыло. В общем, реализм такой, что Грэй получил срок за бандитизм, а Ассоль померла в психушке.

Руфь оторвалась-таки от бумаг и, полуобернувшись, опять уставилась на мужа поверх очков. Классическая училка. Если бы она не была такой красивой... Тонкий нос с интеллектуальной горбинкой, ясный лоб, библейские глаза...

— Ну, если возобладал — тогда хана, — сказала Руфь. — Тогда расхищение народного хозяйства будет нарастать и нарастать. Увольняйся, Кармаданов. Все зря.

— Не понял, — озадачился Кармаданов, и Сима, впившаяся было ему в лицо ждущим, пытливым взглядом, сразу опять повернулась к матери. — Какая связь?

— Какая связь? — похоже, немножко дразнясь и уж во всяком случае балуясь, повторила Сима.

— Простая, — ответила Руфь. — Из одного лишь страха наказания не совершают преступлений только первобытные люди — в маленьком племени, когда все друг у друга на виду, а вдобавок за каждым углом бдят грозные боги с колотушками. Все эти малореалистичные требования — не убий, не укради, не предай, даже не сквернословь — это же всё алые паруса, про которые каждому из нас в раннем детстве рассказывает великий сказочник — культура. И если она начинает сама бороться со своими же собственными красивыми сказками, все ее питомцы превращаются в дикарей. Да при том нет у них

уже ни строгого, крепко сбитого племени, ни богов с колотушками. Следовательно, гуляй, рванина.

Сима прыснула. Вряд ли она понимала все, что родители наговорили, но она видела, что они вместе, точно две чудесно подогнанные одна к другой детали самой главной игрушки на свете; что они довольны друг другом и рады друг другу, и, стоило им оказаться после рабочего дня под одной крышей, озорничают от души, — и ей тоже было легко и радостно.

— А тебе, шестикрылая, нравится книжка? — спросил Кармаданов.

Сима посерьезнела. Хотелось ответить так, чтобы папа, при всех своих взрослых закидонах, понял.

— Ага, — сказала она. — Там так просторно, красиво... — Помедлила и, поскольку была еще и честной, добавила: — Хотя местами занудь жуткая!

Уже основательно посвежело, когда Кармаданов с дочерью вышли на улицу. Идти далеко, на смотровую, было поздновато. Кармаданов уселся на скамейку перед прудом и развернул газету, Сима то с интересом присматривалась к выгуливаемым здесь же домашним хвостатым на четырех четырехках, а с самыми общительными немедля пыталась знакомиться, то напрочь о них забывала и принималась деловито, очень осмысленно кидать в воду какие-то веточки и листики. Впадала в детство, как она порой сама это очень по-взрослому называла. Кармаданов не вдавался, как и чем она развлекается без родительского присмотра, с друзьями-подружками, нечего девицу бесить мелким контролем; пивом не пахнет пока, и слава богу. Но когда удавалось им выбраться на пленер семейственно, вдвоем ли, тем паче втроем, дочка с наслаждением впадала в детство. Кармаданову думалось тогда, что она играет в это время не столько в то, что она по виду играет, сколько в маленькую себя.

Увлеченно, от души... Какое удовольствие она с того получала? Поди пойми...

Кармаданов время от времени отрывался от газеты и взглядывал, не слишком ли Сима рискует, например, съехать по еще влажному склизкому склону в воду. Потом опять опускал глаза. От чтения он получал, надо признать, скорее мазохистское блаженство: «Ну, что еще у нас плохого?» Кого ни возьми — всяк только и знал, что доказывал: я прав, я! Вот бы дали мне порулить! Ну, не мне, так тому, кто меня проплатил, — уж он-то точно знает средство от всех напастей! На словах что ни строчка — то клятва в верности народовластию и уважении к чужим мнениям, но между каждой парой строк такой горор, такая однобокость, что чувствуется: дай этому волю хоть на час, он сразу всех на лесоповал... Всяк ощущал себя в силах и вправе рулить всем что ни есть в стране — по-диктаторски. Но совершить хоть малое полезное действие здесь и сейчас, не обеспечив себе загодя безответственность и безнаказанность диктатурой, не дерзал никто, и потому все, в общем-то, лишь канючили и хаяли друг друга.

А уж снаружи... Там и вовсе клейма было некуда ставить. Подморозка девяностых — рудимент тридцатилетнего осторожного покачивания мира на сбалансированных весах двух блоков — прекратила течение свое. История понеслась вскачь. Все стало можно.

Высокие материи, для поколения Кармаданова еще бывшие ценностями, слова, ради которых люди всерьез готовы были подвижничать и страдать, окончательно выродились в бренды. Свободными можно было уж даже не делать насильно, зачем — свободными можно стало просто назначать. И не-

свободными тоже. Чувствовалось: пришел тот, кто возомнил себя полным хозяином всерьез.

Куда там туповатым и застенчивым, разом и беспардонно нахрапистым, и невпопад совестливым послесталинским коммунякам, отягощенным всеми патриархальными комплексами царизма — говорят же, что Александр Второй, коего народовольцы травили, как зайца, стреляли в него, взрывали его то с семьей, то в одиночку, как застанут, велел однажды запереть себя на ночь в одиночке Петропавловки, исключительно дабы понять и прочувствовать, что испытывают те, кого за покушения на него сажает охранка... Коммуняки хоть и насильовали, когда им в их бреду это казалось необходимым, все же чуяли сами, что совершают нечто ужасное и отвратительное, — и другой рукой тут же норовили как-то извиниться и подсластить произвол... И, разумеется, тем самым лишь провоцировали стремление покочевряжиться в ответ. Теперь не то. Теперь у хозяина достоинствинки за душой было не больше чем у арифмометра, и совесть его ссохлась в доведенную до абсурда хваленую протестантскую этику: что эффективно, то и этично.

Он мог бы и в Освенцим явиться с гуманитарной инспекцией — и если это был выгодный ему Освенцим, то без малейшей дрожи в голосе, НЕПОГРЕШИМО заявил бы вопреки всякой очевидности: здесь права человека соблюдаются. А мировое сообщество с полной готовностью (неофиты, как водится, первой всех, от безмерной преданности елозя пузом и повизгивая) подхватило бы: правильное решение! в Освенциме права человека соблюдаются! старший сказал!

И даже не потому, что народы боялись бомбежек. Народы-то как раз могли возмущаться сколько

их душеньке угодно — свобода. Но про них и их суверенитет вспоминали, только когда они возмущались чем-нибудь, чем надо.

Ведь те, от кого хоть сколько-то зависели реальные решения, те, кто правдами и неправдами выбился в элиты, — всеми своими жизненно необходимыми яхтами, виллами, самолетами, заводами и газопроводами неизбежно должны были поголовно вписываться в одну-единственную безальтернативную финансовую систему. Чтобы не оказаться в ней изгоями, чтобы не лишиться счетов, кредитов и займов, они непременно должны были подыгрывать тем, чья политика — какая угодно, хоть в перспективе смертоубийственная для планеты — обеспечивала сиюминутную стабильность этой единственной экономики. Оказаться за ее монументальными золотыми и мраморными бортами, оказаться снова обычными гражданами вершители судеб стран своих боялись куда больше, чем, скажем, при Сталине простой народ боялся лагерей.

Кто пытался как-то заслониться, тот с неизбежностью и впрямь нарушал права человека, и в первую очередь главное из них: право хапать, — а потому немедленно получал за это по полной. Любая духовная ценность, которая хоть как-то могла конкурировать с этим великим правом, немедля объявлялась чреватой кровью мифом, угрозой свободе... И потом ее, в общем, уж и не требовалось корчевать силой; она, вынужденная днем и ночью доказывать, что она — не верблюд, отлаиваться и отбиваться, доведенная до истерики беспрерывными мелкими укусами, неизбежно превращалась в злобного кособокого урода и дискредитировала сама себя.

Или, наскоро подмазав губы и натянувши трусики с надписью: «Я — духовная ценность», шла на па-

нель. И там, натурально, сразу превращалась из бичуемой отрыжки тоталитаризма в достопочтенную свободу совести.

А Серафима пускала листики, которые были корабликами — возможно, с алыми парусами...

Кармаданов вскинул бдительный отцовский взгляд. Отметил, что с дочкой все в порядке: та в процессе каких-то ей одной понятных маневров переместилась на противоположный край пруда и что-то чертила на земле; по проезжей части у нее за спиной медленно, явно не представляя опасности безумным лихачеством и даже, судя по всему, собираясь вовсе остановиться, накатом приближалась единственная, насколько хватает глаз, машина, какая-то иномарка без особых примет, а народу кругом резко стало меньше. Кармаданов снова вернулся к газете и оторвался от нее, лишь когда пожилой, невысокий человек в светлом плаще и старомодной шляпе, тоже с газетой в руке, остановился рядом с ним и, чуть поклонившись, церемонно спросил:

— Вы позволите?

— Да, конечно, — ответил Кармаданов и вежливо подвинулся. Машинально искал глазами дочь и ее не увидел. Никого не увидел. Иномарка стояла. И рядом с нею тоже никого не было. Кармаданов обеспокоенно заозирался, вытянув шею, но еще не созрев до того, чтобы вскочить; пожилой вдруг сказал:

— Девочка пока посидит у нас в машине. Если вы будете вести себя разумно, с нею ровным счетом ничего не случится.

Несколько мгновений Кармаданов не понимал, что он услышал. Будто фраза прозвучала на незнакомом языке. Просто птичка что-то прочирикала,

или собачка проворчала... Он все продолжал озираться, хотя глаза уже как бы ослепли.

— Что? — спросил он потом и перевел взгляд на пожилого.

Лицо как лицо. Морщинки у глаз. Легкая успокаивающая улыбка.

— Это очень удачно, что вы вышли погулять вдвоем. Это многое упростило. Но, чтобы вы все окончательно поняли, посмотрите вниз.

Кармаданов непроизвольно скосил вниз глаза. Пожилой чуть приподнял лежащую у него на коленях газету, и Кармаданов увидел, что под газетой прямо ему в бок смотрит...

Зажигалка такая, что ли?

— Да-да, вы правильно поняли, — проговорил пожилой. — Это огнестрельное оружие. Соблюдайте спокойствие и ответьте на несколько вопросов. Если мы поймем друг друга, все эти неприятности закончатся через пять минут.

Кармаданов не нашелся, что сказать. Ситуация была дикой. Пожилой опять опустил газету, но Кармаданов все равно уже знал, что там, под ней. И чувствовал, как его беззащитный бок, примериваясь, сверлит железным взглядом еще не вылетавшая пуля. Это было незнакомое и совершенно непередаваемое ощущение. Точно Кармаданова едва-едва, на пределе восприимчивости кожи, щекотали острием толстой стальной проволоки — но в любой момент могли проткнуть насквозь.

— Нам крайне существенно, чтобы вы вспомнили, на какие счета поступили те деньги, которые вы сочли пропавшими. Где они растворились и по каким именно причинам вы решили, что они растворились. Для чего они предназначались формально и

до какой инстанции их перемещение возможно проследить. В общем, все, что их касается.

Мир изменился мгновенно, словно Кармаданов невесть как разом попал с пусть безалаберной, но родной и уютной Земли на какую-нибудь чуждую Луну. Раскаленную, замороженную, безводную... безвоздушную...

— Ну, отдышитесь, отдышитесь, — заботливо сказал пожилой. — Я подожду. Мне-то спешить некуда. Это, собственно, в ваших интересах — покончить с неприятной процедурой побыстрее.

— Я... — просипел Кармаданов. Говорить было трудно, словно он ворочал языком камни и пытался прожевать их, а они не давались. — Я не могу... Это же не на память...

— А вы напрягите память, — ласково посоветовал пожилой. — Вы же профессионал.

Кармаданов молчал. Он просто не мог придумать, что сказать.

— Ну, начните с самого простого, — посоветовал пожилой. — Какая именно сумма растворилась? Уж это вы должны были запомнить.

Ни души не было кругом. Ни души. Даже солнце зашло. Даже автомобили будто вымерли. Только вдали, натужно приближаясь, с рычанием преодолевала пространство замызганная мятая маршрутка.

Что с нее толку.

Гортанно и протяжно кричали в деревьях галки. Что с них толку. Поодаль шумел потоками машин и лязгом подскакивающих на выбоинах троллейбусов Ломоносовский. Там было полно народу.

Что с него толку.

Кармаданов будто превратился в лед. Изо всех чувств осталось одно: то, что он, со всем своим умом, знаниями, бездной прочитанных книг, со всей своей

любовью к жене и дочери и даже со всей их двойной любовью к нему — оказывается, гораздо слабее и МЕНЬШЕ, чем короткий стальной плевок, которым волен все это прекратить или не прекратить неожиданно оказавшийся рядом совершенно незнакомый человек.

Поразительное откровение. Испытав его, жить потом невозможно.

— Вы кто? — хрипло спросил Кармаданов.

— Экий вы тормоз, Семен Никитич, — недовольно сказал пожилой. — Похоже, вам все же придется со мной поехать. Возможно, когда Сима будет у вас на глазах... И все, что с ней будет происходить, — тоже у вас на глазах... Это вас взбодрит. Вставайте.

Кармаданов сидел, будто примерз к скамейке.

Это же была та самая скамейка, на которой он сидел, когда Сима еще в коляске гугукала! Та самая!

— А если я не встану? — глухо спросил он.

— Яйца отстрелю, — просто ответил пожилой.

Кармаданов при этих его словах, как ни странно, ничего не почувствовал. Ему уже нечем было чувствовать. Он уже умер.

Он встал.

— Ну, вот и ладушки, — сказал пожилой и поднялся тоже, так и продолжая ловко и очень невзначай прикрывать пистолет газетой. — Айда.

Когда до иномарки оставалось метра два, передняя левая дверца открылась; изнутри, из уютной мягкой глубины комфортабельного салона, высунулся белобрысый парень и широко улыбнулся, глядя Кармаданову в глаза. У него была открытая, беззлая улыбка.

— Паяльник жопа хочиш-шь? — глумливо спросил он.

В нем не было ни тени, как с некоторых пор принято формулировать, кавказской национальности. Нормальный русак. Просто, наверное, среди таких русаков принято так шутить. Наверное, так они кажутся себе круче.

Мужественней.

— Ну, зачем вы это, — с неудовольствием одернул шофера пожилой. — Здесь нет фанатиков. И Семен Никитич тоже вполне интеллигентный человек. Просто он малость прибаддел. Сейчас мы покатаемся немного, и все утрясется. Садитесь на заднее сиденье, Семен Никитич, к дочурке поближе. А я спереди, — он опустил газету с пистолетом и шагнул в сторону от Кармаданова, чтобы открыть дверцу для себя. Он был так уверен в покорности Кармаданова... в своей неуязвимости... В том, что никто не в силах ему помешать...

Наверное, именно сейчас можно было бы что-то сделать. Но Кармаданов не умел.

Он покорно взялся за ручку дверцы. Открыл. Увидел, что Сима, съезжившись, сидит на заднем сиденье, и вся нижняя половина лица у нее заклеена скотчем, а рядом с Симой, с противоположной от Кармаданова стороны, расположился, обнимая девочку за плечи, еще один мужчина. Сима, сжавшись, глядела папе в лицо; у нее были огромные, бездонно-черные и сухие глаза. Она была в полной власти того, кто сидел с ней рядом. Может, у него на коленях тоже был направленный в нее пистолет.

Свободное место на сиденье рядом с Симой тянуло, как яма, в которую уже начал падать. Как сосущая бездна. Никуда, кроме как туда, пути не было.

Это оказалось очередным заблуждением.

Натужно катившая мимо, сто лет не мытая «газель»-раздрыга маршрутного такси, видно, совсем

обессилела. Мотор ее гневно взревел, но вместо того, чтобы ускориться, тачка вконец потеряла сцепление и, замедляясь, пошла накатом. Откуда-то издалека прилетел едва слышный в шумных судорогах ее движка легкий сухой щелчок, где-то близко цзинькнуло стекло — и человек, сидевший рядом с Симой, ни с того ни с сего смешно передернулся всем телом и ткнулся лицом в маленькое дочкино плечо — будто это теперь ему, взрослому и вооруженному, стало больно и страшно и это он искал защиты. Пожилой, вдруг растерявшись, оглянулся. А у «газели» сзади пружинно распахнулись дверцы аварийного выхода, и оттуда с нечеловеческой слаженностью и ловкостью, как складные, разом по двое выскочили четыре человека в черных вязаных то ли бандитских, то ли спецназовских — кто теперь поймет — масках; в три прыжка они оказались рядом, обогнав, казалось, даже свои поленом в темя бьющие крики:

— Стоять! Руки на машину! Ноги расставил! Шире, шире!

Тогда Кармаданов, неожиданно для себя все-таки ожив, одним рывком выдернул из-под неподвижного и очень тяжелого мужчины совсем потерявшуюся под его тушей маленькую-маленькую Симу и что было сил прижал к себе. А она обхватила его обеими руками.

И это снова была Земля.

Пять минут спустя они оказались на той же самой скамейке. Освобожденная от скотча, но не сказавшая ни слова Сима вжималась всем телом в грудь Кармаданову, сидя у него на коленях, и по-прежнему обнимала его обеими руками. Она не плакала, она не прокусила себе до крови губу, ничего такого — лишь глаза ее, казалось, все еще состоят из од-

них зрачков. И ее трясло. Кармаданов, у которого теперь размякли все поджилки, и дай ему волю уйти — все равно не дошел бы до дому, прижимал дочь к себе, втискивал в себя, словно она просто очень замерзла и он хотел ее согреть... Но его самого трясло точно так же. Ну, почти так же. А рядом сидел пятнисто седой пожилой человек в светлой спортивной куртке и джинсах — чем-то неуловимо похожий на того, первого пожилого, которого на глазах у Кармаданова и Симы стремглав скрутили, заломили ему за спину руки и сцепили их звонкими наручниками, а потом, грубо нагнув ему башку, невзначай растоптав его шляпу, впихнули в «газель» вслед за тоже скованным, ошалелым и неистово матерящимся молодым шофером. И этот второй пожилой теперь тоже что-то говорил. Наверное, этим он и был похож на первого: тоном негромкого властного голоса, заботливым, словно в насмешку. И тот, и другой говорили одинаково — точно рачительные хозяева в своем хлеву: кушай, Мокушка, кушай как следует, к Рождеству зарежем...

Кармаданов не слышал ни слова.

Пожилой это понял. Наверное, по лицу Кармаданова было видно, что у него темнеет в глазах.

— Семен Никитич, — осторожно сказал второй пожилой. — Вы как? Валидолу дать вам?

— Да, — сипло потребовал Кармаданов.

Второй пожилой сунул руку в карман — и по телу Кармаданова медленной судорогой прокатилась ледяная волна: может, тот полез за пистолетом. Но второй пожилой достал из кармана всего лишь пластинку с запечатанными в нее бледно-янтарными бусинками, выдавил одну из них на ладонь, потом, подумав, выдавил вторую.

— Подставляйте ладошку, — сказал он.

Кармаданов не смог подставить ладошку. Судорожно сведенные руки не слушались и не отлипали от Симы. Хотели ее прижимать, и все. Второй пожилой, похоже еще раз поняв, поднес свою ладонь ко рту Кармаданова. Кармаданов запрокинул голову (скажите «а-а»), и второй пожилой неловко скатил валидолины ему в рот. Кармаданов судорожно раскусил; ему некогда было ждать, когда растворится оболочка. Мятный холод окатил язык и небо.

Второй пожилой, не глядя на Кармаданова, сокрушенно покачал головой.

— Еле успели, — пробормотал он. Помолчал. Взглянул Кармаданову в лицо. — Нам с вами надо будет обстоятельно поговорить, Семен Никитич. Но, конечно, не сейчас. Сейчас я даже спрашивать ни о чем не буду. Вас до дому проводить?

Кармаданов не ответил. Дыхание стало выравниваться, и сейчас он мог только дышать, радуясь уже тому, что дышит. Просто дышит.

— Ваш шеф предупредил нас часов в пять пополудни. Он в курсе, в общем... И по вашим репликам понял, что вы совершенно не отдаете себе отчет, во что вляпались. А он ничего не мог вам сказать. Пока мы соображали, пока разворачивались... Едва не опоздали.

— Кто это — мы? — тихо спросил Кармаданов.

Второй пожилой усмехнулся.

— Да, звучит жутковато, — согласился он. — Мы... В общем, основной мой тезис таков: непосредственная опасность миновала, но в Москве вам, боюсь, все равно теперь работать спокойно не дадут. Да и жить. Да и нам надежней и приятней станет, если вы окажетесь у нас под рукой... А специалисты такого класса нам нужны. Мы ведь тоже деньги зарабатываем и тратим, и нас тоже порой пытаются

обуть. В мире живем, не на облаке. Завтра мы встретимся в любом удобном для вас месте — я приеду к вам на службу, или домой, или мы вас подхватим, где вы скажете, и привезем к себе для подробной беседы. И постараемся все прояснить.

— Что это было? — спросил Кармаданов.

Второй пожилой покусал губу.

— Какая-то реклама была в телевизоре, — сказал он. — Кошку чуть не засосало в пылесос, а потом, когда опасность миновала, она вылизывается и спрашивает томным кошачьим голосом: «Что это было?»

Он почти пропел эту фразу — чуть в нос. Получилось очень похоже. Помедлил.

— Не берусь сказать сразу с полной определенностью, и надо бы с этими гражданами сперва поговорить с пристрастием — но, полагаю, их очень интересовала специфика финансирования «Полудня».

С этими словами второй пожилой поднялся. Уже стоя, достал визитную карточку. Протянул ее Кармаданову. Потом, вспомнив, что у того руки приклеены к дочке, положил Серафиме на коленки. Странная то была визитка. Один телефон. Ни имени, ни адреса, ни факса-мэйла... Только телефон.

— Звоните в любое время, когда будете готовы, — сказал он.

— Кого спросить?

— Меня зовут Анатолий, — сказал пожилой. — Но вообще-то спрашивать не придется — отвечу я, и только я. До свидания.

Кармаданов хотел было задать еще вопрос, но сдержался. Впрочем, пожилой заметил и понял. В чуткости ему было не отказать.

— Сегодня никаких эксцессов больше не будет, мы присмотрим. Отдыхайте спокойно. До завтра.

И ушел. Его «газель» давно уехала, и он просто

пошел пешком в сторону Университетского проспекта. Легким, спортивным шагом, будто бы не обремененный никакой заботой, никакой тяготой, будто бы все произошедшее было таким незначительным и обыденным... Он даже, кажется, что-то засвистел себе под нос.

И ни разу не оглянулся.

Еще с минуту Кармаданов и Серафима молчали, только втискивались друг в друга. Дрожь ее немного унялась. Он спросил:

— Ты идти сможешь?

— А ты? — как ровня, в ответ спросила она.

Да она теперь и была ему ровня.

— Кажется, да.

— И я — кажется, да.

Он осторожно поднял ее с колен — ноги ее на миг беспомощно вытянулись в воздухе, упала на землю странная визитка — и поставил на землю. Осторожно поднялся сам. Сима нагнулась, подняла визитку и подала отцу. Он взял.

— Как сердце у тебя? — очень взросло спросила она. Так иногда Руфь спрашивала; дочь до сего дня — ни разу.

Он прислушался к себе и с некоторым удивлением понял, что вроде бы в первом приближении очухался. Ответил:

— Шевелится. Может, тебя понести?

— Вот только этого еще не хватало, — сказала Сима.

Тогда он просто взял ее за руку, и они чинно пошли к дому. Со стороны любой подумал бы просто: как славно гуляют.

— А давай маме ничего не скажем, — вдруг предложила Сима. — Чего ее зря волновать? Нам уже все равно, а она пусть живет как раньше.

Кармаданов даже сбился с шага. Наклонился. Сима тоже остановилась, подняла голову. Они посмотрели друг другу в глаза.

Двенадцать лет пигалице...

Кармаданову оставалось только преклоняться перед мужеством дочери.

— Я — за, — сглотнув от избытка чувств, сказал он.

И тогда словно кто-то распахнул перед ним дверь, по ту сторону которой сверкают в беспредельном пространстве все истины мира — и он увидел: эта родная храбрая пигалица станет поразительной женщиной, а они с Руфью будут гордиться тем, что они — ее родители...

Время эффектно и сполна подтвердило его правоту.

ГЛАВА 7

Крылатая каравелла

— Не разбудила?

— Нет.

— Я звоню, когда ты сказал.

— Да, конечно.

— У тебя больной голос.

— Нет, Катя, нет.

Журанков теперь тщательно следил за своей речью — чтобы не вырвалось снова вчерашнее «Катенька». Ни к чему были такие ошибки.

— Что скажешь?

— К сожалению, пока ничего хорошего. Мало времени. Что мог — я сделал, теперь надо просто подождать.

Она помолчала. А когда заговорила снова, голос

был сухим и отчужденным. Почти враждебным. Она хотела показать, что очень недовольна.

— Я понимаю, разумеется. Но не тяни слишком долго и не заставляй меня просить несколько раз. А то я пожалею, что к тебе обратилась.

Журанков чуть улыбнулся.

— Оставь мне свой телефон — я позвоню, как только что-то прояснится.

— Костик, это неудобно, пойми.

— Понимаю.

— Валентин будет недоволен, если ты примешься нам названивать.

— Он что, не знает, что ты мне позвонила?

— Почему?! — Она возмутилась. Мысль, будто она предприняла такой шаг без ведома мужа, тихом, тайком, была оскорбительной. — Прекрасно знает.

Журанков помолчал. Содержательная беседа... На что уходит жизнь, подумал он.

Впрочем, она уже ушла. Жизнь. Так что теперь не жалко.

— Как хочешь, — сказал он. — Но, согласишься, тут одно из двух.

— Да, я понимаю. Сложная ситуация. Но просто тебе надо поторопиться.

— Разумеется.

— Попроси аванс... Я не знаю. В конце концов, у тебя же есть какой-то работодатель, не святым же духом ты питался все эти годы. Постарайся его убедить, объяснить положение. Он должен понять... Что я, учить тебя должна?

— Нет, конечно.

— Я позвоню завтра в это же время, так тебя устроит?

— Устроит.

— Почему ты так односложно отвечаешь? Ты не пьян?

— Нет. Как у вас дела? Как сотрясение мозга? Преступников ищут?

Она помолчала.

— Это все тебя не касается, — сказала она. — До завтра.

Он повесил трубку и глубоко вздохнул. Провел ладонями по щекам.

Совершенно другой человек.

«Нет, чушь. Человек — это, простите, целый мир. В нем всего очень много, и все это — он, единый и неделимый. Поэтому он таков, каковы его отношения с собеседником. Если отношения не изменились — и человек не меняется. Если отношения стали иными — и человек становится неузнаваемым. А если отношений нет — то и человека нет. У нас с нею отношений нет — и поэтому я для нее просто не существую.

А почему тогда она для меня существует? Ведь у меня с нею отношений тоже нет...

Потому что у меня есть отношения с воспоминаниями о ней. С воспоминаниями о нас; о том едином организме, сложнейшем, норовистом, ныне мертвом, который называется «мы». Он мне дорог, а ей, вероятно, нет; возможно, ей о нем даже неприятно вспоминать. А возможно, она о нем и вовсе не вспоминает. Полное равнодушие. Сдох и сдох».

Журанков встал сегодня раньше обычного и к тому моменту, как Катя позвонила, успел уже и умыться-побриться, и чаю попить. Ему предстояло ехать в Питер и попробовать хотя бы у двух учеников — у их родителей, вернее, — выклянчить, не дожидаясь урочных сроков, часть денег за реально уже проведенные уроки. Это, конечно, не для Вов-

ки, по Вовкиным делам этого и на понюх не хватит. Просто на прожитье. И в связи с усиленным сидением в Интернете, и с возможным увеличением числа поездок на транспорте деньги сейчас могут полететь мелкими пташками.

А до того, как ехать в город...

Прямо сейчас, поутру, надо сделать очень важное и весьма трудоемкое дело. Делать его страшно не хотелось, и тут требовалось мужество куда большее, нежели вчера, когда он вывешивал в сети объявление про почку. Но Журанков решил. Хотелось бы, конечно, отложить до последнего момента, чтобы уж знать наверняка — пора. Но если вдруг все и впрямь закрутится, на личные дела может не остаться времени.

Когда Катя позвонила, он уже почти собрался. Оставалось лишь набросить куртку, надеть сапоги — хоть последние дни и выдались сухими да погожими, после весны на участках еще стояла вода, в ботиночках не пройдешь, — да взять спички и лопату. И в путь.

Что за лопату несешь на плече, чужеземец?

Последняя связь с той жизнью должна быть разорвана. Ну, собственно, не с ТОЙ жизнью, а просто с ЖИЗНЬЮ — но это уже казуистика, это тонкости. Ложась под нож, Журанков должен был быть уверен, что его бумаги никогда, никогда не попадут ни к кому, кому он сам бы их не отдал. Поэтому надо было выкопать пакет и все, что в нем, — сжечь.

Он, привычно не доверяя рассеянному себе, привычно проверил, в кармане ли ключи — он же не в нормальных расхожих штанах устремился на свои торфяные болота, а в старых лыжных, в которых еще студенческие кроссы бегал. Для первых весенних вылазок на участок они подходили как нельзя

лучше. Нет, все в порядке, вот звенят. Еще с вечера переложил.

С лопатой на плече он вышел из квартиры и захлопнул за собою дверь.

А утро снова было погожим. Прозрачное синее небо полно было света и словно чуть искрилось. Днем, может, ветер поднимется, но сейчас — ни дуновения, и прохлада мягко млела в тени между домами; чувствовалось — стоит солнцу подняться повыше, и разогреет, и днем станет по-летнему тепло. Вот-вот деревья задымят зеленым дымом.

Возбужденно суетился и гомонил птичий плембс.

Журанков очень любил это время — когда вылезшая трава уже спрятала проявившиеся из-под снега и плотно севшие наземь слои мусора и нечистот, а беременные почки вот-вот готовы радостно, не ведая колебаний, разродиться прекрасным потомством. С удовольствием дыша и размашисто, с шиком шаркая по асфальту тяжелыми подошвами великоватых ему сапог, Журанков прошел мимо уже полгода почему-то закрытой аптеки, мимо хилого, грязного продуктового магазина, по-свойски именуемого в народе «щелью», и вскорости напрямик вышел на Ахматовскую. Теперь вдоль железки до станции, потом пересечь пути — и впереди по курсу откроются просторы бывших опытных полей Института растениеводства, а до того, по слухам, — царских ягодных угодий: земляничников, малинников; а теперь тут простой народ кормится, как умеет. А скоро, шепот идет, всех стонят, как надоевших мух, потому что надо строить какой-то международный финансовый центр — и почву, которую разминали, и прокапывали, и пропалывали, и удобряли заботливые руки пяти поколений, мягкую, как пух,

жирную, как масло, закатают в сталь и бетон, чтобы ездили очень нужные лимузины с флажками.

Это, кстати, еще один дополнительный довод в пользу того, что откладывать нынешнее дело нельзя. Мало ли, когда начальников черт в бок боднет? А Журанков в это время будет, скажем, в больнице... Или на кладбище... Или где еще. Нельзя откладывать, нельзя. Да вон уже едет лимузин. С чего бы его сюда занесло?

От станции неторопливо, будто принюхиваясь в поисках поживы, внимательно катила длинная темная машина. Нет, все ж таки не лимузин. Просто «мерс» какой-то. Ну, тоже ничего хорошего. Журанков, поустойчивее уложив лопату на плече, выпятил челюсть и, стараясь не удостоить ни единым взглядом колесящих ни свет ни заря по тихой царскосельской улочке наглых проглотов, почти строевым шагом зашагал «мерсу» навстречу.

Проехали.

Одно из лиц по ту сторону проплывшего мимо затемненного ветрового стекла показалось Журанкову смутно знакомым. Вот бред. Показалось даже, что и тот пристально уставился на него, на Журанкова; и почему-то схватил водителя за локоть... Нет, езжайте, голубчики, скатертью дорожка, подумал Журанков с неприязнью, у меня дела, мне некогда. Он смотрел только вперед. Поэтому он единственно на слух понял, что машина тормозит. Вот даже шлепающий шелест шин по влажному асфальту стих. Но Журанков не замедлил шага.

Щелкнула позади дверца. Журанкову захотелось пойти быстрее, лучше бы и побежать, но это было бы совсем нелепо.

— Константин Михайлович? — раздалось сзади. — Вы ли это?

Все же пришлось остановиться. С досадой Журанков понял: опять что-то хочет вмешаться в его жизнь, в ее размеренное течение — хотя и совсем уже безрадостное, но все ж таки обдуманное и спланированное им, им самим, а не чужаками непрошеными; да, им, Журанковым! Конечно, насколько это возможно, пока у него есть по отношению к близким, пусть и бывшим, неотменяемые обязанности порядочного человека... Мгновение Журанков стоял, не оборачиваясь и все еще упорно глядя в сторону станции. Потом повернулся. От машины, замершей с открытой дверцей в десятке метров позади, торопливо шагал тот самый, смутно знакомый. На лице его расплывалась улыбка, сначала будто недоверчивая, а потом — все более уверенная, точно с каждым шагом визитера набиравшая соки и силы. Экий щеголь. Даже не набросил ничего — так и вышел из своей полыхающей солнечными бликами машины, яркой, округлой и зализанной, как исполинская карамель, в демократичных, но чрезвычайно ладно сидящих на нем светлых вельветовых брюках и ярко-канареечном джемпере поверх расстегнутой на шее богатой рубахи.

— Константин Михайлович! — Человек подошел к Журанкову почти вплотную и остановился.

В отсыревшей, забухшей от монотонных дней голове Журанкова разом отлистнулось назад несколько эпох.

Этого человека он не раз встречал. Да-да, точно, он и тогда щеголял, как мог...

Алдошин?

— Борис Ильич... — еще не веря, произнес Журанков.

Алдошин улыбнулся еще шире.

— Ага! И вы узнали! А я глазам своим не верю — едем себе, и вдруг марширует чуть ли не нам под ко-

леса целеустремленный пейзажник с неправдоподобно умным и на кого-то похожим лицом... Я ж по вашу душу сюда!

Журанков затрудненно сглотнул. Ему вдруг стало непереносимо стыдно своей куртки и своих штанов, заправленных в нечищенные, в засохших наростах еще осенней грязи сапоги.

— А я в поле... — хрипло сказал он.

— А я вижу, — в тон ему ответил Алдошин. — Отложить на часок нельзя?

Журанков перевел дух.

— Смотря по какому вопросу, — нелепо выговорил он.

— По общественному, — сызнава улыбнулся Алдошин. Чуть сощурился лукаво, словно что-то припоминая, и спросил: — Какие системы представляются вам более обещающими — гравигенные или гравизащитные?

Опять в голове у Журанкова что-то беспокойно заворочалось под слоистыми наносами — так, верно, трава начинает протискиваться из-под слипшейся коросты накопленного за зиму хлама и дерьма. Сам собой во рту начал складываться отзыв; неуместные слова с несколько траченной временем готовностью навинтились одно на другое безо всякого участия мозга, на рефлексе — ибо на вопрос Алдошина почему-то, не вспомнить сейчас почему, можно было ответить лишь: «Я признаю только Д-принцип...» Журанков дернулся, будто меж лопаток ему прижали горящий окурочок.

— Шутить извольте, Борис Ильич? — неприязненно спросил он.

— Помилуйте, Константин Михайлович! Ни в малейшей степени! То есть шучу, конечно, — а что же мне, плакать и скорбеть? Я же, в конце концов, рад

★ вас видеть безмерно! Я же вас совсем потерял! Вспомнил бы, может, через полгода, через год — мы же, покорнейше прошу учесть, еще только разворачиваемся, времени не хватает, и все надо успевать сразу...

— Нич-чего не понимаю, — с вызовом, почти с удовольствием от того, что и впрямь ничего не понимает, отчеканил Журанков.

— Неудивительно, — беззлобно ответил Алдошин. — Вот так, с бухты-барахты, поди достучись... Может, вы все-таки отложите на часок вашу овощебазу? Я вас потом подброшу, куда скажете...

— Там, куда мне надо, ваш «Кадиллак», Борис Ильич, завязнет, — ядовито сказал Журанков.

— Это не «Кадиллак», — улыбнулся Алдошин. — Всего-то «БМВО».

Это известие почему-то Журанкова добило.

— А я думал, «Мерседес»... — упавшим голосом сказал он.

Алдошин раскатисто захохотал.

А из Журанкова будто выкачали воздух. Он был с утра легкий и прыгучий, как мяч. Бодрый, полный энергии... Целеустремленный. А сейчас просел, точно снег над просыпающимся по весне ручьем... Даже сгорбился. Лопата стала невероятно тяжелой. Пряный, мокрый воздух — и тот стал невероятно тяжелым.

Сапоги жмут.

Вот ведь никогда не замечал — а они, оказывается, жмут.

— Давайте мы вот как поступим, — отсмеявшись, сказал Алдошин. Теперь он был очень серьезен. — Боюсь, я взял неверный тон... Но я просто очень обрадовался, действительно обрадовался, встретив вас так вот запросто... В добром, меж тем, здравии... Давайте-ка мы вот как поступим, любез-

ный Константин Михайлович. Давайте-ка вы пригласите меня в гости. Побубним обстоятельно. Уделите мне время, не сочтите за лишнюю доuku. А потом — как пожелаете.

— У меня действительно очень много дел, — беспомощно и уже устало ответил Журанков.

— Я понимаю, — негромко проговорил Алдошин, глядя ему в глаза. — Я понимаю, что вы в какой-то ужасной ситуации. Поверьте, я бы вас непременно нашел раньше или позже... Не получается все сразу, и вы даже представить не можете, сколько у нас проблем. Но о вас никаких известий, никаких даже слухов, понимаете, как в воду канул, и я, положив руку на сердце, уверен был, что вы за кордон сдрапали! Нет, мы бы вас и там нашли, но... Но Интернет-то у нас прочесывается! По ключевым словам, по фамилиям... Мне вчера когда принесли распечатку вашего постинга... насчет почки... Я думал, у меня у самого почки... да что там почки — матка и та на хрен выпадет. А я как раз в Питере по делам. Пока ваш адрес мне нашли... В общем, я понимаю — у вас что-то творится совершенно отчаянное. Считайте, что я приехал вас спасать. Пока не знаю, от чего, но вот вы мне и расскажете. А я вам расскажу, какими я вас буду спасать примочками. Лады?

Ноги теперь совсем не хотели держать Журанкова. Так бы и сел на грязный асфальт.

— Не уверен насчет... гостей, — медленно сказал Журанков. — У меня дома очень... очень скромно.

— Сколько вам денег нужно? — просто спросил Алдошин.

Журанков помедлил. Потом сказал. В глазах у Алдошина что-то удивленно мигнуло.

— Ну, нормально, — сказал Алдошин. — Я-то думал... Тоже мне — трагедия. Будем считать, это — подъемные.

★ Лопата, вдруг став чугунной, едва не продавila Журанкову плечевую кость. Он неловко, натужно сбросил ее, упер в асфальт. И обеими руками грузно оперся на ее почерневший от лет и трудов черенок. Алдошин несколько очень долгих секунд всматривался в лицо Журанкова — серьезно, пристально и как-то понимающе, что ли... По-товарищески. Журанков выдержал его взгляд. Только горбился все сильнее и все беззастенчивей обвисал на тупом торце своего отполированного ладонями старого дына.

Алдошин негромко спросил:

— Хотите снова заняться космосом, Константин Михайлович?

Со стороны города слышался нарастающий гром товарного поезда. Вот — нахлынул. Пушечно лопнул воздух. Стремительно и тяжело полилась мимо членистая грохочущая масса порожних вагонов, время от времени мелькали горбы щебня, с которых рвались по ветру тучи пыли... Локомотив так пер, так надрывался, будто от того, протащит ли он вовремя поперек страны этот состав, полный пустоты, чуть сдобренной грязным дробленным камнем, зависела по меньшей мере судьба битвы под Сталинградом. Разговаривать стало нельзя. И Журанков был этому рад, потому что не знал, что сказать. Это напоминало издевательство. Хочешь жить? Нет, мол. Не очень. Обойдусь. У меня лопата.

Товарняк гремел. Так могли бы, наверное, греметь друг о друга металлические протезы во рту долго и мучительно агонизирующего старика — если вплотную прижаться ухом.

Пролетел. Быстро удаляясь, затих барабанный рокот колес. Снова стал слышен щебет птиц, будничнй шум автобусов на площади перед вокзалом,

близкие и далекие голоса ни о чем не подозревающих людей.

Наверное, Афанасий уже взял себе боярышник.

А может, сегодня — настойку овса...

— Хочу, — напряженно и немного с вызовом ответил Журанков, глядя Алдошину прямо в глаза.

ГЛАВА 8

Мы едем, едем, едем

Машину вела жена.

Странное дело. Катерина села за руль много позже него, Бабцева, но уже водила лучше. Да почти с самого начала — лучше. Вывереннее, хладнокровнее, экономичнее — не делая ни единого лишнего движения. И не шарахалась пугливо, и не доказывала никому, что она на трассе главная... Просто катила себе, будто единственное одушевленное существо, а остальные — явления природы, и не более, мелкие непоседливые стихийные бедствия, с которыми глупо спорить, на которые нелепо обижаться, к которым вообще не надо относиться никак. Неумно вступать в отношения с неровностями дороги, ведь правда? А если бугры и выбоины вдруг получили возможность бегать взад-вперед, это ничего не меняет: надо их видеть, учитывать, и довольно с них.

Только курила она за рулем больше. Буквально одну от другой. Когда она брала машину Бабцева, он потом долго ее проветривал... Не то что он не терпел запаха табачного дыма, но есть же предельно допустимые концентрации.

Сегодня, правда, Бабцев мог по этой части дать жене сто очков вперед. Скула уже не болела, и следов насилия на лице, что называется, и днем с огнем

не нашлось бы — но продавленная чужим кулаком вмятина на душе никуда не делась; и мысль о том, что в компании с эсэсовцем придется прожить несколько дней, разумеется, не грела. Нервировала, прямо скажем. А тут еще так совпало, что тоже, в общем, малоприятную встречу с Вовкиным отцом пришлось организовывать прямо по дороге — тот не успевал раньше приехать в Москву никак; да хоть спасибо, что вообще выбрался, и не пришлось ни к нему в Питер тащиться, ни мириться с потерей части суммы на перевод... Катерина договорилась с ним, что просто проедет мимо остановки метро «Сокольники» — почему-то этот ее муж бывший называл именно «Сокольники», и Катерина не стала ни спорить с ним, ни уточнять, почему именно там — в конце концов, это почти по дороге. А откладывать ее встречу с бывшим на потом, на после отъезда Бабцева — уже и сам Бабцев не хотел. Береженого бог бережет. Лучше пусть под присмотром и мимоходом.

Черт его знает, почему «Сокольники»... Неприятное какое-то название, большевицкое. Наверное, из-за шедевра соцреализма — фильма «Добровольцы», под который, помнится, всегда норовила всплакнуть мать. «Как просто вам стало в Сокольники ездить»... А ведь она сама сколько лет проработала в метростроевской многотиражке — уж кто-кто, а она-то знала, что между сиропчиком этого кинища и кровавой грязью реальной каторги подземелий нет ровным счетом никаких точек соприкосновения. Наверное, именно тогда маленький Валя, с непониманием и даже страхом глядя на проступающие в глазах матери слезы (он все пугался, что у мамы что-то болит), впервые ощутил омерзительную мощь красивой лжи и пагубность ее для душ людских. Даже для самых лучших.

В общем, стоило Катерине припарковать машину и выйти, сразу потерявшись в густом и бестолковом роении местных народных масс, Бабцев сам не выдержал — закурил. Уже четвертую за сегодня — если так пойдет на протяжении всей командировки, вред здоровью будет просто ударным. Оставалось надеяться лишь на то, что на месте все более или менее устаканится — хорошо, статья с намеком, что у «Полудня» рыльце в пушку, успела выйти вовремя. И получилась она, теперь уж можно сказать вполне отстраненно, объективно, как не о своей — хорошая. Не зря Сема позвонил и поблагодарил... Отдельно поблагодарил за то, что так тактично удалось организовать материал — никаких прямых намеков. Ну, это он зря, это Бабцев все прекрасно понимал и сам — не свинья же он. Сема, правда, похоже, не вполне верил, что он не свинья: прямо спросил, не говорил ли кому-то Бабцев, откуда получил информацию. Внаглую врать бывшему другу и нынешнему все же, как ни крути, доброму приятелю Бабцев не мог, не в его правилах было подобное — и потому ответил честно и прямо: пришлось сказать главному. Тот перед громкой публикацией попросил хотя бы по секрету открыть, есть ли огонь под этим дымом. Но главный — человек высочайшей пробы, дальше него не уйдет, если только этот ваш дурацкий космос не вздумает на газету в суд подать — да и то обязательно у тебя, Сема, спросим, разрешишь ли на твою персону сослаться. Все будет нормально, не переживай. На том и закончили. Немножко зудело, что во время разговора с главным в кабинет то и дело кто только не заглядывал со всякими неотложными пустяками — редакция же, не мавзолей. Ну да ладно, не суть. И Семен этих рабочих моментов ни-

когда не узнает, и понять, о чем Бабцев и шеф шептались, по обрывкам все равно никто бы не сдюжил.

Ушедшая на встречу Катерина не появилась после двух сигарет, и пришлось прикуривать от второй сразу третью. Доведут бабы до онкологии. Надо было пойти с женой вместе — но когда Бабцев заикнулся об этом, тут уж Катерина встала на дыбы. Да Бабцев и сам не горел желанием общаться с ее обнищавшим лауреатом. В общем, он жене вполне доверял: женщина с таким рациональным характером глупостей не наделает. И все же чем черт не шутит...

Иногда человеку именно на переломе от зрелости к возрасту, так сказать, пожилому вдруг может приспичить хоть на недельку, хоть на день вернуть молодость. В преддверии климакса попрыгать козлом по прежним пастбищам. Или козочкой. Добрать, что по юной глупости осталось не добрано. А помнишь? А помнишь? А вот здесь ты впервые... Нет, я тогда только делала вид, что стеснялась... Бабцев несколько раз наблюдал подобные выверты психологии — последствия всякий раз норовили вырваться из-под контроля и приблизиться к летальным. Не хотелось бы подобной мороки.

Жена вернулась на последнем издыхании третьей сигареты.

Она была недовольна. Безо всякой грации села за руль, грубо, будто машина не своя, захлопнула дверцу, размашисто кинула вспухшую сумочку на заднее сиденье, потом выщелкнула сигарету из пачки. Закурила.

— Все в порядке? — спросил Бабцев.

— Угу, — ответила она, жадно затягиваясь.

Он осторожно помедлил, но она больше ничего не сказала.

— Вот видишь, — на пробу проговорил он, — а

ты не верила, что он справится. В считанные дни собрал.

— Честно говоря, не ожидала, — ответила она, глядя вперед.

— Не так уж он и бедствовал, похоже.

— Похоже, — согласилась она. Затянулась. — Ты знаешь, он выглядит лучше, чем я думала. По-моему, даже моложе, чем я. Оживленный такой, подтянутый, глаза горят...

Она явно его ревновала к тому, что он выглядит моложе, чем она думала.

Пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут — как же это без меня?

Смешно.

Катерина тронула кнопку на дверце, и боковое стекло до половины уползло вниз.

— Чего стоим? — голосом сварливой жены из телерекламы осведомился Бабцев. — Кого ждем?

— Сейчас, — сказала Катерина, стряхнув пепел в приоткрытое окошко. — Перекурю чуток. Не опоздаем, времени с запасом.

— Кури, кури, — великодушно разрешил Бабцев.

— Откуда у него столько денег? — вдруг сказала она с искренним недоумением.

— Тебя это обижает? — спросил он прямо.

— Не то что обижает, но... Это как-то противоестественно.

Бабцев усмехнулся.

— И даже несправедливо, — добавила она, словно загнав в крышку гроба последний гвоздь.

— Ну, это уж ты слишком, — качнул головой Бабцев.

— Да я понимаю, что слишком, — досадливо ответила она и снова стряхнула пепел в окно. — Но

чувство именно такое. Знаешь, смотрю на него и думаю: вот ведь стоит классический Иван-дурак из этих лентяйских русских сказок. То, что у него докторская степень, умные глаза и впалые щеки, ничего не меняет. Люди землю мордами роют, в работе — как в драке... А этому чистоплюю опять какой-то Конек-Горбунок достался. Свинство. Хочется на все положить с прибором, на все усилия, хлопоты, на весь наш бег в пустоте... на всю эту нескончаемую проклятую камнедробилку, в которую превратилась жизнь... И стать как он.

— Роздал на бедных имущество и нож под раки-той зарыл, — сказал Бабцев с сарказмом.

— Нет-нет, — возразила она, отрицательно помахав сигаретой у себя перед лицом. — Мы же не бандиты, не воры. Мы живем честно. Мы соблюдаем все законы... — Она запнулась, быть может вспомнив, на что предназначались распершие сумочку деньги, но не дала этой неуместной мысли себя сбить. — Так порядочно, как мы, если уж говорить откровенно, немногие теперь живут. Но на носу все время капля пота, и мозги в мыле. У меня не раскаяние, а... Вот такими глазами какая-нибудь дура-язычница, наверное, смотрела на воскресшего Лазаря. Лазарь не должен воскресать. Помнишь старый анекдот? Умерла — так умерла!

— Доктор сказал в морг — значит, в морг, — в тон ее последней фразе добавил Бабцев.

— Вот-вот. А иначе...

Она осеклась.

— Что — иначе? — подождав и поняв, что не дождется продолжения, спросил Бабцев.

Катерина кинула окурков в открытое окно. Потом руки ее с точеной кошачьей мягкостью разлетелись по местам: левая на баранку, правая, на пролете не-

брежно приголубив ручник — на рычаг скоростей. Одна блестящая, точно хрустальная, тифелька легко отжала сцепление, другая тронула педаль газа; мотор преданно подал голос.

— Иначе всякая дурь лезет в голову, — отрывисто сказала Катерина, отруливая от тротуара и несколько раз коротко взглядывая в зеркальце заднего вида.

Москва горбилась, горбилась спальными высотками навстречу, да и сошла на нет. Потянулось переполненное маршрутками, автобусами и иномарками, петляющее среди помоек и умирающих пригородных деревенок шоссе.

Разруха.

Полная разруха. Оставьте нам Кур-рилы, верните нам Кр-рым... Наша необъятная Р-родина... Вот вам, уроды, — это еще даже не Подмосковье, это ближайшая окрестность столицы. Это трасса к главным воздушным воротам страны. До Кремля полста кмэ. Шоссе в два ряда, покрытие — одни заплаты и трещины... Домики деревень черные, перекошенные, половина — без стекол в окнах или с окнами, заколоченными досками да фанерой... Завалившиеся изгороди... И свалки, свалки, свалки. Это же позор, вы понимаете? Это клеймо, это Каинова печать на ваших патриотических рылах. Если у человека есть хоть какая-то совесть, он, когда у него такое в горнице, на улице и рта открыть не смеет. Говно сперва подотри, а уж потом брешу про особый путь России да про незаменимый мост из Европы в Азию и обратно, потом разводи туры про уникальность православной цивилизации!

Бабцев вспомнил, как пару лет назад их везли из аэропорта Пудун в Шанхай. Ведь даже не Лос-Анджелес какой-нибудь, не Роттердам, не Буэнос-Айрес... Шанхай! Слово-то нарицательное — спокон

★

веку всякую трущобу у нас шанхаем кличут — и именно с маленькой буквы... Не Америка, не Европа — КИТАЙ! Каких-то полвека назад они нам в рот глядели и называли старшими братьями... И тоже ведь — гражданская война, тоже коммунизм, большой скачок, культурная революция... Развалили все, что только можно. И вот вам. Шоссе — полос то ли шесть, то ли восемь, у человека, выросшего в этой стране, мозги со счету сбиваются, ежели их более трех... Прямое, как стрела, широкое, как площадь, гладкое, как каток. Машина идет — не дрогнет, будто висит в воздухе, и только необозримые, любовно возделанные до последней кочечки равнины суматошно катятся назад... Но мало этого — вот, вот эстакада слева в полусотне метров: уже проходит обкатку поезд между аэропортом и городом, и не электричка ваша долбаная, и не монорельс даже какой-нибудь — а на магнитной подушке, скорость четыреста с хвостиком километров в час. Состав идет, не касаясь вообще никаких поверхностей — парит в магнитном поле. То самое чудо техники, про которое скудоумные советские фантасты когда-то сюсюкали взахлеб: вот какие невозможные чудеса скоро будут у нас на посылках, потому что такие чудеса возможны только при коммунизме. Вот они и создались при коммунизме. Во всяком случае, под флагом красного цвета. А у нас только свалки. И под кумачом свалки, и под триколором свалки. А почему? Потому что руками люди работают, руками!! А не мечтами и не языком... И нет у них ни нефти своей, нефть привозная, и газ чужой... Просто — работают! Я бы на вашем месте, патриоты, сгорел со стыда!

Я и на своем-то чуть не сгорел.

Они докатили вовремя. Бабцев вынул из багажника дорожную сумку, небрежно и потому немного

косо накинул ее на плечо. Настроение было — хуже некуда. Катерина тоже вышла из машины. Чуть механически — чувствовалось, что душой она уже на работе, — чмокнула мужа в щеку, сказала: «Ай лав ю». — «Ай лав ю ту», — ответил Бабцев, повернулся и, уже не оглядываясь, пошел внутрь.

Да, остальные были уже здесь. Из-за чертова Каткиного первого он, Бабцев, приехал последним. Вроде и не виноват ни в чем, и ничуть они еще не опаздывают — но все равно неприятно: последний есть последний. Все смотрят косо.

А этот верзила со щеками кровь с молоком («о, это ужасное русское кушанье — кровь с молоком!»), едва завидев Бабцева, неловко пошел ему навстречу, и остальные, приотстав, двинулись следом, наблюдая с плохо маскируемым под дружелюбное сочувствие любопытством. Особенно дева. Разумеется, что ж не посмотреть сызнова бесплатный цирк — женщины любят смотреть, когда мужчины дерутся. Только вот я не доставляю вам этого удовольствия. Бабцев непроизвольно напрягся, когда Корховой стал приближаться, и кулаки его сжались. Сердце тупо торкалось в кадык, а там, куда пришелся недавний удар, запульсировала боль. Бабцев остановился. Этот тоже остановился. Мерзкий бычок.

— Валентин Витальевич, я... — сказал он, запинаясь. — Я себя ужасно чувствую после той вечеринки. Я сильно перебрал... Совсем не соображал ничего, и вообще... Ну, пожалуйста, простите меня. Я... ну, это как помутнение было. Что на меня нашло — сам не понимаю. Невероятно стыдно. Я очень сожалею и прошу у вас прощения.

И смущенно улыбнулся. И, чуть помедлив, довольно скованно, но решительно протянул в сторону Бабцева пятерню.

А остальные как только того и ждали. Будь их больше — они, верно, хоровод бы вокруг мирных переговоров завели; но даже и вдвоем ухитрились тесно обступить Бабцева и Корхового по сторонам, крепко сцепили руки, взяв обоих в живое кольцо, и дурашливыми голосами запели не в лад:

— Мы едем, едем, едем в далекие края! Хорошие соседи, веселые друзья!

Мирят. Надо же, вы только подумайте — мирят.

Слова вот разве что перепутали: девица спела «Хорошие соседи, веселые друзья», а Фомичев — «Веселые соседи, хорошие друзья». Но лишь переглянулись озадаченно и сами же захохотали.

Щас я прям зарыдаю от умиления.

— Могли бы не затрудняться, Степан... Э... Не знаю, простите, как вас по батюшке.

Лицо Корхового чуть вытянулось.

— Я, конечно, могу и руку вам пожать, и обняться с вами даже, но это ведь ровным счетом ничего не изменит, — продолжал Бабцев. — Вы по-прежнему будете, вероятно, ненавидеть горбоносых инородцев и лелеять какую-нибудь очередную бронетанковую русскую идею. Вы по-прежнему останетесь в плену своих убеждений и заблуждений. Так чего ради нам разыгрывать эту комедию?

Теперь лица вытянулись уже и у хоровода. А у Корхового вздулись и опали желваки. Лицо его утратило всякий намек на смущение.

— Я, собственно, — сказал он, — не за свои убеждения прошу прощения у вас, Валентин... э-э... тем более что вы о них ни черта не знаете... а исключительно за то, что вел себя по отношению к вам как пьяный хам.

— Рад, что вы хотя бы это поняли, — ответил

Бабцев и светски улыбнулся. — Но некоторые убеждения стоят того, чтобы за них просить прощения.

Корховой кинул короткий беспомощный взгляд на девицу. Потом, видно, сообразил, что все еще стоит с протянутой в сторону Бабцева рукой — будто милостыню просит. Он резко спрятал обе руки за спину.

— Глядя на вас, — отчеканил он, — в этом очень легко убедиться.

— Вот и поговорили, — подытожил Бабцев. «Он бы меня сейчас не то что опять ударил, — подумал он, — он бы меня убил. Вот такие простые добрые парни от души давили венгров и чехов гусеницами своих танков. А потом с легким сердцем говорили: ну, не дуйтесь, не дуйтесь, дело житейское, мы ж от чистого сердца... И не понимали, отчего их за эти подвиги не благодарят те, кого они случайно не раздавили».

— Я только в толк взять не могу, — даже с каким-то искренним недоумением, совсем не ерничая, сказал бычок. — Вы же за демократию. Демократы же... ну... в перестройку-то, я помню, чуть не на каждом углу повторяли знаменитую фразу Дидро: я не разделяю ваших убеждений, но я жизнь положу за то, чтобы вы могли их свободно высказывать...

— Это Вольтер, — Бабцев ослепительно улыбнулся. Корхового словно огрели кнутом. Лицо его судорожно дернулось, он рывком повернулся и грубо разорвал живое оцепление из якобы дружелюбных рук.

Фрагменты лопнувшего хоровода несколько мгновений догнивали порознь в неловком молчании. Потом дева глянула в лицо Бабцеву так презрительно, будто это не он победил.

— Валентин, а вы Вольтера сами слышали? — звонко спросила она.

И второй... как его... Фомичев невесело захохотал.

И они ушли тоже.

Ну и поездка будет, с внутренним содроганием думал Бабцев. Неприятные люди какие подобрались, один к одному, будто нарочно. Хорошо хоть статья успела выйти. Там, куда мы летим, ее уже наверняка отследили. Вы еще с этим столкнетесь, господа, и вас немало удивит: вам только официальная информация, а со мной — будто приехал проверяющий от Политбюро.

Он нисколько не страдал, оставшись один. Но уж при посадке в самолет деться было некуда — волей-неволей приходилось держаться рядом, не хватало еще потеряться, если там будут встречать. Бабцева будто не видели. И замечательно. Он все равно не хотел бы участвовать в их разговоре; опять, судя по всему, шла речь о былом величии или о чем-то подобном. Непонятно, кто этот разговор завел, — но без разницы; летим на секретный объект — и разговор соответствующий. Фомичев вещал:

— Баксы баксами, а для разведслужб идеологии не менее важны, чем баксы. Самые лучшие люди всегда идеалисты, а идеалисты склонны работать не за баксы, а за идею. Вспомните, сколько замечательного народа горбатилось за так, за красивые глаза на Советский Союз, пока жива была коммунистическая идея. Разумеется, жива не для всех, идеи не водка, всем сразу угодить не могут — но для многих. И эти многие по своим человеческим качествам дали бы нам, пардон, сто очков вперед. Я уж не говорю про их специальные дарования. Хоть ядерный шпионаж вспомните — там же были талант на таланте. Фукс, кембриджцы... СССР воспринимался

как позитивный социальный эксперимент и, не исключено, открыватель принципиально иного пути в будущее. И как раз в ту пору у СССР оказалась лучшая разведка в мире. В отличие, скажем, от нацистской. У Канариса и Шелленберга тоже ведь работники сидели грамотные, но гитлеризм практически никем в мире не воспринимался как маяк. И разведка их, при всем немецком хитроумии и тевтонском упорстве, раз за разом попадала впросак. А вот когда вера в коммунизм скисла и все стали благоговейно поглядывать на демократию — у КГБ поперли провал за провалом. Будущего люди хотят! Не столько настоящего, сколько будущего! По возможности — светлого... Несмотря на все повышенные оклады, на все привилегии — народ потек на Запад. От Гордиевского до Калугина...

— Пеньковский еще раньше, — вставил Корховой.

Фомичев отмахнулся.

— Тут просто вопиющий прокол Конторы. Этого уroda на семь верст нельзя было подпускать к секретам. Он же такой был благородный борец с кровавым коммунистическим режимом, что даже маленьких атомных бомб у америкосов просил — разложить их в Москве по укромным местам и взорвать в урочный час. На нем аршинными буквами написано было: я — маньяк. Но блат главней наркома... А вот в семидесятых упадок веры уже стал системным. Нет, ребята, когда люди чувствуют очарование предложенного твоей страной варианта будущего — это для твоей разведки такой питательный бульон, с которым никакие доллары не сравнятся!

— Но тогда, — проговорил Корховой раздумчиво и веско, будто Америку открывал, — тогда сейчас у китайцев должна быть очень успешная разведка.

— Вот! — с невыносимой назидательностью подхватил Фомичев и даже палец указательный вздыбил вверх. — Вот! А я что говорю!

— Как вы не понимаете, — не выдержал Бабцев, — что реальный вариант будущего — один. Один! И все чаяния могут быть связаны только с ним. И его разведка всегда будет переигрывать любые иные — в частности, именно поэтому. Хотя, между прочим, и столь презираемых вами долларов у него, у этого единственного варианта, почему-то более всего. И его экономика будет переигрывать, и его политика будет переигрывать, и его наука будет переигрывать, и его разведка — тоже будет переигрывать обязательно. Потому что за ним — реальное будущее, а за всеми вашими «измами» — пустота, они — всего лишь более или менее короткоживущие иллюзии.

Фомичев счел за лучшее поддержать его тон. Будто ничего и впрямь не произошло. Будто и впрямь они добрые коллеги, занятые одним и тем же делом, и вот — увлеченно спорят, как оно и водится среди умных дружелюбных сподвижников. Спорим, мол, а тронь любого из нас посторонний — друг за друга вражине пасть порвем.

— Ох, Валентин, — сказал он, — иллюзия правильности куда как часто бывает очаровательнее самой правильности. Действует-то на людей, чувства-то у них вызывает не правильность, а очарование... — Помолчал. — Конечно, когда правильность и иллюзия правильности совпадают — это вообще счастье. Тут вообще можно горы свернуть. Но это бывает так редко...

— Да отчего же редко! — против воли взятый за живое, запальчиво воскликнул Бабцев. — Отчего же редко! Вот все верно вы говорите, Леонид. Так

сделайте же последний шаг! И все для вас станет кристально понятно, никаких неясностей и двусмысленностей... История доказала, что в будущее есть лишь один путь. Лишь один. И именно поэтому он побеждает все остальные. Не злыми кознями, не насилием, не подкупом и шантажом... Естественным образом побеждает. Именно поэтому все, кто пытался измыслить что-то иное, очень быстро оставались у разбитого корыта. Никто же им не мешал опробовать свой путь. Но эти пути раз за разом обваливались сами, сами оказывались тупиками! И китайская иллюзия обвалится вскоре, поверьте мне...

— Ну да, — проворчал Фомичев. — Четыре тыщи лет обваливается — все никак не обвалится...

А девица, упорно сидевшая к Бабцеву спиной, наконец повернулась. Глаза у нее гневно горели, как у рассерженной кошки; только что не шипела. Бабцев произвольно отшатнулся — показалось, сейчас полоснет когтями.

— Разумеется, никто не мешал! — звонко отчеканила она. И с беспредельной иронией процитировала уже подзабывшееся, возникшее, кажется, еще когда Югославию лупасили, а в год вторжения в Ирак буквально навязшее на зубах: — Вам еще не нравится демократия? Тогда мы летим к вам!

— Ох, все, ребята, — проворчал Корховой. Даже он зачем-то решил притворяться, что все они опять вместе. — Брэк. Вон уже надпись зажгли — пристегнуть ремни... Летим.

Раскосая красotka порывисто обернулась к нему и с какой-то вызывающей, демонстративной преданностью одним стремительным всплеском рук, точно взмахнувший парой щупалец спрут, обняла

его предплечье — мощное, как нога Бабцева. Даже прижалась. И громко, озорно продекламовала:

— Летит, летит ракета!

— Вокруг земного света! — развеселым хором подхватили Фомичев и Корховой без запинки. — А в ней сидит Гагарин! Простой советский парень!

Бабцев молча отвернулся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЕТИ НА КЛАДБИЩЕ



ДРУГИЕ: ВРАЖЬЯ ДОСАДА — НОВАЯ ЗАСАДА

Ногда те, с чьей подачи был развален «Сапфир», услышали в сети отчаянный вопль Журанкова с предложением купить у него хоть малый ломтик его честно работавшей, ни в чем не повинной печенки и, как завзятые стервятники, устремились дожимать и добивать, оказалось, что их подопечный, апатичным сиднем сидевший все эти годы в своей давно им знакомой норке, вдруг исчез. Оказалось, они, терпеливо и искусно ждавшие, опоздали. Пусть на день или на два, но опоздали и, стало быть, проиграли некий ход в какой-то новой, еще не вполне понятной игре.

Конечно, у них была масса дел и помимо Журанкова. «Сапфир» и все, что с ним связано, представляли собою лишь один из многочисленных пунктов длинного, словно ленточный червь, перечня их операций. Даже не самый важный — то есть это им казалось, что он не самый важный. Привычка к тому, что дела движутся с переменным успехом, — в крови разведчиков. К тому же, как гласит древняя китайская мудрость: победы и поражения — обычная работа полководца, и даже полководцы, не знако-

мые с китайской грамотой, мудрость эту выстрадали собственной жизнью; кто не выстрадал, кто не понял столь простой истины, тот до полководца не поднимается — сгорает от нервотрепки и вылетает в тираж еще на стадии малых чинов.

За последние полтора десятка лет они привыкли к победам. В этой некогда одной из самых сложных для иностранных разведок стране стало легко, даже слишком легко работать с тех пор, как ее идейная элита, ее властители дум, а за ними и ее руководство почти поголовно пришли — не без помощи, конечно, бескорыстных друзей и доброжелателей извне — к лучезарному выводу: чтобы влиться в семью цивилизованных наций и стать в ней своими, надо всего-то лишь пестовать предателей и вымаривать верных. Потому что сохранять верность тому, что отжило и должно быть поскорей уничтожено, — не верность, но тупость, косность, рабья кровь; а предать мрачное прошлое — значит на всех парусах устремиться к светлому будущему. Очередному, но теперь-то уж воистину и наверняка светлому, светлей некуда. Сколько их было — Шеварднадзе, Бакаевых, Козыревых, Калугиных... а сколько было столь же прогрессивных, но рангами и должностями пожиже — тех, что, точно воробьи, когда добрая бабушка начала крошить наземь черствый, залежавшийся хлеб, толкаясь и между делом гомоня о свободе и о том, что рынок все расставит по местам, ринулись в свалку с криками: «У меня! Нет, у меня! Да нет же, у меня, у меня скорей купите все, что мне доверено!»

Этим двоим, что беседовали сейчас (да и всем, кто мыслил, как они), невдомек было, что та пора ураганной в вышних распродажи, безудержной и безнаказанной, оставила не меньший ожог на душе

народа, не меньший вывих сердца, нежели, скажем, раскулачивание и лагеря; и она вдобавок куда ближе по времени, куда памятней.

Им казалось, что даже если кто-то медлит поднять в душе своей белый флаг (да, признаю: все, во что я верил, — хлам, все, что предлагаете вы, — светоч мироздания), даже если кто-то этой сияющей истины еще не понял, не увидел ее начертанной размашистыми огненными знаками посреди своих пожухших и скрюченных от бескормицы небес, то надо лишь подольше подержать его в черном теле — и он поймет и увидит. Надо чуточку подождать, а потом чуточку подтолкнуть. Потому как все, что происходит в их интересах, — естественно, а все, что происходит против их интересов, — противоестественно. Ведь бог на их стороне. Эти двое, как и вся их страна, были очень набожны и, написав на своих деньгах «ин год уи траст», были уверены, что тем самым «год траст ин» их деньги. Потому как избрал эти бумажки мериллом и транспортным средством благодати.

По всем этим сложным и разнородным причинам собеседники не испытывали сейчас особого беспокойства, не были ни встревожены, ни тем более напуганы — нет. Просто случился некий сбой, и они обстоятельно обсуждали и анализировали этот сбой и намечали способы его преодоления, демократично называя друг друга по именам. В неофициальной обстановке им не нужны были формальные знаки субординации — оба и без них прекрасно знали, кто главней, кто тут кого вполне способен из-за этого сбоя оставить без работы, и потому могли позволить себе дружелюбное Юджин и Барни. Они были лишь слегка раздосадованы. Вот ведь, мол, ерунда какая приключилась. Мелочь, а неприятно.

Поскольку, по большому счету, мелочей в их работе не бывает, это-то они понимали. Даже малая странность теоретически чревата серьезными неприятностями. Просто в России все странности давным-давно обусловлены не противодействием противника, а русским бардаком.

И от этого на сердце, что ни говори, спокойней.

— Осенью, честно вам признаюсь, мы не выдержали и покопались в его компьютере. Толком выудить не удалось ничего — обрывки. Если не сказать: игрушки. Высокая теория... Контактных за эти годы он не имел, выходов ни на кого никаких... И им никто не интересовался — а это, пожалуй, еще показательнее. Серьезных документов мы у него так и не нашли, ни на электронных носителях, ни на бумажных. Были даже соображения, что как ученый он кончился и существенного интереса теперь не представляет. Так, присматривали для порядка.

— Присматривали — и все же потеряли?

— Он вернется. Он непременно вернется. Все его вещи на местах, вплоть до единственного оставшегося у него приличного костюма на вешалке в шкафу. Возле туалета — лопата со следами свежей земли. Значит, работал на своем наделе, надо полагать. Весна... Человек, который занят посадками, обязательно позаботится об урожае. Кроме того, через две недели — годовщина смерти его матери, а он в этот день всегда появляется на кладбище в Павловске.

— Понимаю. Опять ждать... Честно говоря, мне надоело ждать. Мы ничего так и не знаем наверняка, но дежури́м возле этого, быть может, уже окончательно выжившего из ума маньяка который год, и результаты нулевые.

— Не так уж много нам этот чуда́к стоит.

— Не много, но долго. Долго, Барни! Я хочу по-

нять, стоило им заниматься или нет, хотя бы прежде чем выйду на пенсию.

Непринужденный смех. Пауза.

— А если серьезно, то меня не оставляет мысль, что эта его чушь в сети про почку была каким-то кодовым сигналом...

— Не думаю. Слишком уж это нелепый сигнал. Слишком вызывающий, заметный...

— Именно нелепость наводит на подозрения. Четкий зов: мне есть что продать. Важное. Нужное. Из собственных, видите ли, потрохов. А если наименования органов — это заранее с кем-то обговоренные обозначения? Скажем, почка — это наконец-то доведенная до ума математическая модель полета на гиперзвуке? А печенка, скажем, — режимы ионизации внешнего облака? А если бы он написал... э-э...

— Яйца?

— Вам бы только шутить. А иначе как объяснить эту демонстрацию? Ну с чего вдруг человек, тихо живущий сам по себе, ни в чем не нуждающийся, с минимальными потребностями, так захотел денег, что решил незамедлительно расстаться с куском собственного тела? Какие у него могут быть семейные обстоятельства? Если семьи нет и в помине! И совершенно неуместная в таком тексте самореклама: доктор наук, главный теоретик...

— Ну, он вообще несколько не в себе. Я за годы пристального наблюдения в том неоднократно убеждался, Юджин, поверьте. Деловой логики от него ждать не приходится. Комплексы, вероятно. Человеку, который всю молодость шел от успеха к успеху и вдруг на пике достижений оказался за бортом, принять это трудно. Вполне можно спятить.

— Это все бла-бла-бла у психоаналитика. Кодовые обозначения, Барни! И коль скоро мы их не по-

нимаем, ясней ясного, что предназначены они не нам. А кому?

Пауза.

— У вас, Юджин, есть какая-то информация на сей счет, которой я не располагаю?

— Как вам сказать... Не так давно получены очень, правда, скудные сведения, что немалый интерес к этой проблематике начали проявлять китайцы...

— Джизус! Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это сообразить! К чему они не проявляют интерес? Вы не найдете такой темы!

— Да, но, исходя из этих сведений, с весьма высокой степенью вероятности можно предположить, что как раз сейчас некий китайский агент с немалым интересом наблюдает запуск с Байконура этого пресловутого первого частного геостационарного спутника. Причем местное начальство об этом отнюдь не догадывается. И то, что вместо какого-нибудь официального представителя возлюбленной здешними властями ШОС туда направлен именно агент, может свидетельствовать, помимо прочего, как раз о том, что корпорация «Полдень» намерена заниматься отнюдь не только коммерческими запусками тривиальных спутников.

— Даже так?

— Принципиально новый носитель — именно то, что нужно частной компании как воздух. Хотя бы для рекламы, для притока инвестиций. Не говоря уж о реальных прорывах на рынке. В этой ситуации Журанков, например, им бы очень пригодился... Пока это только мое предположение, честно вам скажу. Но впредь я намерен исходить именно из него — по крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся в обратном. В общем, так. Мне нужен Журанков. Мне он нужен срочно. Методика спокойного

выжидания не принесла результатов и с сегодняшнего дня отменяется. Хватит.

Пауза.

— Жду распоряжений.

Пауза.

— Семейные обстоятельства, Барни... Не стоило ему упоминать о семье, так давно не имея с нею ни малейших существенных контактов. Будем считать, он сам накликал неприятностей на свою задницу... Мы создадим ему семейные обстоятельства.

— Что вы имеете в виду?

— Его сына.

— При чем тут его сын?

— Представьте, парень связался с одной из экстремистских шаяк. Слава России, очистим улицы от инородцев, русские — древнейшая раса мира, и все такое. По забавному стечению обстоятельств как раз эту шайку мы слегка... не напрямую, конечно... прикормили.

— Так это же удача!

— Да, как раз и пригодится. Я вот думаю... Пусть бы парнишка очистил от кого-нибудь какую-нибудь улицу. Жертву мы определим... У меня на примете, скажем, донельзя нелепый человек, недавно вернувшийся в Россию из эмиграции. Говорит он совершенно неуместные вещи. Конечно, затевать операцию специально против него было бы неадекватно, но... Если все равно надо кого-то, вполне полезно будет его. Да еще если это окажется очередное преступление русских наци. Очень эффектно и наглядно. Даже преданный России инородец для русских все равно инородец, резать его... А потом мы расскажем о проделке отпрыска Журанкову. Вернее, вы расскажете. Как вы думаете, Барни, после стольких лет разрыва это окажет на него воздействие?

— Думаю, да. Я его хорошо изучил. Он может вас хоть ненавидеть, но закроет собой от пули, если убедить его в том, что по совести он это обязан.

— Какой удобный человек.

— Временами. К сожалению, он до сих пор убежден, что чем-то обязан этой стране. Послушайте, Юджин, вам виднее, конечно, я занимался только самим Журанковым и его нынешней работой, но... Может, все проще? Может, его вопль о семейных обстоятельствах вызван именно этими обстоятельствами, и только?

— Мы проверяли. Данные отсутствуют. Родители его умерли, других родственников нет. Никаких реальных неприятностей с его бывшей женой и ребенком не происходило.

— Ну, нет так нет... Тогда у меня вопрос: сколько вам понадобится времени? Через две недели, как я уже сказал, мы имеем все основания ждать появления Журанкова на кладбище в Павловске.

— На кладбище... Поэтично. Готический роман ужасов.

— Вам не нравится?

— Мне понравится что угодно, обещаю вам, если это даст нужный результат. Мне нужен Журанков.

— Я уже понял.

— Через две недели вам будет, что сказать ему среди шелестящих над могилами берез. Ну, а если он не появится вовсе, и до той поры мы так и не узнаем, где он...

— То?

— То, дружище, я буду иметь все основания полагать, что вы его всерьез упустили и, следовательно, многолетняя операция провалена по вашей вине.

— Я был уверен, старина, что вы ответите именно так.

Послед империи

«Послед — все последнее, из ряда, порядка, что осталось после расхода, чем что-либо кончается; остаток, остатки, отстой, подонки, гуща, выскребки...»

Эти строки из словаря Даля Бабцев вспоминал весь день.

Сперва невольно, просто потому, что само собой всплыло в памяти, а потом уж нарочно и почти сладострастно — все более сладострастно с каждым часом и с каждым новым экспонатом, который гордые своими никому уже не нужными былыми достижениями хозяева подносили под нос ему и его, с позволения сказать, коллегам. К вечеру он твердил определение последа уже почти как заклинание, как оберег — с наслаждением и, что называется, с упованием.

Именно так. Не реликт, не рудимент, не атавизм... Не академичным термином, намекающим на некую высокую, пусть и утонувшую в веках эстетику, хотелось все это называть — нет. Грязный, вонючий послед.

Отстой, подонки, гуща, выскребки...

Что да, то да.

Все здесь было пропитано якобы героическим, а на деле — тошнотворным уродливым прошлым. Утешало лишь то, что оно ушло. И ушло безвозвратно.

Даже странно было видеть ржавчину не везде.

Одно название Ленинск чего стоит в начале двадцать первого века! Это же космодром — Байконур, а городишко при нем — Ленинск! Да, разумеется, официально он с девяносто пятого, что ли, — тоже Байконур, но у энтузиастов-то нет-нет да и проскочит по старинке, по привычке, Фрейд не дремлет, что им

указ казахского президента о переименовании! И в Ленинске, посреди площади, разумеется, опять же Ленина, так по сей день и торчит памятник одноименному кровососу! Чтоб ни на миг никто не мог расслабиться и забыть. Как в свое время в Питере — стоило только войти в подземку, и со всех сторон на тебя щерилось щербатое, точно ухмылка зэка, половину зубов потерявшего то ли в цинге, то ли в мордобое — но половину все же сохранившего, и вот они торчат через один: «Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени Ленина»!

Может, переговоры о допуске журналистов шли медленнее или начались позже, чем надлежало, а может, что-то не связалось между бесчисленными бюрократическими шестеренками, но попали журналисты на пресловутый Байконур лишь за несколько часов до старта, когда чудовищную железную едду уже оттранспортировали из громадного длинного МИКа, монтажно-испытательного корпуса, уже поставили — «вертикализовали», уже почти лишили знаменитого «красняка»... Обо всех этих действиях и связанных с ними овеянных временем легендах и ритуалах им пришлось всего лишь слушать, пока автобус катался взад-вперед по городу.

Просвещали их двое: некий сильно пожилой представитель «Полудня», неприятный франтоватый энтузиаст, и вторым голосом — местный офицерик, будто соскочивший с плаката типа «Дошли до Берлина»: лицо безмозгло восторженное, розовые крепкие щеки, пшеничный чуб лихо выбивается из-под фуражки... в больших городах таких лиц уже не встретишь.

Они опоздали — то ли случайно, а то ли нет. Не хотели местные погоны возиться с журналистами слишком долго, ненавидят они журналистов, это по-

нятно, кому же приятно слушать или тем более читать о себе потом правду: врешь ему, мол, врешь, а эти щелкоперы каким-то образом все равно докапываются до истины. Поэтому им не довелось увидеть, как везут ракету из МИКа на стол, а начальник боевого расчета, глава «пускатей», «стреляющий», важно шествует прямо по шпалам перед платформой. Не довелось увидеть, как торчащая ракета мало-помалу лишается пестрого одеяния из бесчисленных красных ленточек и тряпочек, навязанных на нее еще частью на заводах, а частью в монтажно-испытательном: русская надежность! Чтоб не пропустить при проверках ни одного узла, все они помечаются вот этак попросту, для неграмотных: а проверил — ленточку долой!

И это двадцать первый век...

И они еще имеют наглость заявлять, что американцы ошалели в свое время от такого простого и надежного способа контроля и начали внедрять у себя...

Зато не утерпели пожаловаться на местное население. Что за ров, поинтересовался Фомичев — без особого интереса, надо признать, рассеянно так... В ответ вполне можно было смолчать или ответить нейтрально, не выставляя напоказ своего презрения к народу, на земле которого вояки чудили; но нет. Переглянувшись и помедлив маленько, их экскурсоводы в два голоса наперебой принялись рассказывать, что окрестные казахи еще лет пять-семь назад приноровились коммунизировать важнейшие, понимаете ли, бесценные суперсекретные кабели и продавать как цветной лом. Будто тут может быть что-то секретное! Ото всех скрываемый уровень разрухи, разве что. Восстанавливать, чуть не пустил слезу чубатый капитан, в десять раз дороже, чем то, что воры могут за украденную медяшку выручить, да

что там в десять — в сто... Одна соединительная муфта в месте разрыва потом — четыре тонны баксов. Детей засылают, женщин — чтобы уж с гарантией никаких силовых охранных мероприятий мы не предпринимали... А рвом мы периметр обозначили, чтоб хоть на машинах не подъезжали, они ж поначалу целыми грузовиками добычу вывозили, промышленно... Начинаешь проверять систему, носитель уже на старте, горючку заливать пора — и вдруг глядь: ни хрена не работает. Кто, что? А, понятно, давай искать, где клочок вырван... Мы просто волками были!

И такая звериная у него тоска в глазах леденела, у этого офицера, такая в нем ощущалась бескомпромиссная жажда провести хоть разок это самое силовое мероприятие... Бабцев сразу почувствовал: тут-то бы этот мальчик разгулялся.

Ничего не меняется. Ничего...

Вот такие, наверное, с чистым сердцем, с полной уверенностью в своей правоте прикладами сгоняли в столыпинские вагоны татар и чеченцев. Обрывок кабеля он казахам пожалел! А ты спросил их, нужны тут твои кабели им, на их земле? Ты пришел к ним без спросу, они тебя не звали, и понатыкал тут своих кабелей и черт знает чего еще, на века отравил их землю злейшей химией, завалил дымящимися обломками от аварийных пусков, и все того лишь ради, чтобы безграмотный пузатый упырь, карикатура на человека, мог потрясать в ООН кулачишкой да косноязыко, с кастратским привизгом кричать: «И если будут на нас гукать, мы так гукнем, что уже не будут гукать!» Ты радоваться, капитан, должен, что вся твоя необъятная железная машинерия способна хоть так, хоть через мелкое воровство послужить устройению нормальной жизни нормальных людей...

Будь у тебя хоть капля совести и сострадания — ты бы сам им все это отдал! И прощения бы попросил!

Почему никто не чувствует этой боли, этого стыда? Как они все ухитряются?

Пожалуй, она была для Бабцева удивительней всего — эта их умелая, тренированная, безоговорочная слепота. Ведь все так очевидно, так однозначно...

Вот привезли их к мемориалу. Да, погибли страшной смертью чуть не полторы сотни людей. Да, трагедия. Да, слезы, чего уж тут. Но ведь стоило только написать на их могилах «За нашу советскую Родину», как написали здесь, — и все обернулось глумлением.

Эта советская Родина в лице Неделина — а в тоталитарных системах Родина всегда принимает вид того или иного кабаньего рыла в орденах — своей тупостью чудовищно и бессмысленно спалила этих самых безвременно погибших, самодурски велел им всем работать на уже заправленной ракете — и никто, ни один человек из этих уникальных специалистов и, понимаете ли, героев, не мог и не смел рылу возразить. Под трибунал захотели? Родина ждать не будет, Родина наметила сроки! А теперь, понимаете ли, «За Родину!» на их мемориалах, да еще и не просто так, а «За советскую!» Не просто за бифштексы, а за «ма-аленькие бифштексы...»

Или вот памятная доска на доме первого начальника строительства — Шубникова... Ах-ах, и улица одноименная здесь же, он был такой душа-человек, слуга царю, отец солдатам, и о том, чтобы выполнить поставленные партией задачи наилучшим образом заботился, и о простых строителях радел, из одной тарелки с ними баланду хлебал, бараки обходил чуть ли не каждодневно... Советские сказки, будь они прокляты! Ведь стоит чуть-чуть подумать, чуть-чуть

прикинуть, как это за каких-то два года сей добрый Шубников посреди бескрайней дикой степи, где спокон веку не наблюдалось ни единого строения выше и прочней байской юрты, ухитрился поднять всю эту махину, весь этот по тем временам грандиозный, равных себе не имеющий комплекс, — чтобы безо всяких документов, безо всяких исторических изысканий, ни на миг не дав задурить себе голову сладким враньем о том, как, мол, гордился Королев тем, что здесь якобы спецконтингент не работал, просто сложить два и два и уразуметь, сколько десятков и сотен тысяч несчастных, ни в чем не повинных эзков он вкопал в эту землю, сей заботливый Шубников, какие пласты человеческих останков проложил он многослойным фундаментом под каждый стартовый стол, под каждый из этих несчастных кабелей и проводов, шестеренок и гаек, о потраве которых так сожалеет теперь чубатый капитан... Убийцы! Убийцы все! Ненаказанные и нераскаянные...

Хорошо хоть, нынешний запуск был беспилотным. Бабцев знал: его, с позволения сказать, коллеги, наоборот, очень жалеют об этом. Но когда пуляют с человеком на борту, накануне все непременно глядят «Белое солнце пустыни» — такой тут обычай. А для Бабцева это был давний, рубежный символ.

Вот ведь странно — мальцом он, как и все, лишь повизгивал от восторга, когда этот Сухов крушил и крушил в капусту злых басмачей. Но уже лет в восемнадцать все как-то в одночасье перевернулось — даже не понять с чего.

Вдруг стало стыдно и совестно. Будто это он сам, Бабцев, убивал, сам калечил и глумился... и тем, что радовался, дурачок, суховской меткой пальбе, будто сам оправдывал и укрывал от расплаты бесчисленных мерзавцев, что под сенью прекрасных кумачо-

вых словес гноили и морили, ломали руки и в блины раскатывали гениталии, заставляли родителей писать доносы на детей, детей на родителей, жен на мужей и мужей на жен...

Он еще пытался спорить с Семкой Кармадановым — горячась, нервничая, не в силах понять, почему он, Бабцев, видит теперь правду, а его ближайший на тот момент, неразлейвода друг отчего-то совсем не видит. «Да ты пойми — это же палач! — кричал он яростно и растерянно. — У него руки по локоть в крови! По плечи! С какой такой радости он пришел к ним в их пески и наводит свои дикие, мы теперь знаем точно, что дикие, порядки? Ну подумай! Чтобы про него в ту пору сказали: «Ты один взвода стоишь», чтобы стать легендарным карателем — представь, какую уймищу невинного народу он должен был перебить!» А Семка только хлопал глазами — и видно было, что он подозревает не на шутку: друг его спятил. И ни на что его больше не хватило, кроме как на ошалелое: «Валька, он же наш...»

Вот именно тогда Бабцев понял раз и на всю оставшуюся жизнь: есть наши и не наши. И каждый сам находит критерии отбора в те и в эти. И понял: для него, Валентина Бабцева, подонки и убийцы никогда не смогут стать «нашим». Вот кто ПРОТИВ подонков и убийц — тот ему и «наш». Будь он по формальным признакам кем угодно, хоть с того края света, хоть вообще с того света. А эти пусть группируются, как хотят. Дураки любят собираться в стаи.

Он не знал тогда, правильно это или нет. Даже не задумывался над этим. Просто ему было тошно от таких «своих». И он не мог чувствовать иначе, и вес-

ти себя иначе не мог. Так было честно, а иначе — нечестно.

Лишь через много лет он убедился, что это единственно верная и единственно достойная позиция, что в большом мире лишь она и пользуется уважением. Поэтому так легко он становился своим для всем вроде бы чужих — от прибалтийских якобы ветеранов СС до чеченских так называемых боевиков...

Но выбрал он свою позицию не по расчету. Он же ничего этого в юности не знал. Просто он не мог иначе, и все. С детства не мог.

Родился честным.

Так что возведение именно этого фильма в ранг священного, думал Бабцев, далеко не случайно. Вот зачем им космос? Вот чего они, по большому-то счету, от космоса ждут и хотят? Здесь не получилось, ручки оказались коротки, кишка тонка — так они хоть там жаждут утвердить русский орду.

Хорошо, что не пришлось смотреть это кино.

Хватило и того, что им дали увидеть и услышать. Страшные часы заправки, когда «красняк», апофеоз русской смекалки, ободран с ракеты уже весь, и на стартовой площадке — ни души. И едва не над головами начинают течь по широким шлангам, хлюпая и ворча, будто обыкновенное домашнее дерьмо, неотвратимые убийцы: смертоносный гептил, смертоносный амил и еще какая-то четырехокись азота — тоже наверняка вполне беспощадная к мягким козявкам в ни от чего не способных защитит, лишь не позволяющих сбежать погнах...

Или гептил не здесь? Слишком много сразу, все перепуталось...

Ну, пусть не азота, все равно не лучше.

И без перехода смех. Немного нервный после

этих адских процедур и все-таки уже нормальный, уже обыденно ироничный, потому что как всегда: грустное и смешное рядом. По традиции заправщиков кормят пловом. Плов горячий, пахнет грубо ипряно, и дымится. Заправщики жгутся, вытирают жирные губы ладонями. И гордо рассказывают, почему с ними так чикаются — именно во время заправки все может рвануть, как ни при какой иной операции. Ну, помимо самого старта, разумеется, — но во время старта здесь никого не будет. Нам за вредность аж надбавки положены. Обычные лейтенанты, те, что голыми руками, примерзая к железу зимой и прикипая летом, проверяют на поставленной ракете узлы, контакты и разъемы, помаленьку лишая белоснежную тушу красного лоскутного одеяния, — те получают две с половиной тысячи рублей в месяц. За свой героический и уже хотя бы по деньгам видно, насколько нужный Отчизне труд. А вот мы, «заправщики», — аж на сто тридцать рублей больше. И еще у нас усиленное питание: яйца, сливочное масло, молоко, сыр. Да только кто ж их видел. За свои деньги в магазине — оно, конечно, да, но... Так-то питание усиливать и депутаты себе умеют...

Словом, за нашу советскую Родину.

За нашу антисоветскую Родину...

За нашу никакую Родину.

Ничего не меняется. Как, друзья, вы не садитесь...

А потом главный миг. То, ради чего день за днем, неделя за неделей творится эта зловещая мистерия, и здесь тоже от благоговейного столбняка до издевательского хихиканья один шаг, потому что вереницы выводящих ракету в космос команд, ничуть не изменившихся за тридцать лет, известны всем и ка-

ждому благодаря очередному советскому шедевр у вранья — «Укрощению огня», и не только слышаны по сто раз, но уже по сто раз обшучены и обхохочены не одним и не двумя поколениями эрудированных россиян. Мы же здоровые интеллигентные люди с чувством юмора, и нет таких материй, которым был бы противопоказан смех... «Ключ на дренаж! Протяжка один! Протяжка два! Промежуточная! Главная!! А теперь — смыв, подтирка и три таблетки имодиума!!! Разрешите доложить, товарищ генерал, — дренаж закончен!»

Однако же тут юмор не удалось бы протянуть до вызывающего дружный смех итога.

Потому что бетон под ногами дрогнул. Едва ощутимо затрепетал, будто срезонировавшая струна. И накативший рев даже здесь, в подземелье, сварил воздух в крутой кисель. Нечеловеческий воздух.

А мгновением позже показался нечеловеческий огонь.

Из газоотводов бабахнули прямые, как жерди, ослепительные вихри. Потом люто полыхнуло где-то посреди — и уж оттуда, из потайной гремящей сердцевины огонь, сладострастно дрожа от могущества, попер вверх. Вспучилась плазменная гора. Огонь выпрастывался из-под земли неторопливо и вальяжно, как с достоинством рассвирепевший дьявол. Его пугающе неземная суть видна была сразу, он двигался вопреки всем законам природы: строго прямо и вверх. Лохматое, призрачное от жара ревущее солнце взошло из преисподней, и, кинув позади себя невообразимой длины пламенное помело, полезло в небо.

А козьявки в погонах и без погон смотрели на дело рук своих, и одна скучающе, привычно бубнила:

— Десять секунд — полет нормальный... Два-

дцать секунд — полет нормальный... Девяносто секунд... Тангаж, рысканье — в норме...

Весь в поту, стиснув кулаки, замороженный этой жутью и даже забыв дышать, Бабцев ошеломленно озирался вокруг. Эти лица... Они все были как чубатый щекастый капитан. Носы картошкой, маленькие глазки... Чувствовалось, что не дураки выпить водки — и лучше бы побольше. С такими ряшками только навоз в поле таскать! Глушить мутный самогон, занюхивая рукавом рваного ватника, и таскать по непролазным хлябям вонючий навоз!! И ничего больше!!

Эта вот дикая мощь — у них?

Честное слово, если бы кругом были знакомые Бабцеву по бесчисленным телерепортажам интеллигентные, умные лица англосаксов из НАСА, ему было бы сейчас спокойней.

Ну, хотя бы как у Сагдеева...

А эти, словно в ответ его мыслям, вдруг страшно заорали. По-прежнему негромко упало в тишину делано равнодушное «Есть отделение третьей ступени» — и вся орава наконец дала себе волю: разом взревела пещерное «ура» и бросилась обниматься. Ритуальная пляска голодных людоедов вокруг костра. И Бабцеву на миг показалось, что от внезапного истошного вопля, ударившего после напряжения и тишины, он... он чуть не обмочился.

Конечно, только показалось.

Нет.

Нет, скорее отсюда, думал Бабцев. Скорее туда, где нормальные люди радуются нормальным вещам...

Степная тьма дышала пылью, горечью и какой-то химией, плыли поодаль крупные и мелкие непонятные огоньки, смутные далекие тени непонятных конструкций — и, медлительно пошатываясь, точно

хромой на обе ноги, наползал навстречу скрипящему всем своим большевицким скелетом мотовозу мерцающий россыпями разноцветных окон и фонарей Ленинск... Фляга под названием КПСС — Каждый Плещет Себе Сам (даже юмор здесь полон древнего яда) — шла по кругу. И когда пожилой мрачноватый майор, не пригубив, передал ее импозантному представителю корпорации, а тот, сделав положенный глоток, передал ее корреспондентам, алкаш Корховой буквально приник к горлышку, этак запросто, точно он тут свой и фляга его собственная... Хлебнул, крякнул со вкусом и сипло кинул лозунг: «За наши звезды, ребята!»; и даже его узкоглазая пассия пригубила, и, уж разумеется, конформный Фомичев...

Бабцев от сомнительного угощения отказался.

И, конечно, когда мотовоз доскрипел наконец до станции «Городская», не поехал на организованный фирмой поздний банкет.

Журналисты, ракетчики и офицеры неторопливо, с обычными для таких процедур запинками и взаимными поджиданиями загрузились в битый день возивший их громадный автобус — разумеется, импортный, смотрелся он среди убогих хрущевок и худосочных уличных фонарей времен застоя точно дебелий раскормленный сагиб среди изможденных голых туземцев. Автобус должен был доставить гостей и часть хозяев на площадь, понимаете ли, Ленина в снятое фирмой на сей вечер кафе «Русская тройка», чтобы там продолжилось нелепое, невесть кому нужное братание (кафе это, по слухам, проросло в малость подмалеванной руине бывшего Дома офицеров, сгоревшего в девяносто четвертом году — символично, что ни говори). Бабцев коротко пояснил, что слишком полон впечатлениями и хочет

прогуляться, подумать... Мол, подойду попозже. Престарелый франт понимающе покивал.

— Не заблудитесь?

— Вряд ли.

— Если что — тут все прямо... По Абая до Королева, а потом направо по нашему Арбату кафе, налево по Королева — ваша гостиница... Впервые на запуске?

— Да.

— Впечатляет?

Непонятно, каких комплиментов он ждал, этот хлыщ. Как его... Алдошин, что ли... У Бабцева была плохая память на имена.

— Да, — сдержанно ответил Бабцев.

— А нам вот малость приелось. Натужно очень... Весь пар, что называется, в гудок уходит. Реву много, а капэдэ — с гулькин нос.

— Так не запускайте, кто вас неволит. Все только спасибо скажут.

Хлыщ усмехнулся.

— Читал вашу последнюю статью.

Бабцев напрягся.

— Вы серьезно считаете, что мы жулики?

— Хотелось бы убедиться в обратном, — выжидательно проговорил Бабцев.

Алдошин, или как его, картинно улыбнулся. Зубы у него были отремонтированы по-западному, только что зайчики не брызнули от них.

— Вам-то уж, как поборнику демократических ценностей, следовало бы помнить о презумпции невиновности. Доказывать вину обвиняемого должен обвиняющий, а не наоборот. Иначе сталинизм какой-то получается.

Краем глаза Бабцев заметил, что Корховой с подругой, всех пропустивши вперед себя, тоже взошли

в мягко освещенную глубь автобуса, и лишь старательно нейтральный, примирительный Фомичев за чем-то в одиночестве ждет у двери.

— У нас что ни делай — все сталинизм получится, — парировал Бабцев, тоже улыбнувшись.

— А не у нас?

— А не у нас — это не моя боль.

— Хорошо, погуляйте, Валентин Витальевич. Застолье продлится часа два, а ходьбы тут не слишком много, город маленький.

Оказывается, он помнил, как Бабцева зовут. А вот Бабцев его имени не помнил. Неловко и неприятно. Скорей бы остаться одному.

— Хорошо.

Алдошин — кажется, все-таки Алдошин — кивнул и пошел к автобусу. Сделал красноречивый жест терпеливому Фомичеву и, пропустив его, как гостеприимный хозяин, перед собой, последним шагнул внутрь; гуськом они поднялись в высоко над землей вознесенный салон. Мягко вздохнув, дверь каруселью поехала на своих изогнутых сверкающих рычагах и втянулась в пазы. Незлобиво рокотавший на холостом ходу дворец на колесах, сам с собой перемаргиваясь яркими блямбами сигналов, тронулся с места. Покатил. Укатил.

Бабцев остался один.

Наконец-то стало тихо.

Оказывается, они только делали вид, будто не замечали Бабцева и не выделяли его среди остальных. Будто не читали его. Читали. Но вовсе не собирались объясняться и оправдываться. Какая-то сила угадывалась за ними... Сила не чета мелко наглому, но навсегда испуганному, навсегда не уверенному в себе Кремлю, торчащему над страной на трухлявой ножке своей вертикали, точно скособоченная шляпка

насквозь червивого, проеденного слизнями гриба. Только ли чьи-то огромные деньги?

Интересно...

Бабцев неспешно двинулся проспектом Абая к далекой Сыр-Дарье. Проспект был прям, будто его пробил падающий по касательной метеор.

А ведь будь это не здесь — прекрасный вечер. Тепло. Азиатские звезды искрятся, даже свет фонарей не глушит их, только застит малость, скрадывая бесчисленную мелочь. Зелени много, деревца и кустарники клубятся беспросветно, как вылитая в чуть фосфоресцирующую воду тушь. Мирные скамейки неназойливо манят посидеть, подумать, с удовольствием погрузиться о чем-нибудь совершенно несмертельном. Даже как-то уютно — потому что патриархально, что ли... Детством веет.

Ага. За детство счастливое наше — спасибо, родная страна.

Вот. Вот откуда ощущение покоя и какой-то необъяснимой защищенности. Вот куда запущены подлые щупальца ассоциаций, подсознательных воспоминаний... Ну, нет. Не дамся.

Впереди уже предупредительно светится стела «Байконур», жалкая и помпезная, как все здесь. Говорит: не верь! Очередная елда, только не летучая. И конечно, с претензией на всемирность: ажурный земной шар на колу, и кругом него наша, понимаете ли, р-русская орбита...

Малолюдно... Работающие, рано ложатся.

А может, у них тут комендантский час, только нас о том не предупредили, чтоб не пугать? Были уверены, что мы от автобуса ни шагу. А что? При таком обилии КПП на въездах это было бы вполне логично. Сейчас подойдет патруль и по-русски вломит

в хайло за отсутствие подписанного гаулейтером аусвайса...

Так он ядовито пошучивал сам с собою, медленно шагая по проспекту имени казахского обожателя русских Абая, но в глубине души был на самом-то деле уверен: никакой патруль ему не грозит.

А вон перед входом в один из домов сидит на скамейке человек, и ему тоже, кажется, невесело.

Военный.

Бабцев и так-то шел неторопливо, а теперь еще замедлил шаги. В плывущем свете окон рисовался на светлом фоне допотопной скамьи лишь силуэт. Потом, два шага спустя, проклюнулись глаза — и оказалось, что они уставлены на него, Бабцева.

Человек курил.

Через мгновение Бабцев понял, что они недавно виделись. Это был мрачный майор, который в мотовозе тоже, как и Бабцев, отказался пить из КПСС.

Под пристальным взглядом Бабцев невольно остановился.

— Тоже не поехал праздновать? — вдруг спросил в тишине майор.

Бабцев не ответил.

Ему показалось, что майор, не пригубивши при всех, где-то успел как следует догнаться за те сорок—сорок пять минут, что прошли с момента прибытия мотовоза на «Городскую».

— Правильно, — сказал майор. — Что тут праздновать? Рутинка... Противно, правда?

Бабцев сделал нерешительный шаг к нему.

— Садись, — сказал майор и, приглашающе подвинувшись, похлопал по скамейке рядом с собой. — Закуришь?

— Спасибо, — решился Бабцев, — закурю.

Он быстро подошел к неожиданному собеседнику и сел рядом с ним.

Да, припахивало свежесвыпеченным.

Майор протянул Бабцеву пачку дешевых сигарет, потом выщелкнул язычок огня из зажигалки. Бабцев наклонился, прикурил. Ох, не «Мальборо»...

Но это может оказаться много интереснее всего предыдущего дня. В голове по-рыбьи задержалась, оживая, первая фраза: «Когда же мне удалось поговорить с одним из офицеров космодрома без свидетелей, вне бдительного ока начальства, он смог быть более откровенным...»

— Выпить не предлагаю, — сказал майор. — Видел, как тебя скрючило.

— Ты тоже не стал, — в тон майору ответил Бабцев.

— Ну, от меня-то мое не уйдет. А вообще ты прав. Придуманное веселье.

— Почему?

Майор помолчал.

— Потому что это поражение.

У Бабцева засосало под ложечкой от пробуждающегося азарта. Он устроился поудобней и затянулся едким простонародным дымом, постаравшись сделать это как можно более по-свойски.

— Кто кого?

— Они — нас.

— Чего-то не въезжаю, — непроизвольно переходя на язык низов, пришпорил беседу Бабцев. Майор посмотрел на него немного насмешливо.

— Чего ж тут не въехать, — сказал он. — Торгашки и сюда добрались.

У Бабцева чуть вытянулось лицо.

— Понятно, — сказал майор. Надо было отдать ему должное: он оказался чутким и подмечал малей-

шее изменение настроения собеседника. — Ты об этом не напишешь, конечно. Вы же все на их стороне.

— Кто мы и на чьей стороне?

— Пресса и бизнес.

Надо было слышать, каким тоном майор произнес эти два слова. Точно выругался в два этажа.

— А-а... — понимающе сказал Бабцев. Что ж, это тоже интересно... Хотя — предсказуемо. Послед империи.

— Чего ж ты не поехал плясать тогда, журналист?

— А что, там и танцы запланированы?

— Да нет... Плясать под их дудку.

— Как тебе сказать. Отродясь ни под чью дудку не плясал.

— Ишь какой скромный. Уверен?

— Уверен.

— Герой?

— Назови как хочешь.

— А я вот не герой... — вздохнул майор. — Четверть века здесь... — Помолчал. — Я думал, ты понял.

— Что?

— Что нечего сегодня праздновать.

— По-моему, — опять решился на подстегивающую определенность Бабцев, — здесь уже давно нечего праздновать. И уже никогда не будет что.

Майор сторбился.

— Наверное... — проговорил он после паузы. — Хоть бы «Энергию» опять запустили, что ли...

Глубоко затянулся. Оранжевый глазок его сигареты открылся в сумраке — и вновь закрылся, словно над покрасневшим от смертельной усталости глазом опустилось бессильное веко.

— Понимаешь, работа на самом деле адская.

Можно ее делать ради мечты. Можно ее делать ради страны. Но делать ее ради того, чтобы на советском старье очередной денежный мешок нажил очередной миллиард... Тошнит. А ведь теперь, наверное, так и пойдет. Частная корпорация... — он снова будто выругался.

— А как же иначе? — не выдержал Бабцев. — Мешок наживет миллиард — но ведь и ты наживешь ровно столько, сколько заработал. Мечта или страна — это, конечно, красиво, но ведь ненадолго и не для всех. Если делать что-то ради идеи — обязательно упруешься: тех, кого эта идея не вдохновляет, надо бить палкой. Либо ради денег, либо из-под палки — третьего нет.

— Вот я и говорю — вы заодно, — грустно, но спокойно констатировал майор.

— С тем же успехом можно обвинить в сговоре всех, кто сообща утверждает, что солнце восходит на востоке.

— Никто ж не требует, чтобы все вкалывали ради какой-то ОДНОЙ идеи, — терпеливо, будто некую очевидность разъясняя несмышленишу, произнес майор. — Но... Пусть бы люди сами группировались. Так нет... Надо всем промыть мозги! Вот послушай. Зимой у нас провели тест. Психологический. Один вопрос: верите ли вы, что Россия первой будет на Марсе? Дурь, казалось бы, да? Но человек двадцать офицеров ответили: ага, верю. И именно их отсюда убрали. Как нарочно. Закатали куда-то, по слухам, в Уральский округ... Да не сразу, а провели еще собеседования какие-то... только с ними, с теми, кто написал: верю. Вопросы задавали вроде бы к делу и не относящиеся, но асы дело знают туго. Витька Ромашин написал: верю, но его оставили. Он потом смеялся: вычислили, спецы, что я просто от балды

брякнул, интересно было посмотреть, что будет... Значит, как-то просекли, что соврал. Значит, убрали отсюда тех, кто действительно верил. Мы еще гадали: с чего такая плешь? А теперь, оказывается, это нас так к коммерции готовили...

Бабцев забыл дышать. Это было более чем интересно. Это была заявка на сенсацию. И, конечно, майор сам не понимал, насколько ценно то, о чем он проговорился...

— А отчего ж остался ты? — с трудом сохраняя спокойный тон, спросил Бабцев.

— А я уже не верю, — мрачно сказал майор и достал очередную сигарету. Закурил. — Я свое уже ответил... Четыре года до пенсии, а там — хоть птицы не летай.

Он, спохватившись, протянул пачку в сторону Бабцева:

— Будешь?

Бабцев помедлил, потом отрицательно покачал головой и поднялся. Майор все понял.

— Ну, бывай здоров, — сказал он, уже не глядя на журналиста. — Привет мешкам.

Бабцев вдруг понял, что поторопился по обычной своей импульсивности, а теперь ему жалко уходить. Похоже, майор мог бы рассказать еще немало. Но доверительный момент был упущен, испорчен безнадежно. Поддакивать надо было, поддакивать, а не лезть в спор. Бабцев помялся.

— Тяжело служить? — спросил он и сам почувствовал, насколько фальшиво и, в сущности, оскорбительно прозвучал его вопрос. Но майор только глянул на него снизу вверх — будто сверху вниз. Снова приоткрылся и снова закрылся внимательный, чуть презрительный глаз его сигареты.

— Служить легко, — сказал майор. Помедлил. — Жить тяжело.

Опять помедлил. Неужели при ракетах все такие философы, с издевкой подумал Бабцев. И тут майор его добил.

— Жизнь стала какая-то чужая... И главное, ясно, что к своей, к той, которой хотел, — тебя уже не пустят.

— А своя — это ради торжества коммунизма? — не выдержал Бабцев. Майора надо было поставить на место, слишком уж он умничал.

Не получилось. Майор вскинул на него насмешливый взгляд исподлобья и вдруг продекламировал басисто и распевно, по-маяковски:

— Я раком ставил мадонну Литта! Но чем она уж так знаменита — в упор не въехал! Скажи, друган, на кой нам этот поповский дурман?

У Бабцева едва не отвисла челюсть. Потом он вспомнил, что, пытаясь по-свойски говорить с майором на простом языке, буквально начал с фразы «чего-то я не въезжаю» — и передернулся, точно ему за шиворот плеснули щелочью. Он повернулся и молча пошел дальше по проспекту.

Их поселили в лучшей гостинице городка, которая в своем роде тоже была памятником: сделана в форме первого спутника. Посреди — ядро главного корпуса, по сторонам — четыре растопыренных крыла, как антенны, в свое время пищавшие из космоса свое показушное «бип-бип». Первый американский спутник, пусть и запущенный несколько позже русского, с ходу открыл радиационные пояса вокруг Земли. А первый р-русский открыл только космическую эру...

Бабцев подошел к гостинице уже чуть ли не ночью, вполне теперь осознавая, что несколько пере-

оценил свои силы, решив проделать весь этот путь на своих двоих. День выдался тяжкий, а под занавес — еще и этакий марш-бросок. Но из разрозненных впечатлений, из вороха, похожего на тяжелую кучу мокрых старых газет, именно благодаря этому броску высовывался теперь солнечный хвостик действительно ценной, действительно сулящей прорыв информации...

В тихом холле гостиницы на диванчике смиренно сидел один-единственный человек, рассеянно почитывая, как ни странно, «Коммерсант». Но при виде вошедшего с лестницы Бабцева он сложил газету пополам, небрежно отложил ее, поднялся и шагнул Бабцеву навстречу.

Человек был в штатском, невысок, коренаст. Покатые плечи непоказного рукопашного бойца. Матерое лицо с коричневой дубленой кожей. Короткая современная стрижка, черные, как антрацит, волосы пего поседели. Он шел к Бабцеву неторопливо и целеустремленно, и смотрел ему прямо в лицо немигающими глазами, и было очевидно: он идет именно к нему, точно зная, кто перед ним, — стало быть, он сидел тут, ожидая именно его. Бабцев ощутил неприятный холод в животе. Началось...

«Аусвайс?» — успел иронично подумать он, стараясь хоть так подбодрить себя. От противного.

— Добрый вечер, Валентин Витальевич, — сказал седой.

— Добрый вечер, — ответил Бабцев и, все еще чувствуя неприятный осадок от своей дурацкой попытки говорить с майором запросто, светски осведомился: — С кем имею честь?

Церемонность Бабцева, похоже, седого несколько не удивила. Он сделал приглашающий жест в сто-

рону диванчика, на котором еще шуршала, расправляя складки, поспешно сложенная газета.

— Я Заварихин, — сказал он. — Анатолий Заварихин.

— Просто Анатолий?

Седой усмехнулся.

— Прошу вас, давайте присядем. Мне бы, Валентин Витальевич, хотелось перекинуться с вами парой-тройкой слов.

— В таком случае и я только Валентин, — сказал Бабцев.

— Замечательно.

— Может быть, я могу пригласить вас к себе в номер, Анатолий?

— Не хочу быть чрезмерно назойливым, Валентин.

— Как скажете.

Они уселись. Бабцев выжидательно смотрел в лицо Заварихину. Заварихин задумчиво поджал коричневые узкие губы — видимо, подбирал начальные слова. Слегка боднул головой, решившись, и начал:

— Вообще-то у меня нет никаких официальных полномочий, и поэтому вы в полном праве не отвечать ни на один мой вопрос, Валентин.

Бабцев сразу попытался взять инициативу:

— Вообще-то в демократических странах так зачитывают права при аресте, Анатолий. Это что, арест?

— Господь с вами, Валентин. Что за странная мысль. Просто я стараюсь прояснить ситуацию. Я прекрасно осведомлен о том, какие у вас убеждения и идеалы, догадываюсь, в чем мы с вами мыслим сходно, знаю, в чем расходимся, но разговор совсем не об этом, а о вещах совершенно общечеловече-

ских. Поэтому я просто-напросто рассчитываю на товарищеское содействие — но в то же время не могу не прояснить ситуацию для вас. Вы-то обо мне не знаете ничего. Я уже несколько лет как человек совершенно штатский и всего-то лишь занимаю один из руководящих постов в охранной службе фирмы «Полдень».

— Ах, вот как, — сказал Бабцев. — Какую же опасность я представляю для фирмы «Полдень»?

— Ни малейшей, — улыбнулся Заварихин.

Это прозвучало как оскорбление.

— Тогда в чем дело? Скажу вам откровенно, Анатолий, день был очень тяжелый, я устал.

— Понимаю и постараюсь вас не задержать. Короткая беседа единомышленников.

— Единомышленников?

— Преступников мы же не любим в одинаковой степени, правда? Убийц, воров...

Вот куда он клонит, подумал Бабцев. И сразу встал в боевую стойку:

— Убийцей и вором можно объявить кого угодно.

— Я никого не собираюсь объявлять преступником, они сами себя объявляют, своими действиями. Не ощетивайтесь так сразу, Валентин. Я ж не выдачу Закаева от вас требую.

— Шутка юмора, — констатировал Бабцев.

— Она, — примирительно ответил Заварихин. — Так вот. У вас есть давний друг — Семен Кармаданов.

Бабцев вздрогнул.

— В последние годы ваша дружба несколько охладела, но все равно — я не могу себе представить, что, если бы вашему другу грозила какая-то опасность, вы отказались бы ему помочь.

— Почему вы вспомнили о Кармаданове? — ос-

торожно осведомился Бабцев. — Мы довольно давно не общались...

— Ну, полно, Валентин, — сказал Заварихин. — Ваша последняя статья на предмет ракетно-космических злоупотреблений навеяна информацией, которую вы получили от Кармаданова. Повторяю: у нас нет к вам ни малейших претензий, вы высказали свою точку зрения, и сделали это вполне аккуратно, не подвергая вашего друга никакому риску. Честь вам и хвала. И тем не менее ваш друг пострадал. Мог бы пострадать куда серьезнее, если бы не наша расторопность.

Бабцеву стало нехорошо.

— Что с Семеном? — глухо спросил он.

— К счастью, повторяю, ничего. Ни с ним, ни с его семьей...

— С семьей? Да что вы несете такое?!

— Понимаете, нам очень нужно узнать, где произошла утечка. Текст вашей статьи вполне корректен, но скажите откровенно: не могли вы где-то, по дружбе или по служебной необходимости, обмолвиться о том, от кого получили информацию о финансовых неясностях в «Полудне»?

Бабцев сразу вспомнил: этот самый вопрос ему как бы невзначай задавал по телефону сам Семка. Когда звонил поздравить со статьей. Но голос у него был вполне нормальный, и ни о чем плохом он не сказал. Наоборот: поздравил. Поздравил! Поблагодарил!

Значит, никаких неприятностей у него на тот момент не было. Значит, эти еще только хотят ему их устроить.

И пытаются как-то втянуть его, Бабцева...

Заварихин спокойно смотрел ему в глаза. Ждал. Это был явный шантаж.

— Во-первых, ничего о грозящих Семену опасностях я не знаю, — спокойно и размеренно ответил Бабцев. — Ваше голословное утверждение для меня ничего не значит. Это называется: брать на понт, но меня на понт не взять, Анатолий, я третий. Во-вторых, Семен никаких материалов мне не предоставлял, и моя последняя статья основана на совершенно иных источниках, раскрыть которые я соглашусь только по решению суда. Наконец, в-третьих, я подозреваю, что опасность для моего друга — это как раз вы.

Он встал.

— Спокойной ночи, — сказал он.

Заварихин вздохнул.

— Подождите, — сказал он. Вынул из кармана маленький плеер. Тронул кнопку — и Бабцев, уже собравшийся уйти, напряженно замер, потому что в ватной тишине холла раздался совершенно натуральный — будто Семка стоял тут же, в двух шагах — голос Кармаданова:

— Валька, я по телефону не мог, а подскочить к тебе тем более не мог... На меня после той статьи наехали всерьез, а мужик, с которым ты сейчас говоришь, нас с дочкой спас. Можешь ему верить. Увидимся — расскажу подробней, но я уже не в Москве. Понимаешь, исполнителей задержали, но откуда потянулось — через них не узнать, а это очень важно. Мне ты толком не ответил, ладно — впопыхах по телефону разговор действительно не задался, но постарайся припомнить: кому еще, кроме вашего главного редактора, ты мог обмолвиться, что информация пошла от меня?

Запись окончилась. Заварихин помедлил мгновение, держа плеер на весу, а потом, продолжая пристально смотреть снизу вверх, спрятал его в карман.

У Бабцева все будто смерзлось внутри. Но он лишь постарался держать спину прямо-прямо и чтобы голос не дрожал — хотя ему теперь стало по-настоящему страшно.

— Неубедительно, — отрезал он. — И даже еще более подозрительно. Вы вполне могли надавить на совершенно ни в чем не повинного Семена и заставить его сказать все, что угодно. Я ваши штучки хорошо знаю, господин... ныне штатский. Я начинаю всерьез тревожиться за своего друга. Вы его еще не убили?

Заварихин поразмыслил мгновение, потом, как неумолимый иллюзионист, из другого кармана вытащил мобильный телефон.

— Хотите ему позвонить?

Бабцев колебался лишь мгновение.

— Теперь — нет. Теперь я уже уверен, что он у вас и находится под мощным давлением.

Заварихин вздохнул.

— Да, — устало проговорил он и отвел взгляд. — Недооценил я силу ваших убеждений, Валентин. Вы, верно, до сих пор уверены, что и дома в Москве ФСБ взорвала?

— И в Москве, — холодно и непреклонно ответил Бабцев, — и в Волгодонске, везде. В свое время независимое расследование это доказало с полной определенностью. Просто его результаты были заблокированы вашими коллегами, Анатолий.

— Ох, да когда ж это кончится, — пробормотал Заварихин.

— Никогда, — бесстрашно бросил ему в лицо Бабцев. — Никогда. И не надейтесь.

Заварихин встал. Сейчас он меня пополам переломит, подумал Бабцев, но ему уже не было страшно. Все-таки он успел плюнуть чекисту в рожу, и это

давало ему силы погибнуть теперь с честью. Он даже не пытался сбежать хотя бы к себе в номер — просто стоял и ждал. Сердце билось мощно и ровно. Празднично.

— Знаете, Валентин... Когда я встречаю таких, как вы, у меня просто руки опускаются. И накатывает чувство, что страна все-таки обречена.

— А вы, конечно, спасители, — едко парировал Бабцев. — Но кому нужна страна, которую могут спасти только такие, как вы? И только ТАК, как умеете вы?

— Помните знаменитую сцену Валтасарова пира? — спросил Заварихин. Экий эрудит, мельком подумал Бабцев. — Ты взвешен на весах и найден...

— Очень легким, — перебив, без усилия продолжил Бабцев. Не мог он не щелкнуть этого кровососа по носу хоть так, хоть по мелочи.

— Легким-то ладно. Легким, тяжелым — разница, в сущности, невелика. Всего лишь в цене. Что на рынке делают после того, как взвешивают на весах? Продают, Валентин. В наше подлое время надо говорить так: ты взвешен на весах и найден ПРОДАННЫМ. Что там Марксова продажа рабочей силы как последняя стадия... Товаром становятся смыслы жизни. Что бы ты ни исповедовал — оно всего лишь работает на чью-то мощну. Не на ту, так на эту. Вот что меня пугает...

— Успокойтесь, — с превосходством сказал Бабцев. Сделал широкий жест, обведя окружающий мир. — Весь этот послед империи... Никто на него не претендует, и никому он не нужен.

— Да? Страна после страшной войны воспрянула на миг — и буквально зубами впиалась в будущее и еще цепляется из последних сил! И Байконур — те самые зубы. А послед империи — это вы, Валентин.

— Вот только не надо о войне, — жестко сказал Бабцев. — Не надо демагогии о голоде, холоде и нищете, которыми оправдывается любая собственная мерзость. Если у тебя нет штанов, мечтать надо о штанах, а не о звездах.

Заварихин помедлил. И Бабцев вдруг сообразил, что у него в глазах уже нет неприязни. Давно нет. Да и была ли? Грусть была у него в глазах. Страшная, беспросветная грусть.

Чего он добивается?

— Практика показывает, — сказал Заварихин тихо, — что тот, кто мечтает только о штанах, за штаны мать родную продаст. Почему-то так получается, что люди, в которых сохранилась душа, совершенно произвольно начинают, даже замерзая, мечтать о чем-то, помимо штанов. Со всеми вытекающими последствиями... — Помолчал. — И найден проданным.

— Я могу считать себя свободным? — с ледяной вежливостью осведомился Бабцев.

— Да идите, конечно, — негромко и равнодушно ответил Заварихин. — Чего там... Но если господь сподобит вас когда-нибудь встретиться с вашим другом и он вам расскажет, как было дело, — вам будет очень стыдно, Валентин...

— Это уж мои проблемы.

— Разумеется. Спокойной ночи.

Бабцев резко повернулся и, на ходу доставая ключ, пошел к своему номеру. Спина ждала выстрела. Но выстрел так и не плеснул между лопатками, позвоночник не хрустнул, ломаясь. Вот и дверь.

Он закрыл дверь и привалился к ней никем не тронутой, но все равно мокрой от холодного пота спиной.

Похоже, пока они беседовали с седым, гульбище в погорелой «Русской тройке» прекратило течение

свое, и народ привезли на ночевку. Со двора доносились голоса, даже песенки... Догуливали. Этого нам никогда не хватает, этого нам всегда мало... Кто-то хохотал. Кто-то брэнчал на гитаре, кто-то пел нестройным дурашливым хором. «Утверждают террористы и писатели — и на Марсе будет конопля цвести...»

Лубянка щелкнула челюстями у самого горла — а оказалось, она всего лишь сонно зевнула.

Наконец-то у Бабцева начали дрожать руки.

ГЛАВА 2

Сердце красавицы — это иероглиф

Тут разница как между порнушкой и любовью.

Можно сколько угодно разглядывать возбуждающие картинки в ярких журналах, можно до побагровения сопеть, уставясь в экран, по ту сторону которого, играя мышцами и тряся округлостями, квалифицированно и за жалованье, как спортсмены, трахаются профессионалы, можно вечера напролет обсуждать с пацанами то, в чем ни фигу на самом-то деле не смыслишь, только мнишь себя крутым знатоком, потому что тайком от родителей протудировал «Энциклопедию секса»; но пока сам не почувствуешь не сравнимую ни с чем самозабвенную распахнутость отданного тебе тела, не услышишь, как любимая женщина стонет именно под тобой, именно для тебя, — ни за что не поймешь, из-за чего люди сходят с ума.

Так и это.

Десятки раз наблюдал Корховой и по телевизору, и в Интернете старты ракет, проглядел до дыр и

старую хронику, и относительно недавние ностальгические документашки про былые успехи в космической области... Оказалось — все не то.

Невообразимая красота. Невообразимая сила...

Пламя, которое отменяет ночь и на несколько минут сшивает небо и землю воедино...

От одного лишь сознания, что невзрачная железяка, сработанная обыкновенными рабочими руками — та самая, что каких-то полчаса назад торчала тут среди нас, среди наших грязных шлангов, складов, запертых на ржавые не запирающиеся замки, та, что снисходительно слушала, как мы ругаем начальство, хвастаемся про баб и хнычем про зарплату, — летит теперь на первой космической среди звезд и сама мерцает звездой из того самого вакуума, которому ни много ни мало, а четырнадцать миллиардов лет от роду, в котором, точно оглушенные толовой шашкой караси, вразнобой тонут сомлевшие галактики...

От этого можно было просто-напросто с гордостью лопнуть.

И когда все закричали «ура», Корховой, чтобы не лопнуть, закричал громче всех и полез обниматься к первому попавшемуся служаке.

Да, не зря так стремятся страны в клуб космических держав. Это вам не шутки. Это совершенно новое состояние — знать, что твое государство сумело сшить небо и землю гремящей полосой пламени.

Уж потом приходят в голову соображения пользы. «ГЛОНАСС» там, не «ГЛОНАСС»... спутники-шпионы, погода-природа... То есть, ясное дело, все это надо, и надо, чтоб свое, и правильно, что есть конкретные люди, которые думают об этих конкретных выгодах и удобствах, с этих людей пора пушинки снимать всенародно, да! — но объяснить, какая

от чего следует конкретная польза всегда в сто раз нуднее и дольше, чем просто показать этот гром и это пламя, запросто отпихнувшее планету и ушедшее в зенит.

Сказка.

Змей-Горыныч, с которым удалось подружиться.

Иногда он своевольничает, конечно... А кто не своевольничает? Самый преданный друг может подвести. Самый преданный сын капризничает порой. Не говоря уж, например, о самой преданной женщине... На то мы и сложные, а не инфузории. И он, огнедышащий, — тоже.

Сложный.

Уважительного отношения требует.

Уже и мотовоз провихлялся по своим шатким рельсам и пришел в город, уже и в автобус загрузились, и на банкет поехали, а Корховой все думал: страшно представить, что я мог этого не увидеть. То была бы совершенно иная жизнь. Словно вообще звезд до самой смерти не углядеть, не узнать этого потайного дальнего сверкания, сулящего душе простор и бессмертие, и прожить от рождения до предсмертных конвульсий и хрипов под пасмурным, сочащимся серой влагой тесным небом.

Не нас бы — литературных бы титанов сюда, думал Корховой. Пушкина... Вот он бы выдал после таких впечатлений!

Но твердым манием вождя среди болота и дождя явился град. Звать — Байконур. На перепутии культур он гордую главу вознес и людям подарил космос...

Корховой, без труда стилизуя под «На берегу пустынных волн», тешился сложением виршей за Александра Сергеича и время от времени оглядывался на Наташку. У нее горели щеки, точно она весь вечер у

печи с пирогами провозилась — и Корховой был рад; она, похоже, чувствовала то же, что и он. Можно было не разговаривать, все и так понятно.

А Фомичев был просто задумчив. Озирался. Прицеливался, наверное: на кого первого напасть с вопросами, когда приедем, примем по первой и языки развяжутся.

А Бабцев пропал куда-то. Наверное, морду бережет.

Туда и дорога. Век бы его не видеть.

Банкет оказался не слишком массовым — человек двадцать пять набралось, не больше. Сначала начальник космодрома сказал тост — то есть сказал он вроде бы короткую речь, в общем-то, достаточно тривиальную, парадную, как военному, вероятно, и полагается: мол, как они тут рады, как приветствуют новые взаимовыгодные времена и все такое; но потом предложил выпить, и оказалось, что это все же тост. Разумеется, выпили.

Потом импозантный представитель фирмы «Полдень» Алдошин выступил с ответным тостом. И то ли уже первый градус в силу вошел, то ли у фирмачей и ученых степеней свободы и впрямь на порядок больше — но говорил он с юмором и потешил слушателей изрядно. Кратенько перечислил, для чего важны и ценны геостационарные спутники, кто до сих пор ими занимался и, кстати, почему; потом отметил, что нынешний пуск благодаря усилиям частной корпорации оказался аж на семнадцать процентов дешевле, чем запуски аналогичных спутников в среднем были в мире и в стране доселе... Потом лукаво покосился на широкие окна зала, по ту сторону которых, посреди площади, неутомимо торчал в лучах ночной подсветки Владимир Ильич, указующий путь в голую степь, и закончил, на-

помнив лозунг, лет двадцать назад мозоливший глаза чуть ли не повсюду (Корховой еще застал, еще помнил): «Так что мы непременно придем, товарищи, к победе коммунистического труда!» И, выдержав паузу, ослепительно улыбнулся, что твой Ален Делон, и добавил: «Особенно если будем платить за него как следует». Все облегченно захохотали. А Алдошин поднял рюмку и забил последний гвоздь: «Так что предлагаю, товарищи, выпить за единство труда и капитала!» Народ к тому времени уж так раздухарился, что с той стороны, где скучковались молодые офицеры, кто-то отважился Алдошину в тему заорать, от поспешности едва попадая в мелодию, но узнаваемо по-рамштайновски (хоть и не очень по-немецки): «Карл сказал, Карл сказал: майн либер капитал! Черный нал, черный нал! Дас шварце капитал!» Никто не подхватил, но с удовольствием похохотали все — ну, и опять же все выпили, конечно.

И на том официальная часть кончилась, и веселье пошло, как водится, вразнос.

Наташка держалась вблизи, но поодаль — мы, мол, не вдвоем, мы тут просто тесно сплоченная группа журналистов. Что поделаешь. Но в миг опрокидывания каждого из тостов мельком, как бы невзначай, взглядывала на Корхового: бдила. Предупреждала-напоминала. Корховой и сам бы в такой вечер не надрался нипочем — жалко было бы что-то потом не помнить. Однако этот никому не понятный и не заметный — разве лишь Фомичеву — признак совместности, микроскопический симптом почти семейной заботы всякий раз заставлял сердце Корхового радостно подскакивать, точно азартный оголец на батуте. С восторженным визгом.

Народ быстро разбился по интересам, и каждая

группа начала догоняться напитками в независимом темпе. Корховой попробовал сунуться к военным — но те увлеченно обсуждали, сколько каких кабелей и прочих первоочередных железок смогут подновить на деньги, заработанные нынешним пуском; было просто не вклиниться. Попробовал сунуться к ученым, но там оказалось еще суровее: у Алдошина в руке уже была исчирканная альфами-омегами салфетка, и он ею потрясал перед носом у кого-то из коллег. Конечно, банкет не лучшее место и время для осмысленных интервью. Если не можешь толково подслушать — пей себе и жди, когда люди успокоятся. В конце концов, у них, похоже, и впрямь какая-то не рядовая победа. Тем более как раз в эти минуты среди шумного бала вдруг, будто никем не принесенная, сама собой в воздухе конденсировалась окончательно триумфальная новость: разгонный блок запущен и спутник пошел с опорной орбиты на обетованную... Как раз когда Корховой пытался для очистки совести заглянуть в листок через плечо Алдошина, все опять заплодировали, затопали ногами и потянулись, натурально, к рюмкам и бокалам...

Когда Корховой вернулся к своим, похоже было, что они тоже потыкались-потыкались и отступились — с тем же результатом. Фомичев с пустой рюмкой в левой руке меланхолично жевал бутерброд. Наташка грациозно держала у ярких губ почти полный бокал, но не пила, а, вода бокалом, точно стволом верного «максима», озиралась, как Анка-пулеметчица, выбирающая цель. Такая она была цепко, когтисто красивая, так выверенно самонаводилась, что сейчас, несмотря даже на грамм сто, уже запроваженные в извилины, невозможно было представить ее в виде домашнем, постельном.

Невероятно, но там она оказалась нежная, теплая...

Бескорыстная мама, у которой в жизни только и счастья — пестовать свое дитяtko, слушать его, поддакивая, подкладывая сладкий кусочек...

А как она давала!

Будто хочет навек перестать быть отдельно...

Смотришь теперь и сам себе не веришь, что — было. Два разных существа — она тогда и она теперь.

Ладно, лучше не думать и не вспоминать.

Воспоминание — это всегда предвкушение. А никто тебе не может гарантировать, свет мой Степушка, что это повторится... Вон она сейчас какая. У такой просто нет, просто не может быть наготы. Стекло, пластик, микрочипы и серводвигатели. Высокотехнологичный агрегат для сексуального ошеломления объекта и скоростного снятия с него информации — пока не очухался.

Есть у нее нагота, есть. Мягкая. Нежная. Влажная...

Корховой только встряхнул головой, отгоняя назойливую память. Работаем, работаем!

Пьем.

Тут-то и долетел сквозь общий гомон и фаянсовое постукивание посуды Наташкин голос:

— Мальчишки, не знаете, кто это там такой красивый?

Корховой перехватил ее взгляд и повернулся туда, куда Наташка смотрела. Краем глаза успел зацепить, что туда же невольно уставился и Фомичев.

— Да Алдошин же, — удивленно сказал Корховой.

— Алдошина я знаю, — нетерпеливо отозвалась

Наташка. — Нет. Рядом. Только что к нему подошел...

Сутуловатого жеваного субъекта лет сорока, который и впрямь нарисовался возле Алдошина, что-то ему втолковывая, вряд ли можно было назвать красивым. Разве что в издевку. Но сердце красавицы — непонятно и непредсказуемо, и вот лишнее тому подтверждение. Рядом с авантажным представителем празднующей триумф корпорации невзрачный незнакомец — его действительно нынче ни в автобусе, ни на запуске не было — выглядел, на вкус Корхового, как мелкая серая моль рядом с ярким клювастым попугаем. Разве что глаза могли женщину привлечь. Глаза — да. Они светились мягким алтарным огнем — так в сумраке церкви лампы мерцают.

Корховой растерянно оглянулся на Фомичева. Тот пристально смотрел на алдошинского собеседника чуть исподлобья. Будто, в отличие от остальных, вмиг сообразил, кто это. Но взгляд держался какую-то долю секунды, а потом Фомичев недоуменно поджал губы и столь же растерянно глянул на Корхового.

— Понятия не имею, — сказал он. — Наташенька, что ты в нем нашла?

Наташка только плечом дернула с досадой.

Эх, чего ради своей бабы не сделаешь!

Держа рюмку, как факел, Корховой через весь зал, небрежно раздвигая могутным плечом каких-то одинаково и очень однозначно раздумяившихся генералов (вот генералы ей, понимаешь, неинтересны!), зашагал к Алдошину и его сутулому собеседнику.

Те лишь тогда сообразили, что к ним гость, когда между ними и Корховым оставался один шаг. Корховой успел еще услышать обрывок последней фра-

зы уклониста: «И это совершенно реально, говорю вам, я просчитал трижды!..» Потом тот осекся, реагируя на вторжение, и оба удивленно воззрились на визитера. А нам-то что? Нахальство — второе счастье.

— Не могу не предложить от лица акул пера, которых ваша бесподобная фирма столь любезно пригласила на эти именины сердца, благодарственного тоста в вашу, глубокоуважаемый Борис Ильич, честь... э-э... и в честь вашего глубокоуважаемого собеседника... Простите, не имел чести быть представленным...

И, без труда стараясь казаться чуть более навеселе, чем натурально был, Корховой выжидательно уставился на сутулого, держа на весу протянутую в его сторону руку с рюмкой.

Тот застенчиво заискался взглядом по округе в поисках адекватного вместилища. Нашел. Поднял. Благодарно уставился на Корхового лампадами глаз. Бокал — с легким вином, похоже; да и ладно, пусть пьет, что хочет и может.

— Журанков... — сказал он. — Константин Михайлович Журанков.

— Степан Антонович Корховой. Журналист. Очень приятно.

— Мне тоже, — мягко сказал Журанков. — Э-э... Физик, — он так неуверенно это сказал, словно совсем и не был уверен, что он физик; словно вообще не знал толком, кто он такой.

Корховой размашисто треснул своей рюмкой по его бокалу. Потом повернулся к Алдошину, который уже пришел в себя и, тоже вооружившись рюмкой, смотрел на журналиста весело и безо всякой враждебности.

— Итак, огромное вам спасибо, господа ракет-

чики! — сказал Корховой. — Это изумительно! Это просто пробирает! За вас!

И заглотив полтинничек, как орел букашку. «Это — последняя, — сурово велел он себе. — И то — ради дела. Не корысти ради, лишь волею пославшей мя жены...»

Алдошин тоже красиво вмазал. По всему видать было — мужик хоть и в летах уже, но лихой казак. С ним бы посидеть как следует, без суматохи и многолюдья... Журанков отважился на несколько элегических глоточков. С Журанковым все было ясно.

— Рад, что нашел путь к вашему сердцу, — ответил Алдошин. Совершенно Корховому в тон. Ну, точно, мы бы общий язык отыскиали в пять минут, подумал Корховой. — А между прочим, у меня будет к вам разговор, уважаемый Степан Антонович. Вы еще не уходите?

— Никак нет!

— Замечательно. Я вас найду. А сейчас — передавайте вашим коллегам наши наилучшие пожелания.

Понятней дать незваному гостю взашей и нельзя было. Ну, да Корховой и сам не собирался тут задерживаться.

— Константин Михайлович Журанков, — вполголоса сообщил он, вернувшись. — Как бы физик. Вам это что-нибудь говорит?

Глядя в стену с отсутствующим видом, Фомичев отрицательно покачал головой. Зато у Наташки на миг даже рот приоткрылся.

— Журанков? — потрясенно переспросила она. — Тот самый?

— Что значит — тот самый? А какой?

— Ну, подготовочка у вас... — возмущенно сказала Наташка. — Это ж в свое время чуть сенсация

не была... Только все утихло быстро, как-то разом... Я думала, он давно в Штатах. Надо же...

У нее глаза тоже начали подсверкивать. Но это был совсем другой блеск, чем свечное свечение в глазах Журанкова. Пантера почуяла добычу.

— Так, пацаны, — сказала Наташка, неотрывно глядя на Алдошина и его собеседника. Как перед дуэлью, передернула плечами, умопомрачительно распрямила спину, выставив грудь. — Я на бордаж.

И только они ее и видели. Корховой удрученно проводил ее взглядом, но она ни разу не обернулась.

— Вот и все, — с сочувствием сказал Фомичев после долгой паузы. — Ломи на них...

— Это точно, — медленно ответил Корховой.

Еще подождали, поглазели с тоской.

— Давай, что ли?

Корховой отвел взгляд. Она уже вовсю беседовала, и Журанков застенчиво ей улыбался, а Алдошин явно распускал перед нею павлиний хвост. Корховой подставил рюмку, и Фомичев ее наполнил.

— Давай, — только тогда сказал Корховой, напоследок покосившись. Наташка уже смеялась чему-то, запрокидывая голову и во всей красе показывая нежную шею. Журанков стеснительно любовался. Алдошин, что-то мастерски рассказывая, бурно жестикулировал — этот любовался больше собой, чем Наташкой; его года — его богатство. А вот этот пожилой черепашонок... Поди ж ты — красивого нашла... Корховой хлопнул. Еще неделю назад ему и в голову бы не пришло, что, будучи уже, в общем, далеко не мальчиком, он окажется способным так вот на пустом месте ревновать с совершенно первозданной жгучестью. Отелло рассвирепелло...

Видимо, от этой последней рюмки он все же слегка поплыл — но не шибко, потому что чисто на

автопилоте сумел некоторое время не добавлять и оттого не вылетел вовсе, а, наоборот, минут через пятнадцать обнаружил себя: довольно-таки опасно размахивая голой вилкой, он рассказывал Фомичеву, какие у Наташки шикарные китайские картинки развешаны по стенам. Зачем он это принялся рассказывать — было совершенно неясно, наверное, от уязвленной гордости. А вот, мол, я у ней дома был и все рассмотрел... Ему стало неловко, но на полуслове было уже не остановиться, Фомичев почему-то этой темой очень заинтересовался. Слушай, а может, она китаянка? А может, она иероглифы знает? А давай ей по-китайски канцону споем... сер-рена-ду... А слабо? А не слабо! А только вот подумать надо... А ты отлить не созрел? Нет? Ну, я тогда сейчас вернусь... Найдешь? А то!

В туалете Корховой принялся студить пылающее лицо в пригоршнях холодной воды. Раз. Другой... Это оказалось очень приятно — лишний знак того, что веселье замерло в неустойчивом равновесии на границе с пьянкой и есть еще шанс отступить, не перейдя черту. «Больше не пью сегодня», — сказал Корховой себе и вдруг понял, что на сей раз он этот обет, пожалуй, исполнит. Надоело стыдиться себя. И Наташка пусть не зазнается, между прочим, — он и без ее присмотра способен не надраться. В белом кафельном блеске, слегка резавшем глаза, в почти медицинской тишине, нарушаемой только легким журчанием подтекающего в одной из кабинок бачка, среди строгих молчаливых писсуаров и унитазов, остаться трезвым казалось очень легко.

А потом хлопнула дверь, и раздались шаги.

Алдошин. Ага. Ничто человеческое не чуждо.

Представитель фирмы успел увидеть распрямляющегося над раковиной Корхового в последний

момент; руки его, уже пошедшие было к ширинке, неловко тормознули. Интеллигент какой, подумал Корховой.

— Место встречи изменить нельзя, — громко сказал Алдошин.

— Рад столь удобному случаю еще раз засвидетельствовать вам и в вашем лице фирме «Полдень-22» благодарность от гильдии журналистов и от себя лично, — ответил Корховой.

Алдошин улыбнулся.

— А случай действительно удобный, — сказал он. — Тихо, без лишних ушей... Я ж не для красного словца сказал, что у меня еще будет к вам дело. Только все не мог сообразить: вы нынче еще в состоянии меня выслушать или уже надо отложить до утра... А вы вон какой огурец!

— Постараюсь оправдать высокое доверие партии и правительства! — браво рявкнул Корховой. Брови Алдошина прыгнули вверх-вниз.

— Надо же, — сказал он. — Я думал, ваше поколение этих заклинаний уже не помнит...

— Когда заклинание превращается в последнюю фразу анекдота — оно получает вторую молодость, — серьезно ответил Корховой. По лицу его щекотно сползали капли, и он запросто утерся рукавом.

— Пожалуй... — согласился Алдошин, и тут Корховой понял, что этот человек старше, чем выглядит. Много старше и много серьезнее. Непонятно, почему одно это слово и то, как оно было сказано, открыли Корховому глаза. Но — открыли. Алдошин был стар и, несмотря на всю свою импозантность, и оживление, и несомненное умение очаровывать, смешить и приковывать взгляды, — очень грустен. Или очень устал. Ого, придумал Корховой. Еще не-

известно, над кем жизнь покуражилась больше — над изможденным скромником Журанковым или вот над этим царственным жуиром...

— У меня не очень-то есть время следить за прессой, — сказал Алдошин, — но это не только мое мнение: ваши статьи по космосу и ракетным делам одни из лучших. И вдобавок вы достаточно молоды и весьма здоровы, это видно сразу. Мы начинаем новую программу. У американцев была попытка «Учителя в космосе», но сорвалась трагически... Мы проще. Хотим сделать «Журналист в космосе». Возобновить, вернее, — в позднем СССР был проект такого рода, даже одного японца свозить успели. Возобновить, разумеется, не во вторник на будущей неделе, но... В перспективе. Хотите попробовать пройти медкомиссию и потренироваться?

Корховой мгновение молчал.

— Я? — спросил он потом.

— Ага, — просто ответил Алдошин.

— В космос?

— В космос.

— Может, еще и на Луну?

— Может, и на Луну.

Корховой опять помолчал. Назойливое журчание прихворнувшего бачка стало вдруг очень громким, почти оглушительным.

— Был такой старый анекдот, — хриловато сказал Корховой. — «Водку? В жару? Стаканами? НАЛИВАЙ!!!»

Алдошин усмехнулся.

— Надо полагать, вы таким образом согласились? — спросил он.

— А мои друзья? — вспомнил Корховой.

— А вы без них никак?

— Ну... Не слишком-то этично с моей стороны будет...

— Хорошо. Обсудим. А сейчас... Я старый человек и вынужден прервать разговор. Как я буду завершать столь торжественное мероприятие в мокрых брюках? Подумайте, посоветуйтесь с коллегами... Адью!

Он торопливо нырнул в одну из кабинок и закрыл за собой дверцу.

— Спасибо! — запоздало и потому особенно нелепо крикнул ему вслед Корховой. В ответ в тишине лишь звуки журчания раздвоились.

«Я червь, я Бог, — думал Корховой, медленно возвращаясь по короткому коридору в кафе. — Или как там у Державина? Не важно. Зачем слова, когда тут все без слов... Трудно придумать более хлесткий символ. Луна и нужник... Честь, дружба — и простатит... Ох, и ведь все, что мы делаем, все, что переживаем, все наши выдумки одной ногой на небе, другой — в выгребной яме, и никуда от этого не деться...»

На Луну.

А ведь полжизни бы отдал...

Ну да. Алдошин проспится завтра и скажет: у нас всегда находилось время поддержать друг друга доброй шуткой!

В автобусе Наташка оказалась на одном сиденье с Журанковым. Все ж таки разговорила она конфузливое физика: он уже не слушал молча, не улыбался ей в ответ неярко и почти пугливо, а что-то негромко, задушевно рассказывал, а она только кивала, глядя на него неотрывно, как на икону, — умеют они, женщины-то, когда хотят... Даром что глаза раскосые — как по площадке сейчас. Когда на тебя такие глаза неотрывно и благоговейно смотрят, это... Блин!! А когда не на тебя?!

Было около двух часов ночи, когда Корховой вошел в свой номер.

Под черепом чуть дымились, дотлевая, выпитые граммы. Корховой прошелся взад-вперед, подошел к окну. Ночь. Среднеазиатская степная ночь. Ночь на космодроме. Первая ночь там, где мечтал побывать с детства. И, может, последняя. А в мыслях одна мужичья хрень. Вот ведь ерунда какая.

Космос.

Луна, Луна... Цветы, цветы...

Корховой вышел в коридор; шагая быстро и решительно, точно опытный врач, которого ждет не дождется болящий, дошел до Наташкиного номера. Постоял, прислушиваясь. Стыдно было невероятно, и гвоздило шкурное, трусливое: а ну как кто из соседей выйдет — а я тут торчу с протянутым к замочной скважине ухом... Он постучал — сначала легонько, потом посильней. Он уже понимал, что никого там нет за дверью, что Наташка к себе не вернулась, но стучал и стучал.

Потом ему в голову пришла новая мысль. Легко шагая и что-то бодренько насвистывая, он спустился вниз, подошел к ключющему носом портье.

— Добрый вечер, — вполголоса сказал он на пробу.

Портье коротко, крупно сотрясся и уставился на него — в первый миг бессмысленно, ничего не понимая, но уже через мгновение вспомнив, кто он, где и зачем.

— Добрый вечер.

Корховой показал ему аккредитационный бэджик и просительно проговорил:

— Не подскажите, в каком номере поселился Журанков Константин Михайлович? Мы договорились об интервью, но, когда из автобуса выходили, потерялись как-то...

— Поздновато для интервью, товарищ, — проговорил портье.

Корховой улыбнулся.

— Любви все возрасты покорны, а работе — все часы суток, — примирительно сказал он.

Портье повел глазами по своим кондуитам, прячущимся под стойкой. Корховому казалось, он никогда не ответит. Но портье все же ответил. Корховой благодарно ему кивнул и пошел наверх.

Теперь он, не дыша, некоторое время стоял у двери Журанкова. Ему было уже все равно, увидят его или нет. Сквозь хлипкую, как папиросная бумага, советскую дверь отчетливо слышно было, как негромко, мягко толкует о чем-то Журанков и время от времени коротко, удивительным своим голосом, от которого у Корхового все холодело внутри, отвечает ему Наташка. Конкретной трухи слов не разобрать, конечно; жили только сами голоса — вились один вокруг другого, вступали в отношения. Беседуют. Нет, вроде просто беседуют. Зацепились.

Корховой снова рванул вниз. Безбоязненно прошел мимо снова задремавшего портье, вышел из гостиницы. Ночь была теплой и сухой, и уже совсем тихой, беспросветно и предрассветно тихой — юг, Азия. Буранный полустанок... Не составило труда просчитать, где окно номера Журанкова.

Свет горел.

Это было почти единственное освещенное окно в гостинице.

Корховой закурил. Медленный дым, мерцая, пошел в черный зенит, к спящим азиатским звездам.

Ей-то бы я прямо сейчас сказал про предложение Алдошина. Чтобы услышала от меня, а не от кого-то чужого.

Но ей не до меня.

Насколько далеко она может пойти, чтобы выкачать из этого загадочного Журанкова все, что ей надо?

А, собственно, что ей от него надо?

Господи, какая чушь лезет в голову. Чушь и гадость, стыдуха, срамотища...

Почему я никогда не слышал даже эту фамилию? Журанков...

А она вот слышала.

«Кто это там такой красивый...»

Черт ее знает — влюбится еще... Сердце красавицы склонно к измене. И вообще. Это у кого душа очень устала или, наоборот, не проснулась, от тех — да, от тех можно ожидать супружеской и всякой подобной верности. А у кого творческий потенциал бужуется... Где потенциал — там и чувства пляшут, как море в шторм, непредсказуемо. Туда, сюда. Щупают мир. Потому что понять и осмыслить можно только то, чем очарован. За что переживаешь, как за себя; порой даже больше, чем за себя. А чувствам вслед — иногда ахнуть не успеваешь, что я, не знаю, что ли, — и мясо подтягивается. Поди-ка попробуй рывкнуть на него, совестью или там юриспруденцией поставить мясу предел — тут и чувства протухать начнут, из всего своего клокочущего разнообразия оставляя тебе лишь скуку и серую тюремную тесноту; и все бы ничего, но от этого творческая твоя способность куда-то загадочно испаряется, и однажды встаешь утром такой честный-честный, и совесть такая чистая-чистая, и обнаруживаешь, что не можешь выжать ни строки, и в голове — ни единой новой мысли... И ничего не хочется.

Луна — и сортир.

В ночной тишине издали раздался скрип гравия под чьими-то медленными шагами. Корховой с

трудом оторвал взгляд от затягивающего окна. Освещенная, как в триллере, со спины, медленно приближалась черная фигура. Знакомая.

— Дежуришь? — спросил Фомичев, подойдя.

— Ага.

— Узнал, кто такой этот Журанков?

— Нет. А ты?

— Нет. Как-то не у кого спросить, чтобы не получилось неловко.

— Во-во.

Помолчали. Фомичев тоже закурил. Сделал пару затяжек в молчании и вдруг затянул тихонько на мотив «О соли мио»:

— Как клёво шайнинг после тайфэн тайян...

— Погоди... — опешил Корховой. Мгновение переваривал, потом коротко хохотнул. — Это что, обещанная канцона по-китайски?

— Угу. Ну, не чисто конкретно по-китайски, а так... интернационально. В стиле Эры Встретившихся Рук. Помнишь Иван Антоныча?

— Погоди... Шайнинг — понятно... Тайфэн... А тайян — это солнце, да?

— Точно-с так-с.

— Слушай, а ты откуда по-ихнему сечешь?

— Ну, — Фомичев развел руками, — даже затрудняюсь ответить. На финско-китайской границе все спокойно. С миру по нитке, чайная мова нынче модная. Рука — шоу, башка — тоу...

— Слушай, а там еще, говорят, как-то тона подмяукивать надо...

— Мю-мю-мю, — с готовностью спел Фомичев.

Они обменялись ухмыляющимися взглядами, а потом, не стовариваясь и от избытка чувств даже поматывая в унисон головами, затянули хором, как два мартовских кота:

— О тайян! О тайян мио!

Свет в номере Журанкова погас.

— Ага, — сказал Фомичев. — Услыхала. Сейчас цветок нам кинет. Сквозь чугунные перилы ножку чудную продень...

Интересно, подумал Корховой, ощущая ледяную непреодолимую решимость разобраться до конца. Это может, подумал он, означать одно из двух. Он отбросил окурок.

— Пошли? — предложил он, стараясь казаться спокойным. — Утро уж скоро...

— Пошли, — согласился Фомичев.

Распрощавшись с другом у дверей фомичевского номера, Корховой, громко топая и продолжая вполголоса напевать «О тайян», двинулся было по направлению к своему, а потом резко умолк и, развернувшись, мягким и почти бесшумным скоком устремился к номеру Наташки.

Опять замер, прислушиваясь. Тихо. Неужели ее там нет, неужели у Журанкова осталась? Свет погасили, и... Невероятно. Уже совсем не соображая, что делает, он поднял руку и костяшками пальцев постучал.

Дверь открылась так быстро и легко, словно Наташка ждала.

В номере ее горела настольная лампа, и на столе стоял включенный ноутбук. И уже был набит какой-то текст.

— Привет, — сказала Наташка.

Ни удивления, ни тем более досады не проступило на ее лице. Отстраненная приятельская приветливость, точно они расстались пять минут назад — скажем, он отошел кофейку испить. Ушел, теперь опять пришел. Тоже наверняка не больше чем на пять минут. А лучше бы на четыре.

И ни малейшей усталости...

Корховой ошалело улыбнулся.

— Привет, — промямлил он, понятия не имея, как продолжать.

— Ты трезвый?

Вспомнила даже позаботиться. И тоже отстраненно. Так старушек через дорогу переводят. Сделал доброе дело и побежал по своим делам, и забыл про трясущуюся каргу с авоськой уже через полминуты.

— Ага. А-а... А чего ты узнала интересного?

— Завтра расскажу.

— Ну, тогда и я тебе завтра расскажу. Тоже интересное. А сейчас вот чего... — Тут его осенило. — Мы с Фомичевым замазались, что ты иероглифы знаешь. Китайские, типа.

— Знаю кой-какие.

— Напиши мне иероглиф «сердце».

Даже тут она, похоже, совсем не удивилась.

— Вот прямо в четыре утра?

— Ага. Чтоб лучше спалось.

Она мягко улыбнулась.

— Легко. Да ты зайди...

Он нерешительно шагнул в комнату — и от избытка предупредительности, чтобы, не дай бог, не скомпрометировать даму, даже не закрыл дверь в спящий, заполненный плотной тишиной коридор. Наташка вынула из ящика стола папку, из папки лист бумаги, взяла ручку и какими-то странными, нездешними движениями — то плавными, то отрывистыми — быстро уложила на бумагу несколько линий. С материнской улыбкой протянула лист Корховому. Тот взглянул. На листе красовалась какая-то здоровенная калоша — малость наклонная, будто кто-то нарочно ударил носком в невидимую грязь; а

из-под калоши в стороны разлетались три брызги, одна вверх, одна вперед, одна назад.

— Круто, — сказал Корховой с уважением. — Только вот проверить я все равно не могу...

— Не сомневайся. Я не вру. Спи спокойно. А я еще поработаю.

— Ну ты сильна, мать.

— Спокойной ночи, — с кроткой настойчивостью проговорила она.

— Черт, да кто этот Журанков все-таки?

Она чуть помедлила, прежде чем ответить. Задумчиво сказала:

— Беззащитный гений...

Корховой несколько мгновений вглядывался в ее лицо, но по нему ничего нельзя было понять. Просто женщина хотела еще поработать, вот и все. И терпеливо ждала, когда друг наконец уйдет и даст ей такую возможность.

— Спокойной ночи, — сказал он, повернулся и пошел к себе. Непонятное сердце парусом ходило в его руке и с каждым взмахом меняло галсы.

ГЛАВА 3

Я, брат, Родину люблю

Отчим достал.

Насчет равенства наций тереть — любимая ботва. Но при этом конкретно наши все корыстолюбцы и жестокие преступники, а ихние все бескорыстные правдоискатели и беззащитные гуманисты. Кто за русских — тот красно-коричневый реваншист, кто против — тот восстанавливает справедливость, поруганную тоталитаризмом и террором. Русского на работу не взяли — правильно, тупой. Черного не

взяли — фашизм. Наших в какой-нибудь бывшей братской республике порезали — ах-ах, людей, конечно, жаль, но вообще-то несчастных бандитов вполне можно понять, мы перед ними пять веков виноваты и не каемся, носы задираем, не признаем в них равных себе и норовим в колонию превратить. У нас кого-нибудь из гастарбайтеров порезали — о звери, о эсэсовцы! Нашим кричат «Чемодан-вокзал-Россия!» и вышвыривают из домов — правильно, у нас есть собственная страна, а если мы не хотим на Родину, значит, во-первых, она уродская и мы сами это чуем, а во-вторых, если уж тебе лучше в чужой стране, так забудь о том, что ты русский, становись как те. У нас кого-то из нелегалов депортировали назад — какая жестокость, какое надругательство над правами человека, он виноват лишь в том, что хотел жить там, где ему хочется, и так, как ему хочется! От нас чего-то хотят — надо немедленно и безвозмездно дать, хватит унижать малые беззащитные народы и кичиться своей особенной гордостью, пора, в конце концов, продемонстрировать добрую волю. Нам чего-то надо — обойдетесь, вам вообще ничего не надо, вашего тут ничего нет и не было, все равно вам прок не пойдет, что вам ни дай — разворуете.

А, кстати, попробуй и впрямь вора возьми за шкуру — разжигание шовинизма, провокация властей, атака на капитал, вечное российское неуважение к собственности.

Ну чисто больной на всю голову.

И, главное, в нашей же стране за это в бабках просто купается. Во всяком случае — сравнительно. У пацанов из класса родители, если кто на заводе или в институте каком — так ведь заплата на заплате, чирики считают.

Года три назад, может, даже два — трудно ска-

зять, когда глаза начали открываться, — Вовка этого еще не понимал. В детстве все воспринимается как единственно нормальное. Только чувствовал, что скучно. И мама стала какая-то скучная. Раньше — он помнил смутно, и с каждым годом, жаль, все смутнее — они с батькой по вечерам болтали о том, о сем, обо всем; смеялись, стихи даже читали, Вовке особенно нравилось про бегуна... теперь уж и не вспомнить ни слова — типа про бегуна, и все. Сейчас она с отчимом если и разговаривает, то как-то все время по делу. Что купить, куда поехать, с кем встретиться... Повестка дня, а не разговор. Бюджет в третьем чтении.

И ему с ними говорить не о чем. Он это уже тогда, три года назад, начал чувствовать. Невозможно же с мамой в пятнадцать беседовать о том, о чем в десять, — какой шарфик надеть, яблочко съесть или грушку, замерз или не замерз, или вот я какой молодец — прокатился на лыжах с горки и не упал... А с Валенсием ну просто тоска.

Они-то все валили на переходный возраст. Как будто у человека можно хоть один год найти в жизни не переходный! Но в какой-то момент родакам становится невозможно держать власть одними только «надо» или «нельзя», а надо хоть как-то объяснять, почему надо и почему нельзя. Убедил — победил. Не убедил — извини. И Валенсий взялся убеждать, видно, очень хотел, чтобы и у Вовки мозги вывихнулись, как у него самого. Объяснять он любил. Ох, как рот откроет... Туши свет, кидай гранату.

А то еще придут какие-нибудь его коллеги или, ваще шмуздец, иностранцы из цивилизованных стран. Почему это в дикой России до сих пор пидоросня и прочая дрянь не в чести? Отклонения от нормы надо пропагандировать как можно шире,

чтобы извращенцев не третировали, а уважали. Норма есть торжество серости, норма есть питательная среда тоталитаризма. Уважительное отношение к сексуальным меньшинствам — главный признак цивилизованности общества...

Ага. Через улицу напротив школы дом гниет, три года назад признали аварийным, назначили к сносу, да так и забыли, вода из кранов не течет, люди на цыпочках ходят — боятся вместе с полом к соседям рухнуть; а в подвале чуть не полсотни пацанов и девок бездомных ютятся с крысаками в обнимку, уже и говорить разучились почти. Каждый день со стариками на помойках дерутся — за объедки. Это нормально. А вот если пидорам не лизать — мало цивилизации, Европа не полюбит.

А почему наркотики до сих пор не разрешены? Это же вопиющее нарушение прав человека! Это только усугубляет скрытую наркоманию!

О, сокрушался в ответ Валенсий, я и сам предпочел бы, чтобы Россия была маленькой страной, ведь жить в стране размером с Люксембург не в пример приятнее, у нее просто в принципе не может быть наших имперских амбиций, столь губительных для свобод... И это взрослый? А спроси его: ну, ладно, хорошо, выстрижем вокруг Москвы Люксембург, а вся остальная земля кому достанется? И кто на ней будет заправлять? Оккупационные власти, кейфор очередной? И что там будет с нашими? Как в Чуркистанах — начнут из домов вышвыривать? Гуманист хренов... Умным себя считает.

Чисто маньяк.

Ну да, скажи попробуй — он и так чуть что вспоминает какую-то карательную психиатрию. При коммуниках, говорит, чуть кто начинал думать не как положено — его сразу сажали в психушку и там

мучили, а диагноз ставили: патологическая ненависть к Советской власти. Сначала Вовка тех, кого так вот лечили принудительно, жалел, а потом и сам не заметил, как ему от бесконечных отчимовых сетований и самому стало закрадываться: нет, ну ведь, похоже, и впрямь маньяки.

И, главное, сами-то они диагнозы всем ставят — только держись! Иван Грозный — садист, Ленин — циклотимик какой-то, Сталин — параноик... Только они сами — на все шары нормальные.

На самом деле для них, теперешних, кто на бабки не подсел — тот и псих, и по нему дурка плачет. А сами-то здоровы только бабло считать, в глазах — одни нули.

Почему-то вот у тех больных ума хватало, чтобы страна укреплялась: Грозный Казань и Астрахань взял, и только когда вся Европа на него навалилась — не сдюжил, Сталин немцев победил и пол-Европы по струнке поставил; а этих умных и целиком нормальных хватает только разваливать все на хрен и тырить, что не успели стырить те, кто уже насосался и свалил. Жуть представить, что бы было, если б и впрямь они пришли к власти, да не украдкой, вполсилы, как при Пьяном Хряке, а всерьез. Они бы всех несогласных не то что пересажали, а просто в землю вогнали по ноздри, видно же: чуть им кто слово против — тот с ходу фашист, и весь сказ.

Вот дама какая-то из Сорбонны. Валенсий Вовке прямо сказал: редкая умница, ты послушай, мальчик, послушай... только в разговор не встречай... Вовка послушал. Ага. Главное сегодня — демонтировать остатки советских структур: бесплатное образование, здравоохранение... И только тогда возникнет подлинное равенство: кто может платить — тот будет платить, а кто не может — то и не надо ему.

★ Единство критериев, понятные и общие для всех правила игры — основа демократии.

Бесплатное образование — лицемерие, ведь отбор производится согласно тайным привилегиям. Типа диких рабоче-крестьянских детей зачем-то принимали, хотя им бы только водку пить.

А если за бабосы, все честно. Лишние даже не отсвечивают. Ни один из деревни, от станка или армейских кровей в вуз не попадет, во как хорошо! Полная преемственность власти.

Или еще подлей было, горячилась дама: по национальному признаку. И тогда евреям нигде нет ходу. Покажите мне хоть одного еврея, получившего высшее образование при СССР!

Блин, Вовка так и знал, что про обиженных евреев — всегда в тему. Если уж интеллигентная Европа наехала, так про русский генетический антисемитизм не потереть просто западло, не по правилам. Типа как в футболе бегать по полю втупаря, забыв про мяч.

В итоге отчимовых и вообще демократических охов и ахов картина рисовалась на самом деле такая. Была замечательная, могучая, добрая и бескорыстная страна — Советский Союз. Вроде Атлантиды. Лучше ее в мире нет и не было. На нее ополчились со всего мира торгаши. Советская власть — жаль, Вовка ее не застал — была последней на планете властью в интересах народа. Настоящего народа, который страну создал и держал, а не разжиревшего жулья и пришлой шелупони. Пустите нас в домик одну лапку погреть... Ой, пустите нас в домик все лапки погреть... Ой, да это ж наш домик! Ой, да это ж сразу много независимых домиков, и все наши!

Жулье и шелупонь общими усилиями страну и развалили. Потому теперь и несут ее по всем кочкам при всяком удобном случае — чтобы их почитали ге-

роями и не задумывались: а зачем, собственно? То там было не так, это не этак... Кто круче всех Союз обгадит — тому самый крутой гонорар.

И ведь интересно, с пацанами из класса с кем ни поговоришь — того же мнения. Ну, с мелкими вариантами. Если, конечно, человек вообще о чем-то задумывается, кроме как про пиво и телок, или на чем-то конкретном не съехал: на байках типа, или на гробах трахаться, или на каком-нибудь экстриме; у тех вообще любимое словцо «забей».

А теперь уже ничего не вернешь, не поправишь.

Взросляки все либо порушили, либо продали. И в открытую друг перед другом похваляются, как они это ловко и, блин, не без выгоды провернули.

Вообще-то Вовка одно время начал подозревать, что ему просто мозгов не хватает разобраться во всех этих взрослых безумствах. Кто от души, а кто врет за бабло. Тайком от отчима он — чтоб тот не начал еще и советы советовать, что именно прочесть и к какому сроку, — попробовал несколько книжек полистать из огромной отчимовой библиотеки.

Так просто смех. Книжек — полон самосвал, а будто одним человеком писано.

Коварные православные византийцы были многовековой реакционной угрозой для всей прогрессивно развивающейся Европы, а как византийцев снесли чурки, так эта ужасная функция перешла к коварным православным москвитам.

Темный Александр Невский, вместо того чтобы подчиниться тевтонскому ордену и воспринять культуру, свободу, демократию и католицизм, — на тевтонов напал, а перед дикими татарами с восторгом встал рачком.

Европейцы нам по врожденной своей заботливости Лжедмитрия посадили — доброго, честного,

справедливого, наивного, как все замечательные люди; он всех прощал и всем хотел только добра. Он вместе с Польшей старался, чтобы мы вошли в европейский дом. А мы, уроды, Лжедмитрием из пушки стрельнули.

Умный и принципиальный Петр Третий прямо сказал, что править такой мерзкой страной ему зазорно и лучше бы ее просто прекратить, чтоб не мучилась. А Екатерина с любовниками его вместо этого убила и начала грозить Европе, и Крым отняла у Украины. Или у кого-то там... Отняла, в общем.

Особенно Вовку достало — честно хотел ума набраться, разбираться пытался, пока никто не видит, — когда попробовал он штудировать потщательней, посмотреть, на кого ссылаются, откуда какие сведения взяты... Ну, волосы же дыбом встают. Здоровенный труд про то, что Россия такая, как она есть, на самом деле — неправильная, а правильная должна была возникнуть из Литвы. Тогда все было бы хорошо, и сейчас мы все были бы счастливы. Ну зашибись, какое полезное чтение! И обзор источников — страниц на двадцать. И автор прямо говорит: все русские источники он отмечает, потому что они предвзятые, только приукрашивают русскую политику и русские деяния, замалчивают всю срамоту, а вот польские источники абсолютно заслуживают доверия, они объективны по самые помидоры, ибо причин для искажения исторических фактов у поляков нету, и на этих-то достоверных сведениях мы и будем основывать наши построения.

Блин, две страны воюют то и дело, а если не воюют, то уж гадят дружка дружке наперебой, и вот одна из них, ясен пень, на соперника вешает всех собак и только себя хвалит, а другая почему-то говорит чистую объективную правду!

Ну это же либо у человека совести нет и он даже не слышал про такое слово, либо вправду — маньяк, мозги ему с детства вынесло, и лечить его надо, а не книжки его издавать.

Уж казалось бы — взял дюдик почитать с дальней полки. Дюдик! Отдохнуть! Не такой уж старый — девяносто пятого года издания. Валенсий вечно долбит, что тогда был наивысший расцвет демократии в России.

Ага. В Буденновске.

Так даже в дюдике про то, как убить президента, послесловие этой... как ее... Новодворской. Блин, черным по белому, без зазрения совести: косную, отупевшую, отсталую страну надо подвергнуть висекции, а лишних, нежизнеспособных вне социализма, убрать! Или: народ запросто может демократически избрать чуму или холеру, но это не означает легитимности избранной власти, а лишь свидетельствует о слабоумии избирателей. Или вот, слово в слово: замызганное и зачуханное, забубенное большинство вынесет любую тиранию за миску баланды и пайку ради того, чтобы никто другой, на него не похожий (умный, сильный, свободный), не имел «Тойоты», виллы и честно купленной икры...

Предел мечтаний, ага! Смысл жизни!

Умный, сильный, свободный... И все у него — ради икры, ага.

Блин, ну не въехать: если большинство — это слабоумное быдло (то есть опять же психи, без этой лайбы никуда) и оно всегда не право, то что такое тогда ихняя демократия, про которую они же всю плешь проели? Получается: диктатура горстки тех, кто продался, и террор против всех остальных, кто не успел честно (ха-ха!) купить виллу с икрой?

Больше Вовка и не стал время изводить на отчи-
мовы залежи премудрости.

Надо же столько места в доме занять под бумаж-
ный хлам! Одной книжки бы хватило, даже одной
страницы: русские — говно. Повесил бы как слоган
на стену в кабинете и пялился б неотрывно с утра до
вечера, весь свой напряженный, на пределе могоуче-
го интеллекта, рабочий день.

И при том гордится, что он — крутой антифа-
шист!

Ну не дурдом?

Потолкался Вовка потом у лотков, лотки-то ло-
мятся. Понятно, что Валенсий макулатуру по себе
подбирал — он же умный, а зачем умному читать
тех, кто с ним не согласен; это ж только дураки, не
имеющие собственных убеждений, считают своим
долгом с разными точками зрения знакомиться. Но
ведь на лотках-то всякое можно найти.

Да, но поди-ка узнай заранее, что под какой облож-
кой спрятано. купишь — а вдруг там в сотый раз про
то, что злые русские на всех напали и поработили?

Так у нас такого и без шопинга полна жопа огур-
цов.

Словом, Вовка бы просто пропал, если бы не по-
знакомился с одним человеком. Тот, наверное, к
нему присматривался, как он у лотков-то изо дня в
день рыщет и ни на что решиться не может, — и на-
чалось с книг. Вот это действительно были книги!

Уже первая Вовку покорила — и определила его
путь, он тогда был уверен, навсегда.

«Сейчас детей гноят в скучных школах, снабжая
их мозги и память насильно на хер не нужной нико-
му пылью. Образование станет коротким и будет
иным. Мальчиков и девочек будут учить стрелять из
гранатометов, прыгать с вертолетов, осажда-ть де-

ревни и города, понимать красоту синей степи и рыжих гор. И всю мерзость бетонных бараков в снегах, мерзость московских спальных районов».

Это было бы весело! Как это было бы, блин, весело!

«Никаких алгебр, тригонометрий, математик, физик и других отвлеченных, никогда не пригуждающихся дисциплин преподавать детям не будем. Для хранения и передачи подобных отвлеченных знаний существуют ученые, это их работа. Ученых будет немного, и специальные знания будут ограничены несколькими небольшими высшими учебными заведениями».

Ну, таких ученых, как историки из отчимовой библиотеки, и впрямь бы в дурку, большего они не стоят. Паразиты.

«Семья — липкая, теплая навозная жижа. Семья, как чахотка, ослабляет человека, изнуряет своей картошкой с котлетами, своей бессильной беспомощностью. Хочется, чтоб отец был героем: чемпионом по боксу, революционером, генералом разведки, боевиком, ну, бандитом даже... Детям не за что уважать своих родителей («черепа» — красочно и точно называют их панки). В книгах и фильмах есть храбрые крутые герои. Были в начале века национал-социалисты, фашисты и большевики, они покорили вначале свои страны, а позднее и чужие. Они шли стройными рядами, красивые, в барабанном бое и шелесте знамен, молодые, и земля ложилась под них, как женщина, радостно...»

Храбрые, крутые, стройные, красивые.... Вовке казалось, что он это же самое уже читал недавно, чуть-чуть другими словами. Умные, сильные, свободные... Но было уж не вспомнить, где.

Редко когда Вовка запоминал фамилии авторов — какого хрена забивать память; запомнить бы

хоть суть того, что написано. Но вот здесь уж и стараться не надо было, память сама всосала, как губка: Лимонов...

Впрочем, тот парень, с которым Вовка познакомился на книжках, был не из нацболов. Славомир — так его звали, и был он всего-то лет на пять старше Вовки — объяснил, что Лимон и сам уже ссучился: то ли в маразм выпал с годами, то ли его чурки купили. Возлюбил, сказал Славомир, исламских прихвостней жидовни и сидит в одних президиумах то с мусликами, то с какой-нибудь валютной Хакамадой... Ну? А ты что, не знал, что ислам, как и христианство, произошел от того же иудаизма, и все это один и тот же сатанизм против русских богов? Вот и Лимон купился на жидовский лохотрон. Наперсточников помнишь? Так это тоже как три наперстка: под каким шарик? А ни под каким! Бдительность поэтому должна быть — ого-го! Нацболы — рекламная параша, часть путинской системы, чтобы было кем обывателей и заезжих обсешников пугать. А у нас своя команда. Небольшая. Зато прямого действия.

Сложен мир. И очень быстр. Просто-то разобраться трудно, а тут еще надо УСПЕВАТЬ разбираться! Мир тебе вводные подкидывает каждый день — а ты только хлебалом щелкаешь...

Теперь шмуздец настал щелчкам хлебалом. Все сделалось ясно.

Конечно, Валенсию Вовка ничего не говорил. Пошел он на хрен, урод, американская подтирка. Да и маме... Ну о чем с мамой говорить? Не простыл, не пьешь, не куришь — она и счастлива, а других тем для нее просто нет.

Не станешь же маме втолковывать, что пить и курить — это так же вредно, как еврейку или мусульманку трахнуть. Маму ж кондратий хватит.

А мусульманку или еврейку, между прочим, трахнуть — так же вредно, как пить и курить. Вовка это только недавно узнал, от новых друзей. Какие-то там сложные процессы в организме начинаются, гены как-то так перепутываются, что иммунитет слабеет, будто от СПИДа. Вовке трудно было представить, чтобы гены могли от одной палки сразу перепутаться — смолоду у него о генах и генетике совсем иные были представления... Но век живи — век учись. После того, как астрономы совершенно точно по затмениям доказали, что ни Греции с Римом, ни тем более всякого там Китая вовсе не было, а все это в Европе триста лет назад иезуиты и масоны насочиняли, чтобы доказать: русские вовсе не самая древняя и не самая мудрая нация на земле — так уже всему можно поверить, и про гены тоже.

А в школах так и учат до сих пор: Афины, мол, Спарта... Да еще и оценки ставят! Хорошо ли масонскую брехню вызубрил?

Разоружают народ идейно.

Нельзя сказать, чтобы Вовка был в полном восторге от новых товарищей. Те тоже с тараканами. Русских хотят спасти — а сами от Гитлера тащатся; а между прочим — он русских сгноить всех хотел. На самом-то деле, если бы Гитлер Вовке где-нибудь встретился, Вовка бы усатую сволочь придушил.

Да и эти их боевые тренировки и посвящения — гордо и смело всемером на одного... Не по-людски.

Но лучше-то нет! И что-то ж делать надо! Не стоять же на углу, раздавая листовки «Читай «Лимонку»! И уж не мусор же убирать, как малахольные «Наши»! Подумаешь, мусор. Его назавтра все равно опять накидают, вдвойне против убранного, да еще с удовольствием: вот, мол, дураки за нами подгребли, а мы, умные, опять... Не срач надо собирать, а

руки ломать тем, кто где жрет, там и срет. И уж простите, братья, невзирая на национальность. Вот тогда подействует.

А отчим знай себе кудахчет: ах-ах, кровавые спецслужбы опять без суда и следствия убили в горном лесу чеченского патриота арабского происхождения! Ах-ах, опять незаконная чиновничья атака на крупный бизнес! Ах-ах, народ это все одобряет! В стране скоро не останется ни одного мыслящего человека! Русский фашизм поднимает голову! Без всенародного покаяния опасность коричневой чумы никогда не будет преодолена!

А мама знай себе заботится: ты не голодный? Ох, опять где-то рукав порвал... Хочешь конфетку? Твои любимые, с вишенкой!

Однажды после политзанятия младший воевода Розмысл подозвал к себе Вовку.

— Хайль, старший брат.

— Хайль, брат послушник Володимир...

Вовку они тут не переименовали, только из Владимира Володимиром сделали на древнеславянский манер. Предварительно — на время послушания; потом дадут уже имя окончательное, языческое. А был бы он какой-нибудь Борис, сразу бы стал, например, Бориславом, чтобы с Борухом еврейским не было ни малейшей связи.

— Я с удовольствием слежу за тобой и твоими успехами, брат послушник. Ты — леп.

— Служу России, старший брат.

— Два малых посвящения ты прошел, нонича предстоит тебе третье. Последнее и главное, только для тех, кому суждена большая и широкая дорога.

Сердце подпрыгнуло, будто его огрели хлыстом; во рту стало сухо.

Розмысл сунулся в ящик своего стола и вынул

пистолет. Протянул его Вовке. Вовка благоговейно взял. Настоящий.

Тяжелый. Жесткий. С гравировкой: надпись «Слава России» и руническая свастика, наша, русская.

Пальцы не дрожали. Хорошо.

Кажется, наконец — дело.

— Здесь только два патрона, — сказал младший воевода. — Хватило бы и одного, не на бой кровавый я посылаю тебя, но... На всякий случай. Ибо говорят в народе: на грех и курица пернет. А народ зря не скажет, всякое случается... Дело тебе предстоит ответственное. Есть человек, жидовский прихвостень вдвойне. Был мусульманин, крестился в православие. Проповедует. Надо поведать ему, что не ждет его на сем пути удача. И немного попугать, коли начнет артачиться. Выстрелить ему под ноги, например... Или в ноги. Но крови я не требую, не нужна кровь пока. Главное, чтобы понял он: мы бдим, и воли ему не дадим.

— А он кто? — не выдержал Вовка.

Младший воевода погрозил ему пальцем.

— Все-то знать тебе надо, — с мягкой укоризной проговорил он. — А зачем? Что за разница тебе? Чурка он. Понял?

— Понял, — нехотя ответил Вовка.

— Вот этот брат пойдет с тобою и укажет врага, — сказал Розмысл.

Рядом с Розмыслом стоял, чуть улыбаясь, мужик лет двадцати пяти. Вовка знал его в лицо; тот был при старшем воеводе то ли порученцем, то ли советником, а то ли и тем, и другим сразу. Появлялся редко. До сей поры Вовка с ним не контактил, а каков он в деле — не знал. Но воеводе виднее.

Кому-то ж надо в жизни верить.

Уж не отчиму же.

— Как раз и подстрахует он тебя, ну да и мне после поведает, как ты себя проявил. Оружие ж будет у тебя в руках, и говорить с пришлым поганым ты будешь.

— А он пришлый? — не утерпел Вовка.

— Во времена советские изгнали его из страны нашей. А ноне вернулся. Ноне все стервятники возвращаются. Уму-разуму нас учить рвутся, недочеловеки. Хорошо бы так его пугнуть, чтобы спустить назад в Европу. Скажешь ему: не будет тебе на русской земле жизни, изыди!

Поначалу Вовку малость смешила речь братьев и особенно специфическое употребление некоторых вроде бы вполне обычных слов. Потом ему растолковали: все не случайно. Вот у евреев, например: кто в Израиль приехал — они говорят: поднялся, а кто из Израиля уехал — тот опустился. И международное сообщество ничего худого в том не усматривает, ни малейшего фашизма. Такие там права человека.

А тогда нам что? Если им можно? Всех, кому Европа любя, спустим в Европу, как в нужник, и заживем в чистоте...

Вовка придирчиво выщелкнул обойму (точно — два патрона). Подстукнул ее обратно. На тренировках он уже имел дело с «ПМ» и научился неплохо с ним управляться, даже вполне ловко. Лепо, так сказать.

Розмысл удалился, молча и небрежно вскинув руку в прощальном приветствии, и двое молодых братьев остались одни.

— Тебя как зовут? — неловко повременив, все же решился сам спросить Вовка, потому что ни Розмысл их друг другу не представил, ни новый товарищ не спешил себя назвать.

— Ярополк, — ответил тот. — Буду бдить за тобою яро...

И улыбнулся.

Ослепительно, как для фотографии в буржуйском ярком журнале. Чи-из хренов.

Вовка чуть набычился, куснул губу.

— Ты Родину любишь, брат? — спросил он.

Это было вопиющим нарушением субординации — все ж таки он поступил в распоряжение Ярополка, а не наоборот. Но тот все молчал да лыбился, тоже мне бдильщик.

— Люблю, брат, — ответил Ярополк.

Слишком легко ответил. Типа про пиво или мороженое.

Вовка бы так не смог.

Он вообще не знал, любит он Россию или нет. Иногда, за все ее несуразные художества, он ее буквально ненавидел.

Просто ему было за нее нестерпимо больно, а почему — бог весть.

— Пошли, — перестав улыбаться, сказал Ярополк. Странно перестал, не по-людски: будто его улыбку полминуты назад включили, а теперь выключили.

ГЛАВА 4

Лебединая песнь соловья

— Вы, пожалуйста, — сказал человек на сцене. Он был невысок, худ и жилист, и совершенно сед, с обветренным, коричневым лицом; и держался, одиноко сидя за столом с микрофонами, очень прямо. Так классные наездники держатся в седле, небрежно и уверенно придерживая поводья одной рукой.

Встал мужчина лет тридцати, очень официально одетый; похоже, не просто поклонник или зевака, но — пресса.

— Вы не были в России десять лет...

— Почти двенадцать.

— Тем более. Какие перемены к лучшему вам более всего бросились в глаза?

— Нищие стали одеваться лучше.

У официального сделалось ошеломленное и почти оскорбленное лицо, словно человек на сцене нарушил невесть кем установленные негласные правила игры. Брезгливо, с презрением скривив губы, он провалился в свое кресло.

Человек на сцене глянул в другую сторону зала.

— Пожалуйста, вы...

Корховой оглянулся. Встала весьма пожилая, старомодно и строго одетая женщина — явная интеллигентка старого замеса.

— Скажите, уважаемый Прохор Мустафович, почему вы так любите эпитафии? У вас ведь практически ни одной вещи нет без эпитафия...

Взгляд человека на сцене чуть потеплел.

— А я вас, кажется, помню. Вы в Ленинке работаете, верно?

Взоры зала ревниво скрестились на пожилой женщине. Та, похоже, была польщена, но постаралась сохранить невозмутимость; она явно не хотела, чтобы ее заподозрили в попытке продемонстрировать свою близость к именитой персоне. Она даже не ответила.

— Спасибо за вопрос, — подождав и не дождавшись, проговорил человек на сцене. — Я давно мечтал об этом кому-нибудь рассказать, да все к слову не приходилось... Дело в том, что книг написано чрезвычайно много. В них все уже сказано. И так

славно сказано! Но старых книг уже никто не читает. А новые иногда еще пролистывают. И вот я пишу то рассказ, то повесть, а то и целый роман только для того, чтобы кто-нибудь, кто будет меня читать, бросил мимолетный взгляд на великолепные строки, которые он нипочем бы не увидел, если бы не открыл на досуге Шигабутдинова. Понимаете? — Он улыбнулся, давая понять, что это в определенной мере и шутка, но и не шутка тоже. — Вот, скажем, из Тагора. Это следовало бы выучить наизусть всем, кто принимается, например, за благодетельные реформы... Или летит кого-то бомбить, чтобы наставить на путь истинный... «Нет! Не в твоей власти превратить почку в цветок! Сорви почку и развёрни ее — ты не в силах заставить ее распусться. Твое прикосновение загрязнит ее, ты разорвешь лепестки на части и рассеешь их в пыли...»

Он цитировал на память так легко, будто сам придумывал на ходу. Вот же башка у мужика, уважительно подумал Корховой.

— «Но не будет красок, не будет аромата. Не в твоей власти превратить почку в цветок. Тот, кто может раскрыть почку, делает это так просто...» Или вот из Пристли: «Мне всё казалось, что все мы тут давно уже перемерли, только позабыли об этом». Что еще писать, когда такое уже написано и опубликовано?

— Сколько я читала вас, — никак не хотела успокоиться пожилая библиотечарша, — все эти цитаты вами уже использованы. А к той вещи, которую вы сейчас пишете... или только что написали, но не успели опубликовать, ведь есть же такая, наверное... какой эпитафия?

— Да, есть такая. Как не быть. К ней эпитафия из Переса-Риверте. «Память дает тебе уверенность, ты

знаешь, кто ты и куда идешь. Или куда не идешь. А без нее ты предоставлен на милость первого встречного, который назовет тебя своим сыном или дочерью. Защищать память — значит защищать свободу».

Книжная дама удовлетворенно покивала, будто услышала именно то, что ей очень хотелось услышать, и опустила на свое место. И немедленно сам собой, без вызова свыше, вскочил молодой, до высокомерия уверенный в себе мужичок. Прежде, подумал Корховой, в таких безошибочно узнавали комсомольских руководителей среднего звена; теперь столь же безошибочно узнают среднего пошиба менеджеров.

Впрочем, Корховой был в очень дурном расположении духа и оттого язвителен не в меру. Жизнь повернулась к нему жирным задним фасадом.

— А не кажется ли вам, не уважаемый мной господин Шигабутдинов, что жевать сопли с сахаром, как вы в своих книжках, — удел тех, кто заблудился между СССР и современностью? Наше время — время успеха, и тем, кто живет в своем времени, все это не нужно и совершенно не интересно.

— Готов с вами согласиться, молодой человек, — не задумываясь, ответил седой на сцене; глаза его стали колючими и беспощадными. — Еще Екклесиаст советовал в дни радости веселиться, и только в дни печали — размышлять. Боюсь, однако, в одном мы с вами не сойдемся — в определении того, что есть успех.

Молодой хозяйчик был полон победоносного задора и не собирался отступать.

— И опять же ваше поколение нагородило тут сложностей на пустом месте. На самом деле все очень просто. Успех измеряется чисто количествен-

ными характеристиками. Больше денег, больше автомобилей, больше комфорта, больше электроэнергии, больше площади жилья... Чем больше всего — тем больше успех.

— То есть больше сгоревшей нефти, вырубленных лесов, сожженного кислорода, отравленной воды... Ведь так? Значит, получается, чем успешнее человек в вашем понимании — тем успешнее он превращает землю в пустыню и лишает ее будущего.

— Это все демагогия завистливых неудачников.

— Был еще один очень завистливый неудачник. Он учил: что проку тому, кто приобретет весь мир, а душе своей повредит?

— Это вы про Христа, что ли? — запальчиво и, как показалось Корховому, с подчеркнутым презрением уточнил хозяйчик жизни. — Забодали уже религией... Да если бы у него руки не из задницы росли, он бы стал нормальным плотником, как отец. И не пришлось бы зарабатывать на хлеб, изрекая благоглупости.

Провокатор, подумал Корховой. Эпатирует нарочно. Но, как видно, от души.

— И мы молились бы на рубанок, — спокойно ответил седой на сцене.

— Уж лучше на рубанок, чем на орудие казни. Рубанок, по крайней мере, символ труда.

— Труд, конечно, почетное дело, — согласился седой на сцене, — но иногда, молодой человек, встает вопрос о целях труда. Что ты делаешь своим рубанком — дом, гроб, приклад для винтовки? И вот когда заходит разговор о целях, тут без жевания сахарных соплей, как вы выразились, никак не обойтись.

— Это вам не обойтись. А все опять-таки очень просто: цель труда — увеличение личного благосос-

тояния. Когда все будут работать и добиваться успеха — тогда-то всем и станет хорошо.

Зал, заскучав от этой схватки, начал урчать, как голодный желудок, — сперва украдкой, затем в своем праве. Седой не обращал на ропот внимания, хозяйчик — тем более. Он теперь просто не мог уступить, слишком далеко все зашло.

— Изготовители взрывчатых веществ действительно могут сильно поднять свое благосостояние, продавая продукцию труда террористам, — но как бы их самих не зацепило взрывами.

— Просто надо тщательней выбирать покупателей.

— По каким критериям?

— Ну... э...

— У вас получается — исключительно по критерию цены. Но убийцы и грабители в этом смысле всегда будут самыми выгодными покупателями, потому что деньги даются им легче и они в состоянии предлагать лучшую цену. Тогда, если все пойдет по-вашему, скоро получится, что все люди труда станут трудиться исключительно на преступников.

— Это софистика! — крикнул хозяйчик.

— Ну, разумеется. Все то софистика, чего не понимает Митрофанушка... Садитесь, наша пикировка уже надоела почтенной публике.

Не сказать, что зал Центрального дома литераторов был переполнен. Прошли те времена, когда вольнодумные беллетристы собирали стадионы — но по нынешним меркам народу подтянулось на редкость немало. Действительно, интересный мужик, с уважением констатировал Корховой уже в третий или даже четвертый раз. Вот в ком чувствуется сила преодолевать превратности судьбы. Вот с кого брать пример...

Зная биографию Шигабутдинова, невольно хотелось спеть песенку Бекаса из советского кинохита про резидента. «Надышался я пылью заморских дорог — где не пахли цветы, не блестела луна...» В конце Совдепа писатель Шигабутдинов, уже тогда известный на Западе, а рикошетом от Запада — и на Родине, сел как татарский националист. В начале девяностых вышел и, ошпаренный, стремглав свалил за кордон — как обожженную руку отдернул. За кордоном ему, однако, тоже не прилегло. Надышавшись европейской пылью, принял православие, стал из нормального Юнуса Мустафовича умопомрачительным Прохором Мустафовичем и вот вернулся. И все это время продолжал писать — умно, хлестко, поэтично... Несколько элитарно, конечно, — ну так не сериалы ж ему было наяривать при его-то неумной неспособности быть таким, как надо. Носились с ним в Европах поначалу, ясное дело, как с писаной торбой, потом помаленьку перестали. После его последней вышедшей в Париже книги флегматичные тамошние интеллектуалы просто-таки перестали его замечать, а интеллектуалы темпераментные принялись наперебой обвинять в том, что он продался Кремлю.

А он был искренним. Корховой с удовольствием читал практически все его книги и статьи — и это чувствовал. Он был искренним и когда шел в лагерь за то, что русские поработили и растлили его многострадальный народ и расхитили его природные богатства, и когда из Англии срывался оттого, что Россия — светоч современности, оплот дружбы народов и взаимопроникновения культур, и за ней будущее, и надо успеть ей об этом сказать, пока она не потеряла под натиском Запада понимания своей роли.

Этот по-настоящему свободный человек жил по совести и потому шел сквозь все тяготы, как вода сквозь марлю. И без малейшей оглядки на дядю. И на тетю; наверное, потому и не женился — чтобы не подвергать никого, кроме себя, превратностям... И не унывал, несмотря ни на что. Лагерь? О, как интересно! Уайт-холл? Тоже ничего!

А над Корховым судьба посмеялась.

Он, кому первому было сделано удивительное, звездное предложение участвовать в программе «Журналист в космосе», он, благодаря чьему ходатайству и посредничеству то же предложение наутро получили Фомичев и Наташка, — он, здоровяк, русский богатырь, оказался непригоден по здоровью! Его отбраковали с ходу, да как! Как унижительно!

Даже рассказать, в сущности, никому нельзя!

«Вы, наверное, очень много пьете... — обескураженно проговорил врач. И затем, вероятно, чтобы как-то смягчить слишком резко прозвучавшую формулировку, поправился неубедительно: — Или, возможно, раньше пили...»

Вот тебе, бабушка, и реликтовое излучение, вот тебе разом Новые и Сверхновые, белые карлики и голубые гиганты. Красное пятно и Крабовидная туманность. Астероиды и гуманоиды в одном флаконе!

В сухом остатке: Фомичев и Наташка успешно прошли предварительный отбор и, того гляди, официально отъедут в Звездный на тренировки, а он — ку-ку, Мария! Сиди в Москве, пиши вприглядку!

Издевательство.

Зачем тебе теперь мышцы, зачем рост и косая сажень плеч, Корховой?

Тем более — он почти сразу понял, что такой расклад, вдобавок ко всему, надежнейшим образом обеспечит полный и долгий отрыв от него Наташки.

А свято место пусто не бывает. Просто, как вымя: отсутствующий не имеет шансов. К тому же этот красивый и беззащитный гений Журанков наверняка окажется где-нибудь от нее поблизости просто по службе — и, хотя пока никакого криминала между ними Корховому выявить не удалось, понятно было, что тот на Наташку некое впечатление произвел; а, лиха беда начало...

И теперь Корховой смотрел на небольшого, но замешанного на редкость густо седого человека, закаленного прожитой согласно собственным убеждениям жизнью до твердости стального стержня, и думал: ну, ничего.

А в душе свербело: да, но татарин-то, потомок Чингисхана самодостаточный, в тюрьму шел за убеждения, а за что на земную тюрьму обречен я?

За лишнюю рюмку, ни хрена себе, пельмешечка! Анекдот же!!!

И Наташки нет рядом. Полный мрак.

— Вы, пожалуйста, — сказал Шигабутдинов со сцены.

Поднялся молодой парень и вдруг неожиданно густым басом сообщил всему залу:

— Бисмилла иррахман иррахим!

Корховой от неожиданности слегка дернулся в кресле — и, вероятно, не он один. То, что многими людьми все делается и говорится во имя Аллаха милостивого и милосердного, давно не новость для любого россиянина, но когда это публично и этак вот атакующе заявляет очевидно русский юнец, невольно закрадывается мысль о демонстрации.

Шигабутдинов, не растерявшись ни на миг, что-то очень ладно ответил нараспев то ли по-арабски, то ли по-татарски — Корховой не понял, разумеется, и даже не смог бы воспроизвести. Судя по на миг

поплывшему лицу парня, он — тоже. Но неофит не дал себя смутить, он явно шел на важное дело, хотя главное, судя по всему, уже объявил: он — не одинок в этом мире, как, может быть, кто-то мог подумать; с ним, за ним — вся умма.

Забавно. Как вещал изгрызенный комплексами и оттого взалкавший стать незаменимо нужным общему делу Маяковский: «Единица! Кому она нужна? Голос единицы тоньше писка... А если в партию сгрудились малые — сдайся, враг, замри и ляг! Партия — рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак...» Человек по природе своей не меняется от поколения к поколению. Просто мезозой кончился: динозавры вовсе вымерли, а стрекозы из трехметровых сухо гремящих крыльями чудищ стали фитюлечками, невесомо брызжущими туда-сюда в поисках мелкого прокорма. Партии тоже. Приход, расход, избирком... Единицы, желающие добрать силушки, кучкуются ныне по иным углам. В ислам, например, потянулись — им из новостных лент мнится, что у ислама это есть, как ни у кого: сдайся, враг... И, попавши к нормальным, неэффективным мусульманам — которые только молятся по-своему и питаются малость наособицу, а живут, работают и детей любят, как обычные люди, а то и, не ровен час, добросовестней, — недоумевают и даже чувствуют себя подло обманутыми в лучших чувствах: это ж ненастоящие, это зажиревшие, купленные режимом мусульмане! Дайте нам настоящих, сжатых в громящий кулак!

Ну, и залетают, как юная стихоплетка, уверенная, что если с мужиком лечь — никаких иных последствий, кроме как от новых ярких чувств амфибрахий пуще разовьется...

— Вы, этнический мусульманин, — на вполне

аутентичном русском наречии непримиримо начал юнец, — никогда, судя по вашим произведениям, не были одухотворены религиозными вопросами. И вдруг непосредственно перед возвращением в Россию вы принимаете православие. Несомненно, это сделано вами не столько по велению вашего внутреннего имама, сколько по политическим, я бы даже рискнул предположить, — патриотическим соображениям. В связи с этим у меня два вопроса. Первый: был ли это чисто рациональный, конформистский выбор, или вы и впрямь обрели некий духовный мистический опыт, толкнувший вас в объятия рясофоров? И второй: как вы полагаете — может ли гражданин России из патриотических соображений принять ислам? Благодарю вас.

И он сел на место, ни на кого не глядя и задрал подбородок.

Седой, но твердый принцип самоопределения вплоть до полного отделения, для разнообразия принявший вид пожилого человека по фамилии Шигабутдинов, лишь чуть улыбнулся на сцене. Так мог бы улыбнуться греющийся на солнышке близ любимой чинары, посаженной им лично на берегу арыка чуть ли не век назад, мудрый мусульманский дед, рассеянно отметив, что его двенадцатый внук, сын пятого сына от младшей жены, маленько опрудился.

По залу пробежал ироничный смешок. На парня оглядывались, кривясь. Безликий зал, наверняка конформистами битком набитый, был куда более непримирим и жесток к непохожему, чем тот, кто полвека приспособлялся к жизни разве что так, как бур приспособляется к прогрызаемым породам. Парень по-прежнему гордо смотрел прямо перед собой и не обращал на зал ни малейшего внимания.

— Как этнический мусульманин, — Шигабутдинов дал понять, что он на самом деле думает относительно этого убогого, отдававшего, как ни крути, национализмом термина, — проживший все детство и всю молодость среди мусульман столь же этнических, а зачастую и вполне идеологических, могу вас заверить: среди них всегда было не меньше по-сыновьи относящихся к России людей, чем и среди прочих иных конфессий. В конце концов, и организаторы ГУЛАГа были не мусульмане, и те, кто на блюдечке с голубой каемочкой поднес СССР его геополитическим конкурентам, — тоже.

Другое дело — вхождение в конфессию теперь. Тут угадываются два мотива. Либо преданность малой родине, преимущественно мусульманской по вероисповеданию, при которой остальная Россия неизбежно воспринимается не более чем питательной средой. Либо преданность оказывается скорее, так сказать, туранской, а преданность России обещается, лишь если та станет исламизированной частью единого исламского мира. В обоих вариантах получается, что Россию как таковую надлежит для пользы либо входящей в Россию малой родины, либо, наоборот, интегрировавшего Россию Турана, доить в хвост и в гриву. То есть преданности России как таковой как раз и не получается. Не симпатично. Честно скажу: мне куда милее тяготение к исламской культуре из тех, например, соображений, что мусульманские дети весьма почтительны к родителям, а родители — весьма доброжелательны к детям. Из нынешних ток-шоу то и дело на всю страну слышишь: я ничего не должен родителям, ведь я свободный самостоятельный человек! Правда, родители мне должны то и то, да к тому же не смогли дать мне того и того, и вдобавок запрещают, старые

ослы, это и это... Им на меня плевать совсем! Они меня достали своей заботой! Но видели вы когда-нибудь, чтобы такое заявляли дети мусульман? Нет. Поэтому и с рождаемостью у них нет проблем. Мусульманин знает, что рождает себе не палачей, а помощников, не могильщиков, а опору под старость. Люди не боятся детей, а рады им. Есть чему поучиться. Но только патриотизм сюда лучше не вмешивать.

— То есть ваш выбор был исключительно политическим! — выкрикнул, не вставая, парень.

— Мой выбор был исключительно личным, — ответил Шигабутдинов.

— Тогда скажите, — никак не мог получить удовлетворения неофит, — как вы относитесь к идее восстановления Крымско-Татарской автономии?

Шигабутдинов чуть нахмурил брови, словно не понимая вопроса. И даже чуть пожал плечами. Он все делал чуть — но это «чуть» много стоило. Есть люди, которые чем тише говорят — тем их слышнее; он был из их числа. Лагерная закваска, наверное, с завистью подумал Корховой. Эх, я не застал...

— Крым — российская земля, — сказал Шигабутдинов, — а один Татарстан, слава богу, в России уже есть. Зачем второй?

Зал зашуршал и зажужжал. Точно с улья сняли крышку, чтобы взглядеться в его подлинную суть.

Ну, мужик, восхищенно думал Корховой, вслушиваясь в горячо раскатившийся местами возмущенный, местами восторженный гул. Кремень. На него молиться будут везде, и бить его будут везде нещадно. А просвещенные весь век хихикали: поскреби русского — увидишь татарина...

Это они от зависти!

Когда народ потянулся на выход, фаршем выдавливаясь сквозь двери зала в фойе, оживление сдела-

лось однозначным, кто-то громко обсуждал меня. «Все, наверное, сейчас по коньяку вмажут, — подумал Корховой. — Не здесь, так дома!

А я буду сок пить. И ничего, сок очень вкусен и полезен. В нем даже есть свое очарование».

Есть упоение в бою и рюмки полной на краю.

Шигабутдинов некоторое время величаво сидел на своей высоте, глядя на нижнюю суету, и, лишь когда зал опустел, встал; продолжая держать спину прямо, как обходящий строй маршал, неторопливо двинулся к свободе. Корховой устремился ему наперерез.

— Уважаемый Прохор Мустафович, — позвал Корховой, предупредительно наклоняясь. Несгибаемый воин истины хоть и держался, как металлический штырь, был Корховому где-то по плечо.

— Да?

— Меня зовут Степан Корховой, я журналист и хотел бы, если вы не очень устали, поговорить с вами чуть более обстоятельно. Не так вразброс, а по двум-трем совершенно конкретным, но важным темам.

— Устал? — сыромятный татарин лишь чуть улыбнулся. — Нет, я не устал. Но что я могу еще сказать?

— Полагаю, немало, — улыбнулся Корховой.

— Говорить-то я могу много, что правда, то правда, — сказал Шигабутдинов, и сейчас, в разговоре один на один, в нем совсем не было ни снисходительности, ни величавости. Просто товарищ, только возрастом постарше. — Но вам-то что надобно?

— Мне? Трудно в двух словах...

— Намекаете, что надо где-то присесть? Но, простите, мне нужно домой, у меня еще есть дела, потом сборы, завтра я уже улетаю в Казань... Там мне тоже

будут, я полагаю, вставлять разом во все отверстия и розы, и тернии.

— Домой? У вас уже дом в Москве?

— О, это фигура речи... Старые друзья пустили перекантоваться. Сами они на даче...

— Если позволите, я вас провожу. По дороге и поговорим... Это далеко?

— Напротив, совсем недалеко, на Хлебном. Пешком дойдем, если вы не против, Степан... э...

— Антонович.

— Степан Антонович. А вам не нужно разве... ну... магнитофон...

— Это не интервью. Это... Еще не могу точно назвать вам жанр, честное слово. Портрет в интерьере. У меня вопросов-то почти не было приготовлено, всего два, и третий уже тут в голову пришел.

Они спустились на первый этаж, миновали строгий, старосоветского еще пошиба вестибюль, облепленный афишами, и вышли на Никитскую. Погода и впрямь располагала к прогулке. Корховой немножко стеснялся, но скоро привык: Шигабутдинов то ли умел, когда хотел, сразу располагать к себе, то ли это тоже было у него врожденное. Неподдельная приветливость ко всем — обратная сторона полной внутренней свободы. Если ты не боишься, что собеседник тебе навяжет что-то — стиль поведения, прогулку, тему разговора, лишнюю рюмку, что угодно, если ты точно знаешь, уверен по долгому опыту, что будешь делать лишь то, чего сам захочешь, а если не захочешь — никакая сила, никакой политес и никакое давление тебя не заставят исказить себя, то и не страшен тебе никто. Ни враги, ни друзья, ни случайные собеседники...

Карнеги писал когда-то: отчего мы так любим смотреть в преданные глаза собаки? Оттого, что

уверены — эта преданность не поддельная, ведь собака наверняка не хочет нам что-то продать и наверняка не хочет выйти за нас замуж. Если ты абсолютно уверен, что тебе ничего не втюхают, ты с любым первым встречным приветлив, как с любимой собакой.

— Итак, ваши вопросы?

— Совершенно разнородные. Ваше отношение к космосу, к полетам в космос. И ваше отношение к тому, что Европа и вообще весь так называемый цивилизованный мир — западный мир — продолжает относиться к России с какой-то инстинктивной неприязнью. Раньше это удобно было оправдывать нашим тоталитаризмом-коммунизмом, но вот уже и коммунизма нет, а неприязнь та же самая... Так это или это нам тут лишь кажется — может, не без участия нашей же собственной пропаганды? И уже здесь пришло в голову: что все-таки для вас православие?

— Вы верующий? — цепко спросил Шигабутдинов, бросив на Корхового короткий взгляд из-под седых бровей. Шел он не торопясь, чуть косолапя то ли по-стариковски, то ли по-кавалерийски, и по-прежнему держал спину очень прямо, как маршал... Нет. Применительно к этому человеку, будь он хоть трижды Прохор, надо было говорить: темник. Ной-он-батюшка.

— Как вам сказать... Не воцерковлен.

— Понятно. Ни два, ни полтора. На всякий случай бога не ругаю, но попу руку не поцелую даже во хмелю.

Корховой принужденно рассмеялся. Этот ной-он-батюшка был приветлив и искренен до полной беспощадности.

— Примерно так, — проговорил Корховой.

— Вы только не тушуйтесь! Я ведь вам не в упрек... Я сам в таком состоянии тридцать лет провисел. Да вдобавок еще и между двумя религиями, а это, поверьте, совсем не половина сахар, половина мед. Я спросил, лишь чтобы знать, как лучше вам отвечать. Ведь у меня действительно был некий мистический личный опыт, но рассказывать о таких вещах человеку, который... э... совершенно в другой плоскости живет, бессмысленно и даже где-то нечестно. Будто намекаешь ему на его неполноценность... Мол, вот у меня было, потому я знаю истину, а тебе медведь уж не на ухо, а на душу наступил, поэтому сиди в неверующих.

«Какой мужик!» — в сотый раз подумал Корхой с восхищением.

— Хорошо, я понял.

— Теперь космос. Я к этому разговору совершенно не готов. Более того, как человек абсолютно гуманитарного склада, вдобавок запоем читавший в молодости фантастику, я имею по этому поводу самые вульгарные и самые утопические представления.

— Очень интересно.

— Нет, смею заметить, не очень. Во-первых, я в глубине души совершенно на самом-то деле не знаю, что нам в космосе надо. Что-то для науки, да, понимаю. Но мне это все настолько до фени... Как бы это... Вот. Честно вам скажу: я убежден, что пока ученые не открыли какую-нибудь нуль-транспортировку, в космос соваться бессмысленно. Человеку, просто человеку, это ничего не дает. Усилия настолько велики и нелепы... Относительно таких вот попыток у французов есть поговорка: этот пытается... простите... издать звук громче, нежели позволяет величина задницы. Так. В более-менее приглаженном варианте — так. Наши сорок лет полетов — ти-

пичное слабенькое шипение. А надо сперва как следует нарубаться гороху — и уж потом так громыхнуть, чтобы стекла полетели. Понимаете?

— Понимаю. Но ведь история не ждет...

— Ну, разумеется, всем нужны спутники-шпионы. Всем нужны высокоточные бомбы с лазерным наведением. И много чего еще столь же необходимого для мирного созидательного труда. Это ужасно. Вы понимаете — если бы не стремление уконтропупить друг дружку, нам космос в том виде, в каком мы его сейчас имеем, оказался бы не нужен.

— А вы верите в нуль-транспортировку?

— Представьте, да. Наверное, тоже как гуманитарий. Меня с детства приучили к некоторым не обсуждаемым бесспорным истинам. Например: для науки нет ничего невозможного. А с другой стороны... Понимаете: если бы Всевышний хотел запереть нас на нашей планете, он бы запер. Он бы так запер, что мы и выше стратосферы никогда бы не высунулись. Он этого не сделал. Значит, есть какие-то способы, они предусмотрены Богом, чтобы мы могли порхать от звезды к звезде без рева, грохота, ядовитой химии и чудовищной, чуть что — летальной аварийности. Не запер же он нас на материках. А раз не запер — то разрешил плавать и вообще нагишом, в одних плавках, на собственных руках-ногах. И на яхтах, и на круизных теплоходах, и на подлодках, и на веслах... Плыть может и один человек, просто потому что ему нравится — сам плот сколотил и вперед, «Кон-Тики». И с семьей в отпуск — это уже другой жанр. И команда Кусто... То же должно быть и здесь. Всевышний создал человека свободным. А если чему-то он положил предел, то этот предел совершенно, абсолютно непреодолим, и нам его преодолевать просто не захочется. Просто в голову

не придет. Не хотите же вы вывернуть свое тело наизнанку и так пойти дальше. А если некий предел преодолим, значит, человек может преодолевать его РАЗНООБРАЗНО, в зависимости от своих желаний, представлений и потребностей. Разнообразие — это же синоним свободы. И тот способ, что доступен нам сейчас, есть не более чем уродство. Фактически его и нет. Он не обеспечивает свободы, и значит — это не тот способ, который предусмотрен Всевышним для нашего выхода в космос.

— Интересное мнение...

— Мнение профана. Более того, я сейчас вам еще бóльшую крамолу скажу: я уверен, что если бы ученые как следует уже сейчас начали искать — искать всерьез, непредвзято и не будучи стеснены в средствах, — обязательно лет через десять-пятнадцать можно будет просто войти в кабинку с надписью «Нуль-Т»... Или там: аутспэйс-джамп. Кунцзяньвай цзяютун. Кстати, объясните мне, почему у нас в России...

Это бесподобно прозвучало в устах человека, который только-только вернулся в страну, едва не сгноившую его заживо, а потом изгнавшую на многие годы. Он решил, он вернулся, он взял на себя все ее грехи и огрехи и добровольно, свободно разделил их со всеми, здесь живущими. Иначе понять такую обмолвку было невозможно. У Корхового даже в носу начало пощипывать от сентиментального, почти детского — или девичьего, что ли, — восхищения этим человеком.

— Почему у нас в России китайских космонавтов называют тайканавты... или тайконавты... будто от слова «канать». Или от слова «алконавты»? Космос по-китайски «великая пустота» — «тайкун». Кун, а не кон. И не кан. Кан — это подогреваемая

лежанка. В отличие от нас, россиян, у китайцев нет сказок про Емелю, который на печи, скажем, летит на Марс... На Западе латиницей транскрибируют «кун» как «конг» — ну, так нешто нам пристало с них срисовывать, их система транскрипции ужасна. Они и нежнейшее «нюйжэнь» — «женщина» — своими буквами передают так, что если переложить по-русски, получится приклатненное «нюрэн». Нюрка, типа. Вы корреспондент? Обещайте мне, что будете говорить и писать так, как есть: тайкун.

— Обещаю, — улыбнулся Корховой.

Шигабутдинов помолчал.

— Вот так мы плавно перешли к Европе, — сказал он потом. — Я правильно помню ваши вопросы, Степан Антонович?

— Абсолютно.

— Я сам долго над этим ломал голову... Неприязнь, непонимание, недоверие... Это не миф и не выдумка. Я раньше не верил, думал, советская пропаганда, образ врага. Черта с два. Пожил там — посмотрелся... Прежде всего: это возникло, конечно же, до большевизма, и даже до того момента, когда угроза нависания российской громады над полуостровом Европа была при Петре, при Екатерине впервые Европой осознана... Только вот о чем хочу предупредить: я не историк и не культуролог, я говорю просто, что чувствую. Описываю, что мною движет. Частное мнение частного человека.

— Понятно, понятно, — нетерпеливо сказал Корховой. Мнение такого частного человека дорогого стоит, подумал он. То, что таким человеком движет, не может быть дурацким заблуждением. Разве лишь путеводным заблуждением, выводящим из тупиков тех, кто шел-шел прямо, да и уперся в стенку.

— Хорошо. Итак. Европа и Америка — это кат-

лицизм, потом протестантизм. Католицизм — реформа или, скорее, дистанцирование от православия, протестантизм — реформа католицизма, вторая производная. Однако все они плоды одного древа. Православие Европой воспринимается не как отвлеченная альтернатива, вроде йоги или вуду, не как чужой экзот, а как непосредственный вызов, прямой упрек. Крестonosцы, громившие православный Константинополь, утверждали: «Эти схизматики — такие еретики, что самого Бога тошнит!» Постулаты и аксиомы заявлены одни и те же, вопросы заданы одни и те же, но ответы расходятся. И среди них самый, собственно говоря, главный: как и для чего жить.

Простой пример. Я не буду сейчас вдаваться в гуссовы пасхалии, в методики подсчетов... Кто из празднующих Пасху по юлианскому или по григорианскому календарям эти сложности помнит! Календарь, разбивший единую Пасху христиан на две, введен папой Григорием — он для жизни удобнее, правильнее, точнее. Тупые, косные православные попы упрямо держатся за свою Пасху. Ну, идиоты же! Дикари! Правда? Правда. Ведь правда. Ну почему не сделать удобнее? Лучше людям? И к тому же объединиться... Да, все так, но если для тебя воскресение Христа и иные явленные чудеса — не звук пустой и не опиум для народа, не хитрые трюки прощелыг в рясах, а ВЕРА... Тогда то, что благодатный огонь в Храме Гроба Господня нисходит именно по юлианскому календарю, под Пасху именно православную, переворачивает все с головы на ноги.

Удобство оказывается изменой. Улучшение быта — предательством. Европа празднует воскресение Христово не в годовщину этого события, а тогда, когда ей удобней! И получается, что католиче-

ская цивилизация есть цивилизация изменников, ради чечевичной похлебки продавшей не то что первородство, а само Слово.

Под влиянием традиций полисной демократии — так отголосок западной античности внедрился в новую веру, — римская ветвь христианства приняла догмат о том, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. То есть признала, что кто-то, помимо навсегда одного-единственного Бога-Отца, может обладать равной с ним дееспособностью и правоспособностью! А коготок увяз — всей птичке пропасть. Открылся прямой путь и к непогрешимости папы, и к тому, что буллы можно по значимости ставить в ряд с текстами Евангелий... Короче, в любой момент поправлять, приспособливать к обстановке Писание и заповеданные им представления о Добре и Зле.

Я долго не мог понять: откуда у русских, даже давно забывших и Бога, и веру, такая упоенная, самозабвенная верность тому, что, казалось бы, отжило и только зря вяжет по рукам и ногам? И такое веселое презрение к выгоде? Удобно? Значит, неверно! Значит, подло! Это — отсюда. Ведь нерелигиозные люди пропитаны религиозными установками своей культуры. Светская культура есть передаточное звено между традицией и обывателем, ибо весь ее основной массив, основные критерии одобрения и осуждения, поведенческие модели формировались еще в религиозную эпоху...

Отношение Запада к России — это отношение взяточника к не берущему мзды коллеге. Надо во что бы то ни стало либо заставить того тоже начать хватать, либо всеми правдами и неправдами добиться его увольнения.

— И кто же взятокодатель? — не выдержал Корховой. Шигабутдинов коротко покосился на него.

— Одно из краеугольных позитивных понятий европейской культуры — фаустовский человек. А кто предлагал Фаусту то да сё? Помните? Или называть по имени?

— Помню... — усмехнулся Корховой.

— Ну, а что ж вы тогда... Да. Взятчик. А всякий взяточник большой достаток и уж подавно — большее могущество полагает доказательством правоты. Именно поэтому всякий успех России так раздражает и даже пугает там. Он противоречит картине мира, выстраданной Европой за пятнадцать веков. Православная страна, Византия, Россия должна быть несчастной, грязной, коварной, побежденной и злобно-завистливой — это доказывает, что православное, то есть русское, ибо Византии нет, а мелочь — не в счет... русское отношение к миру неверно, а европейское — верно. Ощущать себя жертвой, а Россию — постоянным агрессором в этой схеме очень важно. Ведь агрессор заведомо не прав.

Вы никогда не задумывались, отчего, скажем, хотя при Петре Первом военное могущество России выросло многократно, Европа к этому царю и его эпохе относится с большим пиететом, охотно называет Петра Великим, признает замечательным реформатором... А вот Ивана Четвертого, сгубившего куда меньше народу, обзывает кровавым тираном. А потому, что Петр в меру разумения ломал традиционную государственность России, а Иван, в меру разумения, — всего лишь укреплял. После Ивана спальники остались спальниками, а после Петра все сплошь стали какими-нибудь фельдцейхмейстерами... Ленин для европейцев и вообще левых по всему миру до сих пор замечательная фигура, хоть и с придурью, и они дер-

жат на стенках его портреты и читают, и цитируют. А вот Сталин — кровавый монстр, олицетворение мерзкого и страшного СССР. Почему? Потому что ленинский террор был направлен против российской государственности и русской традиции, а Сталин в меру разумения попытался приспособить не им начатый террор для восстановления российского могущества, и СССР при нем попытался стать наследником Российского государства.

Шигабутдинов говорил и говорил, а тем временем тротуар, постукивая под двумя парами каблучков, будто сам собой тек под ноги, и скоро Корховой, не желая сгоряча даже пытаться понять, с чем он согласен, а с чем нет, что кажется ему тривиальностью, что эпатажем, а что — истиной, понял, что уже боится: вот сейчас они дойдут до приюта нойона-батюшки, и песня закончится. Потому что эта речь, конечно, была скорее сродни песне, балладе, нежели теории — и, как из всякой песни, из нее нельзя было выкинуть ни слова.

— Впервые, — продолжал Шигабутдинов, — Россию стали числить агрессором еще со времени Ивана Третьего. Задолго до Грозного, который уж хотя бы из-за Ливонской войны мог и впрямь показаться редкостным злыднем. Нет, куда там. Ивана Третьего Запад всей мощью дипломатии провоцировал двинуть войско на турок, обещал признать Ивановы права на константинопольскую корону, все обещал — лишь бы русский Ванька отвлек турецкую экспансию с европейского направления на север, на себя. А Ванька предоставил Европу ее судьбе, наладил прекрасные отношения с крымским ханом, с турками у него не было ни задоринки, и начал именоваться «государь всея Руси». И таким образом как бы заявил претензию на все киевские земли, в

том числе уже принадлежавшие Польше и Литве. Не захотел чужого, но намекнул, что не отказался бы от бывшего нашего. И все — агрессор. С той поры и повелось. Очаровательно выглядит соответствующая статья Британики. Самая полная и объективная в мире энциклопедия. Да? Ну как же! Там об Иване, в частности, сказано: «ревон партс оф Юкрэйн». То есть уже как бы была когда-то, веке в одиннадцатом, что ли, самостийная и незалежная Украина, которую кто-то, правда, потом завоевал, а потом Иван Третий ее частично себе отвоевал... Собственно, мы пришли.

И он резко остановился.

Заслушавшийся Корховой обнаружил, что вот еще один поворот тротуара — и подъезд.

Не хотелось расставаться. Тем более — на полуслове.

— Теперь, — сказал Шигабутдинов лукаво, — мне ничего не остается, кроме как пригласить вас, уважаемый Степан Антонович, на чашку чая. Во-первых, я не договорил, а во-вторых, давать вам от ворот поворот — это вопиющее хамство.

— Я буду крайне признателен... — неловко переступил с ноги на ногу Корховой.

Шигабутдинов покусал коричневую узкую губу.

— Но у меня просьба. Я, знаете, тут устроился, как нукер на привале. В доме — вы не представляете что творится. Гостей принимать я никак не собирался. Дайте мне четверть часа, я хоть чуток по местам расставляю все, что валяется... Простите азиату эту причуду. Не могу.

— Как скажете, Прохор Мустафович... Причуды уважаемого человека — это узоры на крышке ларца его души.

Шигабутдинов коротко хохотнул, уже с откровенной симпатией глядя на Корхового.

— Я просто-таки вижу вашу статью, которая начинается именно этой фразой. А за нею следует долгое и подробное, знаков на девятьсот, описание того, как мы по моей милости пили чай из чашек, перевернутых доньшками вверх... Итак, квартира сорок три, звоните. Через пятнадцать минут.

Он повернулся было, но, словно вспомнив что-то, снова глянул вполоборота на Корхового.

— Помните, Степан Антонович, у Брэдбери? Жаль, он успел взять эти слова эпитафией много раньше меня... — Выждал мгновение для вящей вескости и, подняв указательный палец, произнес: — Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек.

Корховой ждал бы его тут, как влюбленный, хоть час, хоть полтора. Прохор Мустафович его приворожил. Встреча с ним оказалась некоторым шоком. Прожить такую жизнь — и остаться... нет, именно в результате такой жизни... стать таким... Можно было только позавидовать.

Он взглядывал на часы каждые полминуты, похаживая взад-вперед по обсаженному шиповником тротуару, но, поскольку Шигабутдинов оставил его именно здесь, даже не пытался подойти поближе. Почему именно здесь — бог весть, скорее всего, просто случайно, но Корховой тоже был честный.

Наконец время истекло, и Корховой двинулся к дому. Скамейка у входа, мимолетно отметил он. И чего бы не ждать было, сидя на скамейке... Впрочем, она оказалась почти занята — сидели там двое парней, странно — без пива, без пепси, даже без сигарет. Один совсем еще мальчишка, лет семнадцать, но рослый, плечистый... Второй немножко постарше, профессионально жилистый, с накачанной мус-

кулатурой. И не курят, молодцы, но как-то непривычно глазу. И говорят о чем-то своем, никому не понятном — собственно, один говорит, тот, что старше, и тон у него менторский, а младший только губу закусил.

— Погоди, не дергайся. Дай ему время. Пусть войдет, в домашнее переоденется... Может, в душ залезет. Без одежды человек вдвое беззащитней...

Корховой, как горный козел, муфлон-марал какой-нибудь, взлетел на этаж квартиры сорок три. Позвонил. Дверь открылась мгновенно.

О-о... Если это после приборки, то... Впрочем, у Шигабутдинова было только пятнадцать минут.

Квартирка была невелика, скромна и забита книгами.

Нукер на привале...

Если бы нукеры в свое время столько читали — фиг бы они завоевали чуть не весь континент.

Впрочем, чашки с раскаленным зеленым чаем уже дымилась на краю стола, наскоро освобожденном — методом грубого простого сдвига — от кипы журналов. Надо же: «Дружба народов»...

— Прошу, уважаемый Степан Антонович, — сказал Шигабутдинов, гостеприимно указывая на стул, покрытый седой пылевой коростой, — и прямоугольное пятно, коросты лишненное, однозначно свидетельствовало: здесь тоже грузно почивала стопа печатных материалов неизвестного пошиба, перекочевавшая невесть куда, пока Корховой нетерпеливо метался внизу.

Корховой сел. Шигабутдинов тоже сел. Почесал щеку. И начал, будто и не прерывался — нить он держал отменно.

— Итак, продолжим. Так вот, культура-взяточник. Протестантизм сделал еще один, завершающий

шаг. Теперь уже прямо было сказано, что успех и удобство есть свидетельство того, что ты угоден Богу. А тут еще Кальвинова идея предопределения: есть те, кто изначально предназначен к спасению, а есть те, кто хоть лопни — будут гореть в аду. И вот я смотрел-смотрел... Помните у Галича: «Но, от вечного бегства в мыле, недовольством земным томим, вижу — что-то неладно в мире, хорошо бы заняться им...» Смотрел я, смотрел, недовольством земным томим... И вижу: есть религии, довольно-таки нейтральные к тому, что кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Мол, все равно все призрачно и преходяще. Есть религии, прямо провозглашающие добродетелью принцип «падающего — подтолкни». Там успешный всегда прав, он — назначенный к посмертному спасению Божий любимец и продемонстрировал это именно земным успехом. К какой-то иной справедливости взывать бесполезно, потому что высшая, Божья справедливость в том и заключена: ради успеха, ради удобства можно все. В сущности, цивилизация англосаксов на этом выросла. Лузер! Сам дурак! Жалкий урод и ничего, кроме насмешек, не стоишь — во всяком случае, пока, остервенев, не поднимешься и не пустишь юшку бывшему победителю. Тогда — да, тогда мы тебя опять уважаем...

Чай-то пейте. Остынет. Вы любите зеленый чай?

— Как-то... не в ходу... — не в силах сразу переключиться с кальвинизма на зеленый чай, пробормотал Корховой.

— Напрасно. Калмыцкий, правда, еще лучше, но это уже на заведомого любителя, с жиром, я побоялся вам так сразу предложить... Однако ж рекомендую на будущее — очень полезно. Остынет, говорю!

— Пусть немножко остынет, а то жжется...

— Не беда. Все, что любишь, жжется.

— Это точно... — вздохнул Корховой.

Шигабутдинов взял чашку и сделал большой глоток. Похоже, он и кипящее олово сумел бы прихлебывать без видимого напряжения, не теряя мысли. Поставил чашку и продолжил:

— И есть одна мировая религия, а значит — одна-единственная культура, которая невзирая ни на что, всегда, по определению, на стороне проигравшего. Победенного. Всегда. Которая обязательно старается унять, утихомирить победоносца и утешить, подбодрить, поддержать лузера...

А что это значит? Это очень много значит. Быть всегда на стороне проигравшего — значит, пусть и произвольно, оказывать на мир непрестанное давление с тем, чтобы никогда не случилось полного и последнего победителя. Чтобы не дать миру попасть в тупик чьей-то окончательной духовной победы.

Потому что культура-победитель все подомнет под себя, все переварит по собственному подобию — и, разумеется, тут же начнет умирать. Ей не с кем конкурировать, обмениваться... Ей поговорить не с кем! Не от кого взять то, чего ей не хватает. Не посмотреть на себя со стороны. Если голова закружилась и море по колено, никто ей не скажет: охолохни, подумай, держись поскромней, не то таких дров наломаешь... Быть всегда на стороне побежденного — это предотвращать тупик утраты альтернатив, не давать победителю попасть в одиночество.

Робинзон только в книжке столько лет один-одиночек ударно трудился во славу Божию, а потом легко стал цивилизатором дикаря, а как собратья приплыли, вписался в их команду крутым паханом. Когда на островах обнаруживались его реальные прототипы, они и после куда более коротких отсидок оказывались невменяемы навсегда. Выли, пла-

кали, не понимали слов, гадили под себя... То же и с культурами. Одиночество никому не приносит добра. Полная победа одной цивилизации — это конец и крах человечества.

Вы, конечно, уже догадались, какую религию я имею в виду. Да. Русское православие. Западники издеваются: рабья страсть к уравниловке! На Руси несчастеньких любят! А это же частные, поверхностные проявления работы мощнейшего механизма уникальной цивилизации: цивилизации-балансира!

Кстати, диссидентство могло возникнуть только внутри культуры, порожденной православием. Не только им, конечно. Религия накладывает и на исторический опыт народа, и на его национальный характер... Скажем, польский католицизм и испанский католицизм — отнюдь не близнецы-братья. Так вот эти кажущиеся русофобы — наши до мозга костей, плоть от плоти именно православия, и именно русского. Все, кого мы хоть когда-то победили или просто ущемили, — во всем правы, а мы перед всеми ними — во всем виноваты. Или: евреи во всем правы, а мы перед ними во всем виноваты. Это же совершенно православный вывод, только не сцентрованный верой в Бога. И требования доходят, как всякая этика, у который ампутирован Бог, до абсурда. До бесплодного стремления просто все переиграть наоборот.

Мир съежился. Горстка цивилизаций в одной планетарной лодке трется локтями! То есть либо конфликт, либо сотрудничество. Если сотрудничество — значит, размежевание ролей. Что такое сотрудничество? Это когда каждый делает то, что у него получается лучше остальных, но при этом нужно всем остальным. Например, евроатлантическая цивилизация — мировой производитель материаль-

ных благ. Почетнейшая роль. Но сам же Запад изобрел конвейер. Конвейер исключил из производства творчество и личную ответственность — все, что дал протестантизм. С этого момента конфуцианцы оказались лучшими, чем протестанты, производителями. И у нас на глазах перехватывают эту функцию... Быть мировым утешителем и мировым усмирителем гордынь — это призвание русской православной культуры, ее врожденный талант. Однако ж надо успеть это понять, призвание не реализуется автоматически. Если мальчишка с талантом великого скрипача не зубрит гаммы, а моет чужие тачки либо щиплет по карманам, скрипачом ему не быть. Само по себе это уже обидно. Но еще обиднее вот что: занимаясь не тем, к чему талант, он всегда останется на вторых ролях, на побегушках у талантливых мойщиков и щипачей!

И вот, когда я все это понял, со мной произошло самое интересное...

Зазвонил телефон. Шигабутдинов встал.

— Прошу простить, Степан Антонович, — сказал он с безупречной вежливостью, — но я не могу не поднять трубку. Я жду звонка от женщины.

Корховой торопливо сделал несколько разрешающих, самоуничижительных пассивов — мол, не обращайтесь на меня внимания, нет меня! — а потом, намахавшись, сообразил подняться и уйти на кухню, благо дверь была открыта. Он даже прикрыл за собою эту дверь, чтобы не мешать разговору. Надо же, женщина... Человеку годам к шестидесяти, верно...

Интересный человек. Незаурядный. Вот только...

Вот только не выдает ли он желаемое за действительное? Не пытается ли в инстинктивном поиске объединительной опоры для всех, кто жаждет при-

мирения и равновесия, приписать своей нововыстраданной вере то, чего на деле и в помине нет?

Или, наоборот, разглядел путь, по которому ей стоило бы идти, наконец-то расцветая для будущего новым цветом? Уразумел некий глубинный смысл, до сих пор ускользавший от всех, кому заутрени заурядны, как завтраки?

И уж подавно недоступный тем, кто, упиваясь широтой своих прогрессивных взглядов, не отягощенных никакой любовью и никаким состраданием, умничает: православие — это мертвая религия, ведь оно не порождает шахидов...

— Да, ласточка... — донеслось до Корхового. После паузы: — Нет. Нет, у меня отнюдь не в каждом городе по бабе... — Пауза. — Да. Завтра уже вылетаю. — Пауза. — Соскучился... — Пауза. — Особенно по набережной Казанки. — Легкий смех, судя по которому что-то там было с ним, или с ним и его собеседницей разом, на этой самой неведомой Корховому набережной... Лет, верно, двадцать назад, подумал Корховой... Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке сизый селезень плывет... Это же, наверное, та самая казанская Казанка в песне имеется в виду, на тридцать втором году жизни уразумел Корховой не без удивления. Он попытался прикрыть дверь еще плотней, но до конца она не закрывалась — перекосило коробку, что ли. Так что свое безупречное чувство такта Корховой безупречно реализовать был никак не в силах. Тогда он просто отвернулся к окну и стал размышлять, как бы это так вести себя с Наташкой в стиле Шигабутдинова, чтобы — полное величие, полная свобода, и она сама бы звонила. Черта с два, уныло понял он через пару минут. Рожденный ползать летать не может...

Тенькнул звонок входной двери. Нежданный, он

что-то смутно всколыхнул, всполошил в Корховом, что-то совсем недавнее, хотя сообразить или хотя бы припомнить, в чем дело, не получилось. Но стало тревожно. Сквозь неплотно прикрытую дверь до Корхового донеслась досадливая реплика Шигабутдинова: «Ну что такое, все сразу! Прости, мне в дверь звонят...» Корховой маялся на кухне. Теперь его тут вроде не держало чувство такта — хотя и держало, потому что мало ли кто в дверях, может, другая женщина, может, какой-нибудь... как это у парнишки прозвучало веско: внутренний имам...

— И не позволено тебе будет лукавым своим мудрованием искривлять наш предначертанный славянскими богами прямой и светлый путь! — донеслось из коридора громкое, произнесенное ломающимся то ли по возрасту, то ли от неловкости голосом. — Изыди!

Корховой даже чуть присел.

Двое молодых на скамейке у входа!

Он приник к зазору между дверью и косяком. Квартирка была невелика, простреливалась взглядом навывлет. Но мальчишки его не видели — слишком увлеклись, слишком сконцентрировались на Шигабутдинове. И вдобавок у Корхового была выигрышная позиция. Чья щель, того и обзор.

Говорил молодой. Почти мальчик. Странно говорил. Будто старательный ученик, которому материал на самом-то деле совершенно неинтересен и попросту неприятен. Вот, мол, в снежки бы сейчас, как все нормальные... Но пятерка нужна позарез. Такой пафосный текст — и такой подневольный, стесняющийся произносимых глупостей голос. Второй, тот, что на скамейке со знанием дела советовал: «Дай время раздеться, без одежды человек вдвое беззащитней», строгим надсмотрщиком торчал у экзамене-

нуемого за спиной. Время от времени он коротко, стреляюще косил взглядом на согнутую в локте правую руку мальчика.

А в руке той был почти прижатый к животу Шигабутдинова пистолет.

Да что происходит-то? Кино?! Представление?! Дурацкий розыгрыш?!

— Вот что, молодой человек, — раздался невозмутимый, по-прежнему вполне дружелюбный голос стоящего к Корховому спиной Шигабутдинова. — Я все понимаю, но давайте-ка опустим эту вашу штучку. Дайте ее мне... или вашему более спокойному другу, на худой конец... У вас голос дрожит, молодой человек, неровен час — и палец дрогнет...

Шигабутдинов поднял руку к пистолету.

И тогда тот, надсмотрщик, экзаменатор — Корховой видел это совершенно отчетливо — накрыл кисть молодого своей. Вроде как он то ли хочет руку его отвести от цепкой и крепкой пятерни Шигабутдинова, то ли покрепче сжать пальцы парнишки своими, чтобы тот по юной неуверенности оружия не отдал...

И хладнокровно нажал на палец, лежащий на курке.

Выстрел хлопнул, будто со стола на пол, вздув тучу многолетней пыли, рухнула плашмя вся подборка «Дружбы народов».

Шигабутдинов еще не успел упасть, только за живот схватился, молодой террорист с изумленным лицом еще лишь поворачивался к своему старшему напарнику с плачущим криком: «Зачем?!», а кухонная дверь уже грохнула, распахиваясь, и огромный Корховой, как прыгучий танк, полетел через комнату в коридор. Лица визитеров начали было оторопело вытягиваться, и неуверенно вздернулся Корховому на-

встречу трепещущий черный зрачок пистолетного дула. Корховой не догадался испугаться. В голове пронеслось дурацкое и совершенно в данной ситуации неуместное: «Ах, в космос я вам не гожусь?!»

— «Скорую» вызывай, дурак! — крикнул он. — «Скорую», вон телефон!

Почему-то Корховому казалось, что молодой с пистолетом — совершенно ни при чем и стал жертвой какого-то недоразумения. Но все оказалось не так просто. Корховой удачным зигзагом ушел с трассы выстрела, которого, впрочем, так и не последовало, мальчик не успел выстрелить, а скорее всего, не успел решиться выстрелить. Одной рукой выбил у мальчонки пистолет, и дурная железяка, крутясь, тяжелым сгустком полетела далеко-далеко; другой — вырубил самого стрелка, и дурной пацан, в общем-то, тоже крутясь, с коротким воплем полетел тоже не близко.

— «Скорую» вызывай!! — заорал Корховой, краем глаза видя, что Шигабутдинов уже лежит на полу, мучительно корчась, суча ногами и прижимая к животу ладони, а из-под его ладоней быстро сочится красное. И столкнулся со вторым.

Тот был подготовлен поприличней; Корховой, поначалу несколько недооценив нового противника, едва успел блокировать первый его удар. Ого... Ага.

Драться Корхового в свое время, в деревне еще, учил тракторист Сеня. Священный долг Сеня отрубил в спецназе и учил не только Корхового. И не только учил. «Как же я люблю городских каратюг шмуздить, — заглушив на краю поля грязную, ободранную «Беларусь», говорил Сеня с мечтательной ленцой и грыз травинку. — Он в тебя ногой выпад раз, потом другой ногой — два... Японский смертельный прием наши-какаши! А я его за ногу цоп — и на себя... Шпагат! Яйца звонят, как колокола!»

Взаимные блоки успели звучно хлопнуть несколько раз. Было тесно, фиг развернешься. Тогда Корховой, чтобы зря не потеть — Шигабутдинов, пока Корховой тут потеет, запросто кровью истечет! — ушел от очередного тычка вниз и уж снизу гарантированно достал врага; тот с грохотом впечатался в стену лопатками и затылком. С полок, висящих вдоль всего коридора, весело посыпались книги (да сколько ж их!), увесисто отбомбились по закатившему глаза уроду картечью культуры, и тот окончательно обмяк.

— Неотлож... — начал было в очередной раз Корховой, ища глазами младшего; Корховой до последнего момента оставался убежден, что младший — скорее жертва, чем преступник. И тут ему от жертвы прилетело в ухо чем-то очень тяжелым. С острыми, специально для висков, углами. Телефонном, наверное. Мальчуган употребил аппарат более, с его точки зрения, целесообразно. Ну действительно, зачем нам тут неотложка?

«Идейный, сволочь!» — с удивлением понял Корховой, оседая на пол рядом с Шигабутдиновым.

Последнее, что он успел увидеть и услышать, прежде чем сомлеть, было: второй, тот, что экзаминатор, с трудом поднимается, шатаясь и сплевывая кровь, и кричит, призывно маша рукой: «Ходу! Ходу!»

Потом смерклось беспросветно.

ГЛАВА 5

Где не пахли цветы

Вечерний воздух пропитан был стылой, промозглой сыростью. Небо перекаtywало лохматые серые желваки, пучилось, деревья шумели неприветливо.

Конец весны в Питере частенько ничем не отличается от середины осени.

Под ногами чавкало.

Журанков нарочно пошел на кладбище попозже, когда там вряд ли кого встретишь. Не хотелось ему видеть сейчас никого. Тем более — на кладбище. Он всегда ходил туда попозже. Днем там трудятся божьи одуванчики — после зимних гриппозных сыростей и весенних ненастий приводят в порядок дорогие могилки... Вечерами туда редко кто ходит.

Он споро подмел, соскреб щеткой от старой швабры залипшие на скромных, традиционно покрашенных серебристой краской надгробьях мамы и отца осенние листья — мокрые и грязные, как тряпки. Смахнул несколько таких же со столика и с лавки. На лавку лучше бы не садиться — хрустнет. Менять надо... Когда? Когда-нибудь. Простите, покайнно сказал Журанков родителям. Когда-нибудь. Он осторожно присел на лавку. Лавка, жидко качнувшись, прогнулась.

Пора менять.

Когда-нибудь.

Он не любил водки. Но на кладбище пьют водку. Поэтому он достал четвертинку, одноразовый пластиковый стаканчик и выпил. Занюхал хлебом. В желудке, пока еще не в полную силу, а будто на пробу, заклокотало вкрадчивое теплое марево.

Ну, вот, мам, сказал Журанков. Я снова пришел. Потому что еще год прошел. И за этот год очень многое изменилось. Собственно, год-то был как все другие, только в последние две недели забил фонтан, вулкан... Землетрясение... В небесах слепящий, разноцветный фейерверк долгожданного праздника — а под ногами ползут и качаются, вставая на дыбы, крошась, проваливаясь, тектонические плиты, на

которых плохо-бедно утверждена была моя жизнь. И мне страшно.

Он сделал еще глоток.

Я знаю, вы по мере сил и разума старались, как лучше, старались, чтобы все со мной было хорошо. Что бы я ни старался делать, вы всегда очень хотели, чтобы я делал это еще лучше. Поэтому вы каждый день, каждый раз говорили мне под руку: надо не так! Стоило мне хоть что-то начать — я уже ждал окрика под руку: ты неправильно делаешь, надо иначе! Не так вымыл яблоко — наверняка, НАВЕРНЯКА там осталась грязь, а в грязи знаешь сколько микробов? Можно тяжело заболеть — и каникулы насмарку, все будут гулять, а ты лежать в больнице. Дай мама заново помоеет, как надо. Не так попрощался с другом... Мама, но это же мой друг, мы уж с ним как-нибудь разберемся! Нет, маленький, ну как ты не понимаешь — нельзя было так говорить, он же твой друг, он тебя, конечно, потом никогда не прекнет, но обидится и запомнит...

Только за письменным столом я мог спастись, только там, куда вы не доберетесь, где вы не понимаете совсем ничего. Но стоило мне встать из-за стола — все начиналось сызнова. Вы были неутомимы и бдительны. Вы хотели мне добра и старались изо всех сил.

Вы так меня любили...

Я вас тоже люблю.

И теперь я ничего не умею. Мне за сорок, а у меня не получилось в жизни ничего и, наверное, уже не получится. Пока я один, с карандашом и бумагой — ну, теперь с компьютером, да, — кажется, я всемогущ. Да так оно и есть. Но стоит мне встать из-за стола, и у меня ничего не получается, я ничего не в состоянии реализовать, потому что все делаю,

словно извиняясь, заранее готовясь идти на попятный. Я никого не могу ни в чем убедить, я ни на чем не в силах настоять. Я могу действовать только один, но ведь в одиночку можно придумать и нельзя осуществить. Что бы я ни начинал, меня пригибает к земле и лишает сил предчувствие обязательной фатальной ошибки: что бы я ни выбрал, я наперед знаю, что выберу не то. Что бы я ни вытворял, как бы ни мудрил, как бы ни продумывал ходы и запасные варианты — всегда вмешивается что-то совершенно нелепое, совершенно постороннее, третьестепенное, казалось бы, — но оно всегда берет надо мною верх.

И теперь мне очень страшно.

Я же помню, я это довольно рано стал видеть: при том, как исчерпывающе и ультимативно вы знали все про меня, сами-то вы днями и ночами мучились над каждым мелким решением, и бывали так счастливы, так очевидно испытывали облегчение, если обстоятельства решали за вас... Когда я это начал понимать, мне стало вас жалко до слез, и из одной этой жалости я и то готов был все сносить. Мне и теперь вас жалко. Но разница в том, что человеку, который создает что-то никогда не бывшее до него и отвечает за это, таким быть нельзя. Совсем нельзя. С горем пополам такими могут быть шофер, токарь, библиотекарь, аптекарь... садовод, счетовод... царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной... Создатель не может.

Мне выпало нашу страну спасти.

Но я не чувствую никакой радости. Только страх.

Потому что у меня не получится.

Что-нибудь обязательно пойдет не так, и я буду делать не то, что нужно, а то, что мне кто-то велит. А ведь знаю, как надо, — я. Но у меня не получится.

Потому что я кому-нибудь обязательно подчинюсь. Чтобы не обидеть или чтобы не спорить безнадежно. И поэтому всех, кто мне верит, подведу. Обязательно, непременно подведу.

Хотя они так рассчитывают на меня... И она тоже. Она — в глаза мне сказала: наверное, вы гений? Она...

Он сообразил, что стаканчик уже пуст, лишь когда его повалил и покатило по столу порыв ветра. Журанков поймал стаканчик, резко накрыв его ладонью, будто шустрого кузнечика, — так он для Вовки когда-то ловил кузнечиков, ящериц... Когда тот еще был совсем маленький, а у Журанкова был жаркий, ослепительный и короткий, на два-три года, не больше, миг, когда все получалось. Ни до, ни после такого не было.

Теперь у него получилось ловить стаканчик из-под водки.

Он наполнил его снова и сделал большой глоток.

Она.

Знаешь, я влюбился, мама.

Это-то меня и добило.

Ведь это действительно смешно. Не смотри с испуганной издевкой: я ничего не сказал ей и не скажу, я прекрасно знаю, что это бессмысленно, нелепо... Она на пятнадцать лет моложе меня, она русалка, упругая, внезапная, она пантера с ноутбуком под пальцами, невесомо мельтешащими над клавиатурой, точно мотыльки над лугом; она — танцующий живой огонь, беззаконная комета, красота и порыв... Я даже вообразить не могу, какая она в любви. А у меня уж там, прости, все мхом заросло. Это было бы так смешно — она и я.

У меня никогда ничего не получится. Ни на установке, ни на стенде, ни в споре, ни в постели.

Я не могу больше жить...

И тут он услышал соловья.

Он сперва подумал, это ему спяну мерещится. Серая слякотная мгла кругом настолько не походила на весну, что даже щебет обычных синиц и то казался бы райским пением в ненастном гуле листвы. Но природа взяла свое. Сначала коротко, на пробу, точно кокетливый молодой певец прочищая горло, невесть откуда взявшийся соловушка заложил пару коротких коленец, приумолк, словно обдумывая результат, прикидывая акустику отведенного ему помещения — мол, стоит ли выкладываться большому артисту в этом плохо подготовленном провинциальном зале...

А потом — как пошел!

С унылой угрозой, сами не рады тому, что пророчат беду, шумели деревья. А этот малыш, один-одинешенек — щелкал, свистел, звенел...

Звал.

И не боялся обещать.

Журанков медленно встал, озираясь. Соловьи невысоко сидят, по кустам... Бессмысленно пялиться во тьму небес. Он где-то здесь, на уровне глаз, совсем рядом... Почему-то обязательно надо было его увидеть. Он невзрачный, Журанков знал, он маленький... Разве в этом дело. Увидеть. Увидеть, как у него горлышко надувается от самозабвенной песни...

Он услышал треск сучьев и множественные шаги. Откуда-то совсем не со стороны входа, лавируя между оградями, бесцеремонно раздвигая ломкие ветви, шли люди, кажется, трое. Кажется, молодые. В глухом промозгом сумраке майской осени сгустились черные силуэты, неказисто снабженные бледно-белыми пятнами лиц. Проявились в шуме голоса.

— Слышь?

— Угу. Чирикает кто-то.

— Это соловей, козел!

— Ну да? А почему ночью? Не, не может быть.

— Щас проверим. Пурген, ты у нас командир роты королевских арбалетчиков?

— Я у нас командир роты...

— Эй, комроты, даешь пулеметы!

Два разудалых голоса с ходу поддержали:

— Даешь батарей — чтоб было веселей!

Потом оставшийся в одиночестве голос Пургена деловито добавил:

— Подержи пиво, я проведу сканирование...

Журанков похолодел, чуя несчастье. Три сумеречных привидения остановились совсем недалеко. Видно было, как переключался из рук в руки черный стусок бутылки, потом в освободившейся пятерне Пургена возник какой-то длинный угловатый предмет. Подъехал к бледному, как поганка, пятну лица.

— Не просекаю, — сказал Пурген после паузы. — Переместимся...

Они захрустели мимо Журанкова.

— Ага, — сказал Пурген.

Что-то резко, с металлическим призвуком щелкнуло, будто тенькнула стальная тетива, и соловей захлебнулся. И мгновением позже снизу, уже от земли, долетел короткий легкий звук падения чего-то почти невесомого, крохотного...

— Есть контакт, — сказал Пурген удовлетворенно. — Пошли проверим. Соловей или... это... Может — птеродактиль!

Ноги перестали держать Журанкова; он опустился на шаткую скамейку. В кустах ворочалось и хрустело.

— Ну чо, нашли?

— Не. Темно. И мокро. Идиотская идея.

— Пиво отдай.

— Я же говорил — три надо было брать...

Если бы Журанков мог, он бы их сейчас убил. Просто убил, без тени жалости и без малейших колебаний. Не от злости, не от гнева — а как санитар, чтобы их больше никогда и нигде не было. Это уже не люди, и людьми они уже не станут... И уже даже не животные. Вот соловей — животное, а эти — нет. Как их назвать? Ржа? Плесень? Трупный яд?

И одновременно каким-то странным, нелепым вывертом души Журанкову было их нестерпимо жалко. Все мы, все, думал он, растерянные несмышлениши, от бесцельности озверелые и нелепо тычущиеся на темном кладбище идей и надежд.

Он допил водку.

Не помогло.

Совсем смерклось, когда он вышел с кладбища. За деревьями, за поросшей кустарником низиной речки, далеко-далеко на улицах угадывался свет редких фонарей. Тучи обливал мутный оранжевый отсвет, и это позволяло, ошалело таращась, хоть как-то не влезать в лужи. На открытом пространстве стало чуть светлее. За мостиком была колонка водопровода, откуда в дни массовых посещений копошащиеся на могилах люди наперебой брали воду для цветочков, и Журанкову пришло в голову завернуть умыться. Глаза и веки жгло от слез — то ли пьяных, то ли просто выдавленных жизнью.

Перед мостом торчал, сунув руки в карманы куртки, еще один черный силуэт.

— Долгонько вы, Константин Михайлович, я уж заждался.

Журанков остановился, стараясь разглядеть обратившегося к нему человека. Голос был совершенно незнакомым. И лицо незнакомо.

И еще легкий акцент...

— Что еще? — чуть снова не заплакав от смертельной усталости, выдавил Журанков. Он не хотел ни видеть никого, ни слышать, а люди лезли, лезли к нему из жизни — общительные, как пираньи; и он должен был подставляться им, не то они обидятся.

— Не буду ходить вокруг да около, — сказал человек. — Час поздний... Промозгло... Постараюсь покороче. Я представляю организацию — довольно влиятельную, сразу должен оговориться, весьма и весьма влиятельную, — которая интересуется результатами вашей многолетней работы. И в «Сапфире», и впоследствии.

Журанков ничего не почувствовал. Это было уже слишком, за гранью реальности. Дети на кладбище, думал он.

— Вы довольно давно не виделись с сыном, не правда ли?

Земля под Журанковым зашаталась, будто подгнившая скамейка.

— Довольно давно, — с трудом разлепив пересохшие от водки губы, ответил он.

— Он у вас от безотцовщины совсем сошел с пути, Константин Михайлович. Отчим — это всего лишь отчим... Ответственности за сына и его будущность с вас никто не снимал.

— Я знаю, — хрипло сказал Журанков, совсем уже ничего не понимая, но твердо зная, что действительно виноват.

— Да? — с сомнением отозвался незнакомец. Помолчал, вглядываясь из темноты Журанкову в лицо. — Что ж, отрадно, если так... Но это все слова. Даже если вы говорите искренне — пока это только слова. Тут вот какое дело... Ваш Владимир связался с бандой фашистов. Это даже не нацболы, и не какие-

нибудь мирные баркашовцы — это совершенно страшные люди. Убийцы. Истребители инородцев.

— Что за чушь вы мелете...

— Вы дослушайте, дослушайте, Константин Михайлович. Недавно ваш сын явился на дом к одному очень известному и талантливому писателю, татарину по крови, и застрелил его. Насмерть. Там же оказался журналист, тоже довольно известный. Ваш сын ударил его по голове телефоном. Не убил, но журналист в больнице, в весьма тяжелом состоянии. Вот что такое безотцовщина, Константин Михайлович. Вы думали, с глаз долой — из сердца вон? Увы, увы... И пистолет с нацистской символикой, и телефон найдены милицией, и на них обнаружены отпечатки пальцев вашего Владимира. Милиция, конечно, не знает, чьи это отпечатки, и может не узнать довольно долго. А может не узнать никогда. Но мы найдем способ довести до ее сведения, чьи это пальцы, если вы откажетесь информировать нас о результатах вашей деятельности, о том, что вы дальше намерены делать с вашими разработками... ну, словом, по всему комплексу проблем, связанных с орбитальным самолетом. Убийство на почве национальной ненависти, покушение на еще одно убийство с нанесением тяжкого вреда здоровью... Жизнь вашего сына в ваших руках, Константин Михайлович. В буквальном смысле.

Незнакомец умолк. Действительно, он был очень лаконичен. Лаконичнее некуда. Некоторое время Журанков молчал, а потом вдруг расхохотался. Незнакомец шевельнулся беспокойно, хотел что-то сказать, подойти ближе, но ничего не успел — Журанков утих. Неопрятно протер заслезившиеся глаза ладонью.

— Простите, — извинился он перед внезапно вербующим его человеком. — Все. Уже все.

— Я понимаю, — сочувственно сказал тот. — Нервное...

— Нет, не то. Вы даже не представляете, как вы вовремя. Я ждал чего-то... Не стану хвастаться — не конкретно вас, конечно, но чего-то такого. Что меня опять срежет. А то разлетелся... Я даже не буду спрашивать, откуда вам так хорошо известны бандитские дела. Ваша банда?

Незнакомец не ответил.

— Хорошо, — сказал Журанков. — Я согласен.

— Что?! — вырвалось у незнакомца.

— Вы глухой, что ли? Я сказал: хорошо, я согласен. А вы думали, я кочевряжиться буду? Зачем? У меня одно лишь условие. Ваши слова для меня — пустой звон. Я должен все услышать от Вовки. От него и только от него, в подробностях. Если он мне все это расскажет так, как вы тут изложили, — считайте, мы договорились.

Незнакомец недоверчиво молчал.

Журанков повел плечами, поежился. Сыро. Зябко. Это было единственное, что он чувствовал сейчас, — зябко.

А больше ничего.

ГЛАВА 6

Средь нас был юный барабанщик

Журанков нипочем бы его не узнал, если бы не предварительная работа: окольные расспросы, высосанные из пальца предлоги... Школу-то парень уже окончил, а никуда еще не поступил — где его

искать? Уж понятно, не дома — и по более-то невинному поводу Журанков не мог, права не имел и желания не испытывал без спросу, без просьб и согласований, которые понятно бы чем закончились, соваться в дом к бывшей жене и ее мужу. Ни школа, ни институт... Оставался только спорт.

Парень как парень. На плече пухлая переметная адидаска, на спине свитер с завязанными вокруг шеи рукавами... Короткая стрижка... Пушок на губе. Уверенный шаг. Плечи уже шире отцовских. Таким я мог бы быть, подумал Журанков с мимолетной болью. Если бы в детстве не продирался сквозь изматывающее, как нескончаемое приседание, «не так»...

Жизнь, несмотря на россыпи пустых достижений и титулов, была проиграна вчистую.

«Зато с сыном повидаюсь напоследок... Спасибо шпионам. Какой предлог для разговора! А то — что бы я сказал ему теперь, свалившись ни с того ни с сего после стольких лет? Как аттестат, троек много? Нет? Вот молодец! Куришь? Ты не кури, это вредно... Ну, бывай, слушайся маму».

Идиот. Был бы просто идиот.

Журанков шел за сыном шагах в десяти позади и никак не мог решиться заставить себя ускорить шаг, догнать и позвать: «Вовка»...

Господи, да неужели это правда, что он, этот мальчишка, этот мой мальчишка кого-то застрелил?

Сейчас узнаю.

Журанков сглотнул и ускорил шаг.

А Вовка уже минут пять как заметил, что за ним следит тусклый топтун. Поначалу он еще старался гнать от себя эти мысли — совсем, мол, я свихнулся от последних событий, помороки пошли, блин... Но

когда топтун стал его догонять — неторопливо, очень уверенно в себе: мол, не уйдешь, урод, некуда тебе деваться, я все знаю! — сомнений не осталось. Вовка дернулся взглядом влево, вправо, но ни одной подходящей подворотни поблизости не случилось. Да и негоже это, осадил он себя. Всю жизнь не набегаешься. Первое мимолетное смятение отступило, придушенное суровым спокойствием. Будь что будет. Русские не сдаются. И не бегают, как зайцы.

«А мальчик меня заметил. Нервничает. Да, что-то с ним не так, совесть нечиста, иначе он и внимания не обратил бы на такую шушеру, как я. Да, вот заозирался. И сразу взял себя в руки. Пошел медленнее. Остановился и повернулся ко мне, в глазах — вызов противнику и покорность судьбе. Господи, Вовка... Это мой Вовка...»

Они сошлись.

— Здравствуй, Володя, — сказал Журанков.

— Здравсьте, — хрипло сказал Вовка. Запнулся. И кинул этак небрежно, мужественно: — Вы из ФСБ или просто из милиции?

Журанков улыбнулся. Завозился во внутреннем кармане, достал паспорт: он очень боялся, что сын не поверит, что он — это он. И не хотел быть голословным.

— Я твой отец, — сказал Журанков.

У Вовки слегка отпала челюсть.

— Какого хе... — начал он после паузы и осекся. — То есть...

Журанков молча показал ему страничку паспорта. Вовка всмотрелся. Потом снова перевел взгляд на лицо Журанкова.

— Ну и чего? — спросил он.

— Надо поговорить, — сказал Журанков, нелов-

ко упихивая паспорт обратно. — Тут есть какой-нибудь скверик, какая-нибудь скамеечка на отшибе?

Несколько мгновений сын приходил в себя. Потом сказал утрюмо:

— Да.

Он и не подумал ершиться. Шок.

Они пошли.

Сын не обманул. Пять чахлах кустиков, один опасно дряхлый тополь над ними, а посреди — песочница, горка и почетный караул из четырех скамеек по сторонам. Время было неурочное, и лишь один неприкаянный карапуз под небдительным присмотром деда, читавшего какую-то книгу на английском, лепил формочкой и совочком незамысловатые куличики, а потом сам же их давил. Слепит — раздавит... Слепит — раздавит...

Жизнь в миниатюре.

— Вот какое дело... — сказал Журанков, когда они уселись. Помолчал. — Мама с самого начала, когда мы расходились, просила меня с тобой не встречаться, и... она была права.

Замолчал.

Ведь все такие безалаберные, неаккуратные, забывчивые, и притом нельзя им об этом говорить, а то они обидятся — надо просто терпеть, не подавать виду, есть, что дает жена и нахваливать, на самом-то деле давясь, потому что наверняка она все плохо помыла, и по возможности делать все самому; а где сил набраться? И вот иногда осторожно, тактично, как бы с юмором, все же в чем-то приходится поправлять...

«Кате, верно, казалось, я их поездом ем с утра до вечера.

И когда она после развода запретила мне видеться с сыном, я не боролся. Я уже сообразил, что к чему.

И я уберег Вовку от того яда, которым меня пропитали в детстве. Я сознательно старался его оградить, не изуродовать, понимая, что, если буду маячить рядом, яд сам собой мало-помалу перетечет к нему. Ведь человек не может изо дня в день быть внутри таким, какой есть, а снаружи — совсем другим, каким надо. Мои родители тоже все делали не нарочно, а просто потому, что жили. И я стал как они; еще в детстве стал, сам того не замечая и не понимая и потому не в силах защититься, по малолетству не в силах даже понять, что нужно защищаться... Я стал как они, мне же все время хочется позаботиться, уберечь и научить, как лучше. И это при том, что я ничего не умею.

Я не хотел, чтобы Вовка мучился, как я.

Уберег.

Только вот теперь у меня нет продолжения. И уже никогда не будет.

Нет, Вовке все это по фигу...

И он прав. У него свои проблемы».

Мальчик, неприязненно хмурясь, терпеливо ждал. Чувствовалось, что еще минута-другая, и он встанет и уйдет — вероятно, плюнув.

А, собственно, с какой стати, сообразил Журанков, он будет откровенничать с невесть откуда свалившимся отцом по паспорту?

Если не пошлет ко всем чертям — это подвиг...

— Ладно, лирику побоку, — сказал Журанков, выдавив улыбку. — Мне тут про тебя рассказали странную историю, и я всего-то хочу знать, правда это или нет.

В глазах Вовки дернулось брезгливое негодование. Или страх?

Нет, не страх, а что-то такое...

— Кто рассказал? — напряженно спросил он.

— Я тебе потом изложу свою историю, если за-

хочешь. Но сначала ты расскажи. Вроде как ты с пистолетом носишься... Стрелял в кого-то...

Вовка оцутимо вздрогнул.

Уставился в землю, задумался. Лицо его было от-
решенным и хмурым. Долго молчал.

— Тебе в подробностях? — глухо спросил он.

— Как хочешь.

Сын помолчал еще. Явно не знал, на что решиться.

— Тут на днях, — не поднимая взгляда, бесстра-
стно начал он потом, — я с одним товарищем, кото-
рый должен был меня подстраховать и вообще... он
старший, он контролировал, это было третье посвя-
щение... Мы пошли к одному сказать, чтобы он вы-
метался обратно из России туда, откуда пришел. Он
вроде как врет тут. Приехал из Европы и, младший
воевода сказал, чего-то врет. А его слушают. Он зна-
менитый. Мне нужно было его пугнуть. И мне вое-
вода дал пистолет. Надо было, если он заартачится,
стрельнуть ему под ноги. Так воевода поставил зада-
чу, я точно помню. Но все пошло через задницу.

Вовка помолчал, переводя дыхание. Сглотнул.
Коротко, виновато покосился на внимательно слу-
шавшего Журанкова. Вовсю чирикали неунываю-
щие воробы.

— Я плохо помню, все получилось очень быстро.
Тот хотел забрать у меня пистолет. Он спокойный
был такой, не верил, что я всерьез. Я... Я и сам бы
пистолет не отдал нипочем. Я его уже снял с предо-
хранителя. Чтобы, если что, сразу под ноги ему. Но
мой товарищ, наверное, подумал, что у меня духу не
хватит. Он сзади стоял. Наверное, он подумал, что
тот у меня отберет пистолет. Он взял меня за руку,
потянул... как-то... Я даже не понял как. Как-то ку-
рок нажался. И... прямо в живот...

Вовка сглотнул. Журанков забыл дышать.

Боже милостивый, у него прямо рвалась сейчас с губ фраза, которую он столько миллионов раз слышал в детстве: надо было не так!

Поздно...

Он молчал.

— А в кухне, оказывается, сидел еще какой-то жлоб. Как прыгнет оттуда! И выбил у меня пистолет. Он вообще здоров махать, меня уделал враз. И начал метелить Ярополка. Я еле очухаться успел, а Ярополк уже с копыт... И тогда я чем попало, телефоном кажется, тому как жажну в башню! Понимаешь, это уже просто само собой получилось! Не мог же я смотреть, как товарища бьют!!

Замолчал. Опять испытующе всмотрелся в лицо Журанкова: хоть чуть-чуть его понимают или вовсе нет?

— А потом? — тихо спросил Журанков.

— А потом мы ноги сделали.

— А потом?

— Потом домой пришел, стал телик смотреть... Самого трясет... — Помолчал. — Если честно, до сих пор трясет. Первый раз сегодня мышцу покачать выбрался, все дома сидел носом в стенку... А тебе-то чего? — вдруг панически крикнул он, сообразив, что будто под гипнозом разоткровенничался с совершенно незнакомым человеком.

Ему не с кем поговорить, понял Журанков с состраданием и тоской. Ну, просто совсем не с кем... Мать честная, что же делать-то?

Да откуда мне было знать, насколько он тут одинок?

— Ты сам-то слышал, что именно он врет, этот... к кому вас послали?

Вовка, снова уставившись в землю, отрицательно помотал головой.

— Ты потом опять уже встречался с воеводой или с Ярополком?

Язык отказывался выговаривать эти чучельные слова.

Пришлось.

Вовка снова отрицательно покачал головой.

— Что собираешься делать?

Вовка пожал плечами.

— Как же ты туда попал? — совсем тихо спросил Журанков.

— Познакомился... — так же тихо ответил сын.

— И зачем?

Вовка помолчал, пытаясь найти слова.

— Ну надо же как-то Родину спасти... — проговорил он без затей и оттого особенно незащитно.

Журанков коротко вздохнул.

— А теперь я расскажу тебе свою историю, — сказал он. — Вчера меня нашел совершенно незнакомый человек. Подошел и сказал: ваш сын связался с бандой фашистов. Убил одного человека и искалечил другого. На пистолете и на телефонном аппарате его отпечатки пальцев, а пистолет и телефон — уже в милиции. Конечно, в милиции не знают, чьи это отпечатки, ваш сын не рецидивист, и в картотеке его нет. Но если вы откажетесь с нами сотрудничать, мы найдем способ навести милицию на вашего сына. Доказательства бесспорные, не отвертеться: двойное убийство на почве национальной ненависти. Засудят не по-детски.

Вовка помолчал.

— А что значит сотрудничать? — глухо спросил он потом, не поднимая головы. Он так и смотрел в землю.

— Это значит передавать им военные и космические секреты России, — тоже немудряще и оттого тоже нелепо и незащитно ответил Журанков. Это

походило на комедию. «Бриллиантовая рука». В направлении государственной границы движется автомобиль «Москвич».

Оказывается, все это есть на самом деле...

Журанков сменил позу. Положил ногу на ногу, сцепил пальцы на колене и уставился в небо.

— Представь себе огромный белый самолет, — медленно и негромко сказал он. — Огромный-огромный. А на нем другой. Этот другой немного меньше, но тоже большой. Больше «Бурана» раза в полтора. Но дело в другом. Главное, что он сам себе хозяин. Никакому другому аппарату такое не снилось. Двигатель у него прямоточный, и стоит МГД-генератор... Знаешь, что это? Нет? Ну, тогда неважно. Суть в том, что будет электричества завались — пока летит, сам и вырабатывает. А электричеством он впереди себя создает плазму вместо воздуха. И эта плазма его не тормозит, а, наоборот, вперед несет и дает полную свободу маневра. И у него не перегреваются борта. Вот у американцев из-за этого как раз «Коламбия» рассыпалась, семь человек погибли... А тут разогнали его на большом самолете, прямоточник включился, электричество пошло... Скорость, маневренность — как ни у кого. Полетал в космосе, вернулся в атмосферу, полетал в атмосфере, сделал что надо... опять в космос ушел... Угнаться за ним никто не может. Его даже заметить толком никто не может. Ты же понимаешь... Если бы, например, такой наш самолет в свое время один только раз пролетел на границе атмосферы и космоса над Югославией и Адриатикой, где американские корабли, — НАТО разве решилась бы Югославию бомбить? Все были бы отменно вежливы и дружелюбны, говорили бы только о международном праве, уважении к суверенитету и стремлении к мирно-

му разрешению любых конфликтов и недоразумений... Потому что зачем говорить об очевидном? Он просто один раз пролетел...

Журанков умолк. «Что-то я долго, — подумал он. — А впрочем...»

Как раз об этом он мог бы говорить часами. И простыми словами, и сложными. И даже молча — с помощью одних лишь формул на бумаге.

— Подобными проектами уже лет десять занимаются. И у нас... и у них, конечно. И судя по тому, как на меня давили и как тебя подставили, чтобы меня додавить, я каким-то чудом продвинулся сильно дальше всех. Или просто удачнее. Это же сумасшедшая математика, Вовка. Совершенно сумасшедшая. Это только вот так, на словах просто. Одно обтекание плазмоида обсчитать — кишка выскочит.

Опять помолчал. И ни с того ни с сего разоткровенничался:

— Впрочем, это довольно прикладная задача. Да, я им тогда просчитал... Сам-то я давно занимаюсь иными вещами, куда более интересными. Этого уже вообще никто не знает.

Он осекся, потому что ему показалось — он начал хвастаться. «Оказывается, мне тоже не с кем поговорить», — подумал он.

Помолчал. И потом неожиданно для себя несмело тронул ладонью колено сына.

— Вот как надо Родину защищать, Вовка. Головой.

Это неуместное, фальшиво свойское «Вовка» вырвалось само собой. Журанков даже испугался — нельзя так фамильярничать. Но сын, похоже, просто не обратил внимания на неучтивость свалившегося

из иных пространств предка. Мысли его были заняты совсем иным.

— Ага, головой, — плачуще сказал он. — Как ее защитишь, когда ей самой ни хрена не надо? Вы будете десять лет головы ломать, а потом любой чиновник, вас не спросясь, любая мелкая сука в каком-нибудь министерстве возьмет и все это продаст! И ничего ему за это не будет! Скажут: о, какой правильный демократ и умелый бизнесмен! Вот у него теперь по заслугам вилла, «Тойота» и честно купленная икра! Не то что у слабоумного быдла, которое все это придумало и построило!

Журанков вздохнул, а потом улыбнулся через силу.

— Да, есть такая опасность... Вот потому мы не только от чужих таимся, но немножко и от своих... Свои ведь разные.

Помолчали.

Сын уже не смотрел в землю. Куда-то выше, вдаль. И глаза его впервые за все время разговора были не угрюмыми, не испуганными, не затравленными... Были такими, какие полагается иметь в детстве. В молодости.

Мечтательными.

Потом сын спохватился.

— Погоди. Так... А какая связь? Что тогда получается с нашей... — Он запнулся на миг, а потом решительно, не щадя себя, закончил: — С нашей бандой?

Журанков опять вздохнул.

— Ты дуй от них подальше, сын, — сказал он. — Я, собственно, чтобы тебя предупредить, и приехал. Наплел им, что согласен на них работать и что мне только нужны доказательства: твой собственный рассказ.

— Значит, наша банда... — настырно повторил Вовка, почти не слушая и по-мужски думая сейчас прежде всего об установлении истины, остальное подождет.

— Ну, что банда... — пожал плечами Журанков. — Вывод напрашивается... Тот мужик не уточнил, разумеется, от кого он. Сказал: влиятельная организация. Наверное, американцы. А может, наоборот, наши, которые хотят на это дело наложить лапу и продать, как ты сказал. Разница-то невелика. Получается, что твой боевой товарищ, которого ты спасал, нарочно твоими пальцами нажал курок. Чтобы были твои отпечатки. Получается, вся ваша банда подставная. Уж не знаю, кто в ней это знает, младший ли твой воевода, или только старший, или вообще один какой-нибудь казначей, через которого деньги идут... Ведь не бесплатно же вы существуете, ты думал об этом? Наверное, флажки шьете, форму... Наверняка арендуете помещения... Оружие, между прочим. Вот тебе, говоришь, пистолет дали — его же купили где-то, он же денег стоит... Вот такой компот, сынище. Получается, вся ваша операция против какого-то врага была придумана специально, чтобы меня зацепить. И, значит, на самом деле еще неизвестно, кому он был враг. Может, как раз им, а нам друг. Хорошая комбинация, многоцелевая. Специалисты работали. Мало что нас с тобой зацепили, мало что убили, кого им надо было, так еще и шумиха опять: русские — это же сплошь нацисты и истребители нерусских... Много у вас таких операций делается?

Сын не ответил. Да Журанков и не ждал ответа.

Ему нестерпимо хотелось погладить Вовку по голове, но он не имел на это права.

— Ты давно с ними? — спросил он.

— Нет, — нехотя проговорил сын. Помедлил. — С февраля... на зимних каникулах познакомился...

Журанков только головой покачал.

Как это звучало... Несовместимо: Школьные каникулы — и подонки, сующие детям пистолеты...

Журанков помнил школьные каникулы десятого класса. Сколько счастья поместилось в эти без малого две недели! Новый год с родителями и с друзьями, мама классных пирожных напекла, и с первым в жизни глотком шампанского! «Ты уже взрослый... можно...» Елка! Пахучая, колючая, с игрушками и лампочками... Много ли нам, небалованным, тогда надо было, чтобы взлететь на седьмое небо лучшего в году праздника... Разноцветные огоньки на ветках, смеющиеся молодые родители, замечательные друзья и полная свобода. Для чего человеку свобода? Чтобы быть собой. По телевизору столько фильмов показывают хороших, даже спозаранку! И можно на дневной сеанс в кино! А после — в снежки играть подня! А стемнело — читать вволю, всласть! Как раз на последних зимних каникулах Журанков, он помнил это точно, прочитал, совершенно замороженный, цвейговского «Магеллана»... И потом, без перехода, — «Вселенную, жизнь, разум» Шкловского.

А теперь — младший воевода. Пистолет с нацистской символикой...

Вот и настало будущее.

Четверть века адских усилий и жертв, чтобы сменить то на это.

— Беги от них, — сказал Журанков. — Посвящения ты не прошел, так что беги. Затаись. Они подонки. И, наверное, предатели. Враги.

Слова были грубые и невыносимо пошлые, будто с ископаемых плакатов. Ежовщина. Интеллигентно-

му человеку неловко, стыдно их произносить. Это же слова стукачей, вохровцев, вертухаев...

Но других слов тут не было.

— А ты? — спросил сын.

Журанков не ответил.

Вообще-то он знал, что делать.

Не решил еще в деталях, но в принципе знал. Или вниз головой с моста, или как-то так. Материалы у Алдошина, и «Полдень» теперь без Журанкова, наверное, справится... А ТАМ до него никто не доберется. А когда до него будет не добраться, они и от Вовки отстанут. Зачем им Вовку сдавать, если Журанкова все равно нет.

А того, кого погубил Вовка, все равно не вернешь...

Про него лучше вообще не думать. В голове не укладывается...

— Я-то выберусь, — бодро сказал Журанков. — Контрразведка тоже ведь работает.

Сын медленно, с сомнением покивал. И вдруг застенчиво, очень по-детски глянул на Журанкова.

— Слушай... Глупо, но... ты помнишь стих про бегуна?

— Про бегуна? — обалдело переспросил Журанков.

— Ну да. У меня где-то в мозжечке застряло... еще с тех времен... — Вовка неловко отвел глаза. — Ничего толком не помню. Про бегуна, и все...

Какие-то тяжелые, вихляющиеся жернова медленно провернулись у Журанкова в голове.

— Погоди... — пробормотал он.

— Время от времени всплывает, настойчиво так... Как бы солнце, яркое такое, песчаная дорожка среди высоченной, с меня ростом, травы, я к тебе бегу — а ты мне стих потом читаешь... Про бегуна.

Широкая улыбка проступила на лице Журанкова. Даже не проступила — медленно всплыла откуда-то из невообразимой черной бездны.

— Это мы дачу в Токсово снимали... — проговорил он мечтательно. — В восемьдесят девятом. А озеро помнишь?

Сын помолчал.

— Вроде... — неловко улыбнулся он.

— Ну, тогда... Тогда и я вроде помню.

Журанков запрокинул голову и снова уставился в небо. Он так туда хотел...

Жена хорошо читала стихи, сам-то он всегда стеснялся.

— Вот человек... — начал он. Горло перехватило. Кто бы мог подумать... Про бегуна, да... Он и забыл давным-давно. А теперь вот вспомнилось, будто и не забывал. Он прокашлялся. Сын нетерпеливо смотрел ему в лицо.

Вот человек, который начал бег
Давно, когда светало во Вселенной.
Не вычислить, какой по счету век
Бежит он вверх и вдаль, к благословенной
И важной цели. Что за торжество
Манит его превозмогать пространство...

А он бежал, размахивая что было сил руками и косолапя, и шлепая сандаликами по крепко сбитому, утоптанному песку, и тыкался лицом мне в ноги, обнимал мне колени и победно кричал: «Я бегаю быст-р-ро, как пуля!» Он был горячий, как солнечный зайчик, и от него звонко пахло детством... А кругом жужжали шмели.

Он был рабом египетских пустынь,
Изгоем смуглым, что задохся в беге —

И умер бы, когда бы не постиг,
Что суть судьбы есть вечный бег к победе.
Все прочее — недвижно и мертво.
А в нем живут азарт и напряженье,
И золотыми мышцами его
Все человечество вершит движенье.
Беги, бегун. Беги мой брат, мой друг!
Усиьем духа ты минуешь финиш —
Но вновь затеешь свой победный круг
И в день грядущий острый профиль двинешь.
Беги, бегун...

Журанков умолк. Несколько мгновений в воздухе, медленно распадаясь, еще жил грохот жуткого, точно египетские пустыни, пространства, разделившего ту дачу в Токсово и этот скверик в Москве — пулеметный грохот трассирующих годов, что очередью пролетели над головами ошеломленно пригнувшихся людей. Потом растаял.

— Спасибо, — тихо сказал Вовка. У него чуть дрожали губы. — Это тот. Хотя... теперь оказалось, что он совсем не про то...

Десять минут назад он сказал, будто не знает, что делать. Вернее, просто плечами пожал. Теперь уже знал. Правда, не стоило говорить об этом вслух.

Надо пойти и всю эту вражью сволочь заложить. И пусть его, Вовку, тоже судят. Пусть тоже сажают — заслужил. Телефонном мужика бил по голове уже сам, никто другой, ни на каких провокаторов не свалишь. Мужик-то хороший, тоже друга спасал, между прочим. Без колебаний под мой ствол полез. И Ярополка только в стену приложил, бережно. Мне про «неотложку» кричал. А я его... Как подлец. Сзади.

Даже говорить не о чем.

Не сумел Родину спасти, так надо хоть не мешать ее спасать этому... ну, вот этому вот...

Папе.

Когда я к ментам соскочу, а банду заметут, он шпионам приветливо сделает ручкой — и чуки-пуки, все путем.

Маму жалко...

Зато каких шмуздюлей получают от своих заморских хозяев те суки, что все это затеяли!!

— Беги, бегун, — тихонько повторил Вовка.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОКУДА КРОВЬ НЕ ПРОЛИЛАСЬ



ДРУГИЕ: МАЛЕНЬКИЕ ГАУЛЕЙТЕРЫ БОЛЬШОГО ЗВЕРИНЦА



когда им стало известно, что свидетель, неожиданно-негаданно попавшийся под руку одному из их мальчишек, остался жив, обоих охватила легкая паника — и, покуда они в меру своего разумения анализировали возникшее положение, она лишь усиливалась.

Нет, за себя они, в общем, не опасались. До них было довольно трудно добраться — конспирация плохо-бедно, да соблюдалась, шкуру свою они берегли, она же правильного цвета и запаха, не то что у некоторых. А потом, даже если в фокус внимания милиции попали бы не задиры-исполнители, для тех, кто не махал кулаками, не лупил битами и не посверкивал мужественно ножами на безоружных, оказалось бы почти невозможно подобрать скольконибудь серьезную статью. Подумаешь — один писал статьи и доказывал, что Дажбог породил русских на пажитях Гималайских еще до оледенения, а другой обучал убойным искусствам, строил в ряды, вкола-

★ чивал дисциплину и объяснял все это возрождением славянского порядка. В чем, скажите на милость, криминал? Свобода же. Вон в Украине вообще боевому гопаку учат: ведь Рим в древности свою империю потому лишь и создал, что украинцы латинян своевременно насчет гопака просветили, — и при том даже сам Конгресс США зачислил Украину в разряд самых демократичных держав на планете; поди возрази, мент поганый. А то, что России в подобных почестях отказано, вина совершенно даже не русофилов, а, наоборот, поганого Кремля, которому все нейдет, все не терпится обратно стать полноценным правительством. Это они оба прекрасно понимали, хотя вслух твердили прямо противоположное: Кремль лежит под Вашингтоном и не рыпается, а вот они — единственные и, пожалуй, последние неподкупные защитники русской независимости и... как ее... идентичности.

И за пацанов своих они, собственно, тоже не опасались. Что за них опасаться? Знали, на что шли; вот и будет им возможность на деле проявить хваленую русскую беззаветную преданность и жертвенность, о которых столько говорено. А новых набрать — нет проблем. Как будто не хватает на улицах молодняка с кашей в голове и с крепкими кулаками, которые от бестолковости и бесцельности жизни чешутся днем и ночью; градус агрессии в стране просто как в мартеновской печи. Стоит только посмотреть, как заводится с полоборота народ, скажем, в метро, если в давке кто-то кого-то толкнул. Все на всех в обиде, все всех ненавидят. Те у нас то отняли, а эти у нас это — в итоге все всё отняли у всех, и надо либо незамедлительно отобрать все у всех обратно, либо уж хотя бы как следует отомстить. Да ведь и впрямь регулярные государствен-

ные структуры как спятили; а то и впрямь куплены-проданы. А что, не может быть такого, что ли? Впервой? Чтобы чиновная братия страны более всего презирала именно тот народ, на котором эта самая страна стоит, и драла семь шкур именно с него (мол, все равно никуда не денутся, смерды), по всякому поводу и вовсе без повода задабривая любой иной (у нас же дружба народов! нельзя ставить ее под угрозу, а то Россия распадется, как СССР!). От этого расклада и в самом деле немудрено озвереть. А при общем озверении не надо особого хитроумия, чтобы тем, у кого кулаки чешутся, растолковать: ты не зверь, и не мерзавец, и не преступник, ты, дубина стоеросовая, не просто дубина, но дубина народной войны. Ведь еще Лев Толстой писал — дубина вещь неприглядная, но единственно спасительная, когда разговор пошел всерьез. Конечно, растолковывать это надо не тем действительно обездоленным, бессемейным и бездомным, у которых вся энергия уходит на выживание и вся агрессия направлена на цели простые, физиологические — добыть хавло, отвоевать у пожилых бомжей подвал... Нет, поднимай выше, наш контингент — молодежь относительно благополучная, может, даже вполне благополучная, и желательно — вполне образованная, из тех, кому приспичило не просто глотки рвать, а еще и чувствовать себя при том борцами за правое дело, за идеалы.

Но деньги!!

Не так уж часто главный, судьбоносный, жизнеутверждающий спонсор, предпочитавший сохранять благородное инкогнито, заказывал им конкретные, четко сформулированные акции. Не так уж часто обещались столь кругленькие суммы. Да что говорить — редко! И вот именно теперь — такая оп-

лошка, такой прокол! Как раз тогда, когда в акции участвовал, не доверив филигранную работу никому из рядовых пацанов и даже не объяснив толком, в чем именно она должна заключаться, сам представитель неизвестного кормильца!

Конечно, оба имели свои предположения относительно природы невидимого за облаками небесного благодетеля. Оба были неглупыми людьми и не могли не отметить еще задолго до нынешних событий: более всего по нраву ему то, что как раз явно и недвусмысленно вредит русским, отшибает у них последние мозги и перед всем светом выставляет тупыми бандитами, опасной и не поддающейся никакой культурной переделке мировой сволочью. Еврей, вечно невинная овечка, как всегда, со скрипачкой, на худой конец — у синхрофазотрона, таджик, ясен перец, то с лопатой, то с мастерком, армянин, натурально, с книжкой (чаще, правда, с чековой — но ведь все равно с книжкой!); а русский, подлюка, снова, из года в год, из века в век, беспробудно, — с окровавленным топором и с пеной на губах. Да еще — это вот внове! — и под свастикой в придачу, со шмайсером в руке и Гитлером в башке. Нечего сказать — хорош светлый путь национального возрождения! Тот, кто учил бить наотмашь, крепко подзревал, что на самом деле вся их маленькая, но гордая компания существует на динары какого-нибудь бен Ладена, а то и, поднимай выше, — на фунты самого Березовского: ну кому еще может быть выгодно, чтобы русских окончательно возненавидел весь черножопый мир? Тот же, кто писал безумные и смехотворные этнологические труды, был в своих подспудных реконструкциях еще ближе к истине — правда, почему-то грешил на прибалтов. Те своих эсэсовцев реабилитируют и лелеют, так им же баль-

зам на душу, что у нас тут тоже, мол, нацизм цветет махровым цветом: с какой такой стати русские нам пеняют, когда у них у самих вон чего. Но этими соображениями ни тот, ни другой никогда не делились друг с другом. Деньги, в конце концов, не пахнут. И потом — оба, как и многие до них, были убеждены, что ради святой цели можно брать деньги хоть у врага рода человеческого.

И, как многим до них, никогда им не приходила в голову простая мысль: вот как раз на святую-то цель никогда никакой враг не раскошелится.

— А вы не проверяли — может, часом, сумма-то... кхэ... уже переведена?

— Как же не проверял? Проверял.

— Нет?

— Ну разумеется, нет.

Пауза.

— Этот молодой человек... кхэ... представитель... кхэ... как его...

— Ярополк.

— Ярополк... А по бабушке?

— Не знаю. Он сразу сам назвался так. Безо всяких наших посвящений.

— Ну да, ну да... Он... кхэ... больше не появлялся у вас?

— Нет. После акции как в воду канул.

— А мальчишка?

— Отчитался по всей форме, честно — и отполз в свой угол, и носу не кажет. Я поручил одному из своих героев ему позвонить — ответил. Сказал, лучше дома пересидит несколько дней.

— В нем-то вы хоть уверены?

— Как сказать... Он странный. Обычно-то у нас кто? Обычно у нас нормальные драчуны. Ну, иногда совсем бешеные... Всего-то, скажем, разрез глаз не

тот — а ему уже воняет! Даже мне не воняет, а ему воняет! А этот вроде даже и драться-то не хочет, а так... по необходимости. Как еще защитить, мол, Родину-мать? Таких редко встретишь...

— Я не о том.

— Я к тому и веду. Что тут можно сказать точно? Ситуация нештатная... Мальчишка в шоке, это понятно.

— Не наделал бы глупостей...

Пауза.

— Ах ты ж, какая незадача! Откуда он вообще взялся на нашу голову, этот второй!

— Не вопрос. Дело-то на поверку вышло громкое, чурка этот видной птицей оказался... Вот как на духу: знал бы заранее, что он такой знаменитый, — трижды бы подумал, хоть какой куш сули...

— Тем более что... кхэ... куша теперь, скорее всего, вообще не будет.

— По телевизору в криминальных новостях...

— Я не смотрю этот жидовский ящик.

— Ваше право. Но там сказали, что второй — довольно известный журналист, пришел интервью взять у покойника.

— Журналист! Только этого не хватало! И он видел этого Ярополка?

— Мальчик сказал, что не только видел, но и побил изрядно.

— То есть сможет, ежели что, узнать. И, конечно, этот наш... кхэ... Ярополк все уже прекрасно уяснил и просчитал... Ох, грехи наши тяжкие! Журналист ведь мог видеть и то, что... кхэ... наш подопечный мальчик не вполне... кхэ... самостоятельный убийца.

— То-то и оно.

— Мальчика бы этого... ну... понимаете...

— Еще бы не понять. Но это — никак. Я не знаю

частностей, Ярополк не посвятил. Но, как я понял, именно чтобы втянуть мальчика, и была вся игра. И мальчик теперь нужен живой, здоровый и даже невредимый.

Пауза.

— Кхэ... ну и дела.

Пауза.

— При таком раскладе рассчитывать на обещанные за акцию деньги, безусловно, не приходится. Пока остается вероятность того, что свидетель может доказать: виноват в убийстве не мальчик, а... кхэ... некто бывший с ним... И при том этот некто и есть представитель спонсора... Да! За такую работу не то что деньги выплачивать — руки отрывать надо!

— Непредвиденная случайность...

— Ну неужели нельзя было удостовериться в том, что второй тоже готов? И коли не готов — то... кхэ... как это принято? Контрольный... кхэ... выстрел?

— А кто бы этим стал там заниматься? Сам пацан? Он и так, собственно, подвиг совершил — огрел журналюгу по кумполу! И это после того, как его рукой застрелили человека, которого ему поручено было лишь поугатать! Другой бы с мокрыми штанами сидел в углу, зажмурившись! Что же касается самого Ярополка... Не ведаю. Я тут не компетентен и не хотел бы обсуждать его действия. Возможно, он тоже растерялся. Возможно, он тоже не вполне привычен к таким ситуациям. Может, он совсем не привык по морде получать — а как получил, так ни о чем больше и думать не мог, кроме как унести ноги... Мы ничего о нем, собственно, не знаем.

— Кхэ... Вот что. По телевизору этому вашему говорили что-нибудь о том, какие показания дал журналист?

— Ничего. Кажется, он то ли все еще без сознания, то ли очухался, но память потерял...

— Вот и отлично. Хорошо бы в этом удостовериться как-то... И если информация подтвердится...

Пауза.

— То что?

— А вы сами догадаться не можете?

— Могу. Но предпочел бы и от вас услышать внятное слово. А то все — Тибет, Гималаи, Сварожичи... Славянская Лемурия... Про Лемурию-то гнать куда как проще.

— Не понимаю вашего... кхэ... юмора. Это, знаете ли, наука. Смеяться над нею — все равно что... кхэ... оплевывать свои корни. А без корней — что мы? Борьба превращается в простую уличную поножовщину.

— Ну да. А стоит сказать: Тибет, как поножовщина сразу превращается в борьбу. Понял.

Пауза.

— Не хочу этим заниматься, не... кхэ... не хочу! Даже думать об этом не хочу! Кхэ! Это ваши проблемы!

Пауза.

— Журналиста надо уб... кхэ... убрать. Пока он в обмороке... кхэ... или с мыслями собирается...

Пауза.

— Приятно слышать. Собственно, я и сам так думаю. Но как на духу: мне хотелось, чтобы такое решение мы приняли вместе. Это, знаете, нас куда-то поволокло, куда не очень хочется. Совсем иная игра поперла. Но выхода, к сожалению, нет.

Пауза.

— Только не вздумайте нанимать кого-то со стороны! Это и рискованно, и дорого. А нам и так сейчас надо... кхэ... поджаться. Неизвестно, когда будет

следующий... кхэ... транш... и будет ли. В конце концов, вы уже столько тренировали свою шпану, что пора им отрабатывать вложенные деньги!

— Это не шпана.

— Ну, героических бойцов русского сопротивления...

— Понятно. Ответ на Лемурию... Хорошо, один—один. И прекратим пикировку.

Пауза.

— Простите. Кхэ... Нервы...

— Что есть, то есть.

Пауза.

— Ну, с богом?

— А куда деваться... Это единственный шанс довести дело до конца и тем самым восстановить контакт с...

— С Ярополком. А там уж ему решать. Вернее, тому, кто за ним. Очень не хотелось бы лишиться их... кхэ... сочувствия.

ГЛАВА 1

Спасая друга

Вернувшись в столицу и едва-едва придя в себя после космодромного вояжа, Бабцев принялся искать Кармаданова. Хотя всякая активность давалась ему сейчас с трудом великим. Хотелось лечь носом к стенке и ни о чем не думать; вояж оставил не то что неприятный осадок, а просто-таки ощущение исподволь наползающей жуткой тьмы — особенно жуткой оттого, что никто, кроме Бабцева, этого наползания то ли не видел, то ли видеть старательно не хотел, убаюканный сказками о стабилизации. Будто

в этой стране может быть какая-то стабилизация, помимо лагерной!

Кармаданов исчез.

По домашнему телефону никто не отвечал. Ни он сам, ни Руфь, ни дочка. Квартира вымерла.

Буквально напрашивалось, что братья начали, как в тридцатых, — сразу семьями.

В ответ на звонки по мобильному можно было до полного удовлетворения слушать проникновенный, почти похотливый женский голос: «В настоящее время абонент недоступен. Вы можете оставить ему голосовое...»

Обзвонил друзей — друзья ничего не знали, не ведали. Набрался храбрости позвонить Кармаданову на работу и выяснил ни много ни мало, что Семен Никитич здесь больше не служит.

Это где же он, интересно, теперь служит, если его сотовый недоступен? Лесоповал? Колыма?

Не может быть. Все же нельзя так быстро вернуть сталинский стабилизец, нельзя, люди бы знали — хотя бы за рубежом, но знали бы, а от них узнали бы и тут... Нет, не может быть.

А почему, собственно? Бабцев и сам уже несколько лет всех старался убедить, что — может. Что — грядет. Что колесо судьбы вот-вот свершит свой оборот, и все вернется в этой стране на круги своя, потому что без ГУЛАГа она не стоит, рассыпается, и самые записные патриоты бегут, куда глаза глядят, вдвое быстрее изменников...

Неужели действительно?

Мороз драл по коже.

А дома ничего не подозревали. Балбес вел себя как ни в чем не бывало, только пулять компьютером почему-то перестал — на самом деле готовился к экзаменам, что ли? Слегка удивленный этой транс-

формацией, краем сознания замеченной, в сущности, не слишком-то и важной, но все-таки странно-ватой, Бабцев даже спросил пасынка на третий, что ли, или четвертый вечер после возвращения: «Неужто всех монстров замочил?» — «Ага, — хладнокровно ответил Вовка. — Практически». Ощущалась в Вовке какая-то перемена. Взрослеет... Или что? Ладно, пусть мать разбирается.

Вот в Катерине ничего не менялось. Элегантная, деловая, спокойная, холодновато-заботливая... Нормальная. Нормальней некуда. Но заводить с нею разговор о своих опасениях, пытаться обсуждать судьбу пропавшего друга, делиться предгрозовыми предчувствиями казалось глупостью вопиющей. Она посмотрела бы с насмешкой: полно ерунду-то молоть, все хорошо, ты, главное, пиши, пиши, денег лишних не бывает. Особенно если и вправду грядут какие-то напасти. С будущим мы ничего поделать не можем, стало быть, единственное средство его как-то смикшировать — иметь к моменту его наступления денег побольше.

И ведь, в сущности, была бы права. Так и есть, в сущности...

От полного отчаяния он как-то вечером отправился просто к дому Семена. Понятно было, что ничем хорошим это не кончится — если по телефону не отвечают, если все говорят, что уехал, так и под дверью квартиры можно хоть ночевать, ничего не добьешься и не выяснишь. Но Бабцеву не могло. Он уже почти не сомневался, что Кармаданова надо не просто искать — его надо спасать.

Моросил дождь. Весна сменила лучезарную милость на унылый, немощный гнев; неделю назад все сверкало, и молодые листья взрывались из почек праздничными зелеными фейерверками — а теперь

мир поскучнел, обвис, отсырел, будто природа, в одночасье проскочив лето с опережением графика, как на какой-нибудь предсъездовской вахте памятных по детству брежневских времен, влетела сразу в осень.

«Дворники» справлялись легко, и печка вроде грела исправно, но все равно как-то зяблось; ну, а уж когда Бабцев припарковался на площадке перед домом, когда вылез наружу да пошел к парадной — по коже поползли мурашки, словно промозглая сырость мигом всосалась напрямую в кости. Бабцев стоял у двери и жал, жал, невольно передергиваясь от коловшей шею и затылок сырости, знакомую кнопку знакомого домофона — как и полгода, и год назад, не так уж редко они встречались со старым приятелем; но теперь ответа не было. Не было. И снова не было.

Асфальт кипел, серые лужи топорщились, как ежи. Пока Бабцев звонил, дождь разошелся не на шутку. Втянув голову в плечи, Бабцев почти бегом дотрюшил до своей машины, с готовностью пискнувшей при его приближении... Исчез Кармаданов. Исчез.

А дома все было как всегда. Только Вовка в совсем уж не свойственной ему манере сидел у окна, положив кулаки на подоконник, а подбородок на кулаки, и то ли задумчиво, то ли, наоборот, бездумно пялился на валивший из комковатого неба дождь. Влюбился он наконец, что ли? Может, спросить? Этак невзначай, дружески... мы с ним давным-давно не говорили дружески... Ладно, не стоит парню в душу лезть. Тем более вряд ли он туда кого-то пустит.

Вон даже голову не повернул.

А потом Кармаданов позвонил Бабцеву сам.

Это было настолько поразительно, что Бабцев, последние дни только и думавший о пропавшем друге и даже работавший с великим трудом, без увлечения — да и чем увлекаться-то, все уже сказано, все предсказано, но изменить ничего нельзя, — далеко не сразу понял, кто звонит. Голос в телефонной трубке звучал бодро, жизнерадостно; он так не вязался с непонятным и столь тревожным, обставленным столь грозными признаками и предвестиями исчезновением, что не в силах человеческих было сразу осознать: вот он, канувший, кого Бабцев уж чуть ли не в ГУЛАГе схоронил, — звонит, как ни в чем не бывало, доволен жизнью, скотина.

— Семка! Да ты куда провалился? Да ты откуда?

А тот, подлец, только смеется.

— Мне сказали, ты звонил, искал меня! Спасибо, ты типа настоящий друг!

— Да где ты?

— Где-где... В Караганде! Слушай, я сейчас только на минутку звоню, успокоить тебя... Нет, правда, я тронут... Даже не ожидал. Хотя то, как ты в глухую оборону ушел при разговоре с Заварихиным, — это да, это прямо... Попробуйте меня, не скажу, где наши!

— Что?! Он это так выставил? Ты с ним меня обсуждал, свинья? Тебе еще и смешно?

— Да не смешно, что ты! Но... В общем, днями я буду в Первопрестольной, зайду и все, что только могу, тебе расскажу. Устроит?

— Семка!

— Ну, я так и знал, что устроит.

— Интересная оговорка: расскажу все, что могу... Что происходит, в конце концов?

— Ох, ты даже не представляешь, сколько всего происходит, оказывается... Хотя сам, между про-

чим, первый камень с горы столкнул! Нет, вру. Я сам его столкнул. Язык мой — враг мой.

— У меня такое впечатление, что ты слегка пьян. Или обкурился.

— Не-а. У меня просто хорошо на душе. Сто лет так хорошо не было... Понимаешь, жизнь-то продолжается! «Движенья нет — сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить...» Вот и у меня примерно те же переживания — оказывается, есть движение, есть! Ходят еще некоторые! Молча. В отличие от иных, что только говорят, но уже не ходят... Разве что под себя ходят! Ладно, я сейчас вешаюсь, а буквально завтра-послезавтра жди в гости!

Вот так.

Вот и переживай после этого за друзей. За... за приятелей.

В тот вечер Бабцев буквально на пустом месте поцапался с Катериной и в сущности ни за что ни про что наорал на Вовку.

Но не прошло и сорока восьми часов, как Кармаданов сидел у Бабцева на кухне, хлебал чай и рассказывал свою одиссею, и Бабцев чувствовал такое облегчение, что ни словом сказать, ни пером описать.

За стеной Катерина, выдав мужчинам ужин, уютно млея в любимом кресле перед самым большим в квартире ящиком и смотрела какой-то очередной из «Вечеров в Политехническом»... Уж казалось бы, сколько воды утекло, и сама она всеми атомами души и тела необратимо переменялась со времен мечтательной юности, когда человек, сумевший попасть, скажем, на спектакль Таганки, выглядел на голову выше и авторитетнее тех, кто не сумел, — а все равно не пропускала случая потешиться интеллигентскими воспоминаниями о том, какая при товарищах цвела в стране смелая и утонченная

культура. Что женщине было теперь в том, о чем, скажем, спорили Любимов с Высоцким или Товстоногов с Копеляном в затертом году, — не понять, но вот зачем-то надо ей это было до сих пор.

И, странное дело, Вовка подсел к ней и тоже глядел, и слушал, и, кажется, даже впитывал... Уж лучше бы монстров мочил, честное слово, чем вывихивать себе шею, пытаясь в полном вранья прошлом присмотреть себе ориентиры на будущее и жить потом, как многие сейчас живут, спиной вперед.

Но в смысле картинки — в доме царили мир и уют, а это уже немало. И перед приятелем не стыдно. Можно спокойно поговорить.

Хотя... Только название, что спокойно. Чем больше Кармаданов рассказывал тем сильнее вновь охватывала Бабцева отступившая было тревога.

А Кармаданов не понимал.

— Вот там я и уразумел, что им сразу с двух сторон таиться приходится: и от обычных, скажем так, промышленных шпионов, ну, это, как всегда, противно, но нормально. Весь мир так живет. И в то же самое время — от своего же чиновничества, которое радо-радешенько наложить на финансирование лапу и начать, как и прочий бюджет, его пилить. Поэтому часть денег идет достаточно кружными путями... Вот на один такой путь меня и угораздило напороться, и мы с тобой тут же в праведном гневе устроили очередную гласность. И едва не подставили весь канал. А уж меня подставили — ты и представить себе не можешь как. Думаешь, на нас с Симой какие-нибудь американские агенты напали? Или мафия? Черта с два. Скорее свой брат из охранных структур какой-нибудь высокотехнологичной фирмы, напрямую кормящейся, скажем, с Минэкономразвития. Наша безопасность это помаленьку раз-

мотает, даже если ты и не вспомнишь, кому мог меня засветить. Но, конечно, процесс времени потребует. И полной гарантии, что выявлена вся цепочка, не получится. Поэтому я и все мои еще долго как бы в угрожаемом положении... Вот и пришлось брать ноги в руки.

— И как же ты без столицы?

— Да ничего, нормально... От столичного бардака подальше, и в этом есть даже плюсы. Сима, например, давно рассказывала, что к ним — к третьекласскам тогда! — уже подваливали старшие: а покурить слабо? а вы чо, до сих пор пива не пробовали? нет? а вы чо, больные?

— А Руфь?

— Ну, а что Руфь? Мы с Серафимой сгоряча хотели ей вообще не говорить ничего. Но как тогда объяснишь необходимость стратегического отступления? Пришлось... А уж тогда у нее даже колебаний ни малейших не осталось. Пешком бежать была готова... Будет преподавать литературу, как и здесь. Там много семейных, и детей полно, и школы, и, похоже, какой-то даже широкопрофильный вуз... или мелкий университет... Но такой переезд — дело многоступенчатое. Вот пришлось кое за каким барахлом заехать.

— И враги тебя тут не ждали? — Бабцев совсем этого не хотел, и картина нападения на Кармаданова и его дочь вполне всерьез пучилась перед глазами после страшного рассказа Семена; но в голосе все же проскользнула ирония. Понятие «враги» — это само по себе гротеск, оно из времен врагов народа и твердокаменного единства партии большевиков. И ничего тут не поделаешь.

— А черт их знает, — просто ответил Кармада-

нов. — Не знаю. Понимаешь, меня во время этого набега на Москву, может, даже охраняют тишком.

— Как это?

— Без понятия. У них — своя работа... Во всяком случае, перед отъездом я должен был написать и сдать в безопасность довольно подробную роспись того, когда и куда в столице буду мотаться. Вот что я вечером первого же дня, по предварительным прикидкам, с девятнадцати до примерно двадцати двух буду у тебя сидеть, — это там знают.

— Очередная шарашка... — брезгливо пробормотал Бабцев.

Кармаданова, видно, так уже приручили, что он обиделся очевидно и искренне.

— Почему сразу шарашка? — с негодованием осведомился он. — Ну что ты, Валька, право слово... Живем с семьями, в уюте. Интернет... Хочешь — уехал, хочешь — гостей позвал... Вот приезжай ко мне, когда мы там окончательно укоренимся. Я рад буду. Да и ты все посмотришь своими глазами. А безопасность... Что, было бы лучше, если бы Симку украли, а мне и впрямь паяльник вставили?

Обыватель всегда предпочтет безопасность свободе, подумал Бабцев. Все диктатуры именно этим и берут — обещают личную безопасность. А потом ежедневно творят такое, что никакая мафия за сто лет не сумеет...

— Ну, адаптированная к свободам двадцать первого века шарашка, — сказал Бабцев, примирительно улыбнувшись. — Все-таки времена не те, пришлось им сделать косметические поправки. Но в целом... А как ты думаешь — Путин про вашу контору в курсе?

— Ну, знаешь... Он мне как-то не отчитывался. Думаю, вряд ли такое дело могло быть организовано без поддержки с самого верха.

— То есть, может, даже и этот при всех его сталинских замашках, и то не знает. Может, это вообще только военных инициатива. Куют. Против кого — мол, сами решим, когда скуем. Скажи, Сема, неужто тебе не страшно?

— Мне в Москве страшнее, — признался Кармаданов.

Вот то-то и оно, подумал Бабцев.

— В Москве... В Москве при всех издержках — нормальная человеческая жизнь. Жизнь разных, да, но одинаково свободных людей. А там... Ну вот скажи — чем вы там занимаетесь?

Кармаданов, глядя мимо Бабцева, задумчиво прихлебнул чаю.

— Насколько я знаю, компания сосредоточилась на запуске спутников на геостационарные орбиты. Это очень существенная часть космических программ, чью ни возьми... Мировой спрос растет на глазах.

— Ага! То есть ты сам признаешь, что толком и не представляешь, чем твоя шарашка занимается?

— Честно говоря, я был бы очень рад, если бы там велись перспективные разработки, — признался Кармаданов. — Я даже объяснить тебе не могу, Валька, но у меня какой-то восторг. Да, несколько дурацкий, да, немножко, наверное, детский... Но когда я узнал, что у нас все-таки, несмотря ни на что, снова кто-то всерьез занялся космосом, празднично стало на душе.

— Ты с ума сошел, — сказал Бабцев. И вдруг, повинувшись какому-то наитию, спросил: — Слушай, а есть там у вас военные, которые верят, что мы будем первыми на Марсе?

Кармаданов удивленно округлил глаза, потом громко сказал: «Пф-ф!» и чуть пожал плечами.

— Да я с военными толком и не общался... — По-медлил. — А по разговорам, по обмолвкам судя — вообще у всех такое чувство, что, мол... Как бы это... Мол, мы всем еще покажем. На Марсе? Да хоть и на Марсе.

— Но ты понимаешь, я надеюсь, — с напором сказал Бабцев, — что это все очередная туфта? Даже если там действительно что-то делается — так наверняка какая-то агрессивная пакость?

— Ты просто маньяк, — опять возмутился Кармаданов. — Ну какая? И, главное, зачем?

— Какая — не могу сказать, я не специалист. А зачем — тут ответ напрашивается. Чтобы опять грозить всему миру. Опять колонизировать Закавказье, опять завоевать Европу... Реванш. Как ты сам сказал: мы им всем еще покажем.

Против ожидания, на сей раз Кармаданов не стал яро и бездумно возмущаться. Он опять прихлебнул чаю, поразмыслил. Но то, что он затем выдал, было еще отвратительнее, чем если бы он начал махать руками и сторяча кричать: «Нет!»

— Знаешь, — негромко и убежденно проговорил он; — я думаю, градус советской агрессивности был сильно преувеличен. Штатники тоже допекли тогда. Старцы кремлевские в своем маразме не зря пытались как-то сопротивляться. Метили общечеловеки якобы в коммунизм, а палили-то во всех нас... Теперь ясно, что коммунизм был только донельзя удобным предлогом, а палили они просто в нас. И к тому же... Если и были у кого-то из товарищей поползновения потоптать Европу родимой кирзой — их где-то можно понять. Им же тогда в Ниццу, скажем, на отдых не попасть было иначе, как только ее завоевать. Вот они и мечтали... А теперь — коль бабла нарубил достаточно, езжай! Свобода, демокра-

тия, весь мир в кармане. И конец агрессивности. То есть агрессивность отдельных деловаров даже возросла, бабло-то рубать надо, но агрессивность государства — под откос. Зачем танками, когда можно просто аэробусом?

— Ну, тебе мозги промыли, — скривился Бабцев.

— Ох, да оставь. Это космос, понимаешь? Космос! Китайцы и те уже на Луну собрались! Кончится тем, что... Будем будто на голом островке сидеть, обхватив коленки, и смотреть с тоской, как по горизонту ходят туда-сюда лайнеры под чужими флагами. А сами туда даже на шлюпке поплыть не можем — проси сперва у тех лайнеров разрешения, да потом шлюпку у них проси. Так можно жить?

— Люксембург какой-нибудь живет и не страдает.

— Ну, знаешь... Ему, Люксембургу, привезут. Он маленький, ему немного надо.

— А нам, значит, много.

Кармаданов в ответ лишь тяжело вздохнул. Помолчал. Бабцев, откинувшись на спинку стула, с торжествующим прищуром смотрел на него — нечем крыть.

А Кармаданов вдруг сказал:

— Люксембургу просто за деньги привезут, а над нами еще поиздеваются всласть, да и спросят втридорога.

— О! А ты не думал — почему?

— Думал. Просто по старой памяти, Валя. Вот как ты до сих пор успокоиться не можешь...

— Нет, дорогой. Потому что Люксембургу все надо исключительно для жизни людей, мирных люксембуржцев. А нам — чтобы перед всеми нос задирать, учить всех уму-разуму, а кто не слушается, тех отечески стегать и шлепать. Вот почему.

— Нет, — твердо сказал Кармаданов. — Потому

что Люксембург никому не соперник, а мы... Даже теперь, когда все рыхло и ненадежно, как гнилушка в болоте, все равно — одна из мощнейших держав. А если вдруг очухаемся? Вот почему. Кому нужен такой конкурент?

— Все ясно, — проговорил Бабцев. — Военно-патриотическое воспитание у вас там, я смотрю, на высочайшем идейно-художественном уровне. Быстро они тебя... Чаю налить еще?

— Налей.

Некоторое время они молчали. Бабцев с демонстративной, аффектированной тщательностью и заботливостью — идейные разногласия никогда не помешают нам остаться друзьями, верно? — налил Кармаданову свежего чая.

— Я вот что еще скажу, — проговорил Кармаданов. — Можно доводы подбирать и так, и этак. Но... Понимаешь, я когда узнал... увидел, как увлеченно они там... Просто именины сердца. Даже не могу сказать почему. Казалось бы, ну что мне этот космос? Никогда я им не увлекался, не интересовался. И вдруг... Ну, я не могу тебе это иначе описать — будто какая-то дверь из тесного, темного, пыльного чулана открылась в громадный мир. Из спертой духоты на свежий степной ветер... Из плесневелой пещеры в сверкающий бескрайний полдень...

— Пойми, Семка, — задушевно и негромко ответил Бабцев. — Я одно знаю, но зато знаю это твердо, как дважды два. Вот ты про море, про чужие лайнеры... Нам ведь даже лишней мили территориальных вод дать нельзя — мы их в помойку превратим. Один процент прожрем, пять процентов растащим, остальные проценты — засрем. Ни себе, ни людям. Как с Курилами. А дай нам космос, мы и с ним управимся тем же манером. Остальные страны и глазом

моргнуть не успеют, как вместо Моря Ясности уже куча русского говна. Так что лучше уж пусть не дают нам шляпку.

Кармаданов задумчиво покусал губу.

— А мне кажется, — тихо сказал он, — человек начинает превращать жизнь в помойку именно когда чувствует, что нет ему пути дальше и выше. Вот и становится на все плевать. Помнишь, Иов роптал на Бога: зачем свет человеку, путь которого закрыт? А открой ему путь...

— Балда ты, — ласково сказал Бабцев. — Балдой был, балдой остался. Мечтатель. Бутерброд тебе намазать?

Бабцев почти не спал в эту ночь. Ворочался, вставал, даже накапал себе легких снотворных капель... Жарко было, душно, тошно. Рядом спала Катерина, спала мирно и почти беззвучно, у нее сон был — дай бог каждому, а Бабцев мучился. Тревога распухла, как ушиб. Бабцев едва дождался рассвета.

И первое, что он сделал поутру, — это позвонил знакомому корреспонденту «Свободы» Айзеку Рубину и договорился о встрече. Они давно знали друг друга, и если бы встречались чаще, можно было бы сказать, что они дружат.

Две чашечки кофе, маленькие и нежные, цвели на столике перед ними, мирно жужжало маленькое кафе. Айзек слушал дружелюбно, внимательно, не прерывая ни единым словом. Бабцев, стараясь говорить очень спокойно и непредубежденно, поведал о своих подозрениях. Он понимал, что без точных отсылок к источникам его печальная повесть выглядит неубедительно, почти параноидально, но подвести Кармаданова, к тому же во второй раз, Бабцев никак не мог. И тем более не мог он сослаться на безымянного байконурского майора — это только тут и для

них двоих он имел все шансы остаться безымянным, а там его быстро бы вычислили. Костей бы не собрал майор — как пить дать.

Будь что будет. Если не попытаться сейчас — потом всю жизнь можно промучиться. Пусть ничего не выйдет, пусть порыв Бабцева останется безответным — он сделал, что мог, и совесть его снова чиста.

Как там в «Гнезде кукушки»? Я хоть попробовал...

— Я понимаю, что это свидетельства немногочисленные и, кроме того, совершенно косвенные, — подытожил Бабцев сам. — Собственно, их два. Во-первых: в государственно-частной корпорации занимаются, по всей видимости, не только тем, для чего она официально была создана. И во-вторых: с Байконура в какое-то иное место, напрашивается, что именно в данную корпорацию, поголовно переведены офицеры, убежденные, что Россия будет первой на Марсе. Энтузиасты-фанатики, вероятно. Поседы империи... На мой взгляд, эти свидетельства уже настораживают. Они наводят на мысль, что Россия тайком, тайком даже от собственных демократических институтов, от собственного народа, предпринимает, как говорят спортсмены, второй подход к снаряду. Вторую попытку завоевать господство в космосе. Насколько эта попытка реальна — уже другой вопрос. Бить тревогу рано, но иметь это в виду и обратить на это внимание мирового сообщества — уже пора. Иначе может оказаться поздно.

Айзек молчал. Его печальные глаза сочувственно смотрели на Бабцева.

— Я мог бы написать об этом сам, разумеется, — сказал Бабцев, и голос его дрогнул. — Да, мог бы. Но у нас тут столько дутых сенсаций каждый день... Ни-

кто не заметит, никто не обратит внимания. Никого не убили, не взорвали, не расчленили — значит, и говорить-то покамест не о чем... Надо, чтобы с подобным материалом выступило серьезное, авторитетное зарубежное издание. Чтобы узнал сначала мир, а уж потом, извне, информация пришла сюда. Только так, а не наоборот.

— От кого вы получили ваши сведения, Валентин? — негромко спросил Айзек.

— Не могу сказать, — ответил Бабцев, сама понимая, что, вероятно, этой фразой подписывает смертный приговор всей своей импульсивной благородной попытке. — Я никак не хочу подвести своих информаторов.

— Все это звучит очень голословно и, простите меня, пустяшно, — сказал Айзек, не упустив случая щегольнуть своим знанием разговорного русского. Так и произнес: пустяшно. — Никто не стал бы подставляться с таким материалом. Толку чуть, а по носу можно получить очень больно. Я понимаю и разделяю вашу озабоченность, Валентин, и я давно знаю вас, как очень ответственного профессионала, искренне переживающего за судьбу своей страны... Да-да, это не слова. Но сейчас я ничего не могу сделать. Корпорация на подъеме, только что был произведен показательный, коммерчески очень выгодный и в высшей степени квалифицированный запуск. Если она подаст на редакцию в суд за клевету — чем мы ответим?

Бабцев молча вцепился обеими руками в свою чашечку и в два глотка выпил кофе.

— Понял, — проговорил он, и от разочарования голос его дрогнул снова.

Айзек помолчал. Покачал головой.

— Я подумаю, что можно сделать, — сказал

он. — Посоветуюсь, поговорю кое с кем в посольстве... Сложная ситуация, Валентин. Щекотливая. Но я вас понимаю. Вторая попытка... Это совершенно ни к чему. Даже если она провалится. А если к тому же она не провалится, то...

— Да провалится! — не выдержав, запальчиво сказал Бабцев. — Конечно, провалится! Но сколько сил будет растрачено впустую! И как озлобятся затеявшие все это авантюристы! Ведь они опять начнут винить в неудаче весь свет! Всех, кроме себя. Коварную Америку, продажных демократов, двурушничавших инородцев... Как всегда. А тогда сразу опять — усиление агрессивности, нетерпимости... Будто нам мало!

— Я посоветуюсь, — повторил Айзек и встал. — Постараюсь не откладывать этого в длинный ящик. И вам отзвоню.

К кофе он так и не притронулся. Видимо, то, что рассказал Бабцев, встревожило опытного журналиста куда сильнее, чем он старался показать.

Да, видимо, так. Потому что Айзек не просто отзвонил Бабцеву, но отзвонил в тот же вечер, около десяти. И голос у него был виноватым.

— Ну, следовало ожидать, Валентин, — сказал он. — Никто не хочет связываться со столь сомнительным материалом. И, между нами говоря, никто не верит, что Россия в состоянии предпринять такую попытку. Нет у нее подобных возможностей. Один из коллег даже назвал этот слух провокацией, и я так понял, что он подразумевал провокацию с вашей стороны, Валентин. Простите.

— Да, на меня это похоже, — отрывисто и горько сыронизировал Бабцев.

— Но не все потеряно, — продолжил Айзек. — Я действительно поговорил кое с кем в посольстве...

И один человек заинтересовался вашим рассказом. Если у вас есть время и желание, он готов завтра же встретиться с вами.

— А чего он хочет? При чем тут посольство?

— Этого я не знаю. Давайте встретимся завтра в четыре пополудни в том же кафе... Я вас сведу, познакомлю, а дальше он сам объяснит, что ему нужно.

— Давайте, — решительно ответил Бабцев.

Каждый путь нужно пройти до конца.

Бабцев вошел в кафе ровно в шестнадцать, но Айзек и его спутник уже были здесь. На момент представления оба церемонно встали.

— Валентин Бабцев, великолепный журналист и мой старый знакомый, — сказал Айзек. — Юджин Макнайт, занимается вопросами взаимодействия в области науки и культуры...

Валентин и Юджин обменялись рукопожатием. Рука у нового знакомого была крепкой, улыбка — открытой и приветливой. Похоже, симпатичный человек.

— Ну, а я должен идти, прошу прощения, — сказал Айзек, и в голосе его снова, как и вчера вечером, проскользнули виноватые нотки. — Моя миссия закончена, а дела не терпят.

Конечно, с легким сожалением подумал Бабцев; он предпочел бы разговор втроем. Но у работающих в полную силу людей каждая минута на счету, и зачем, спрашивается, Айзеку сидеть здесь, слушая чужой разговор, к которому он не имеет уже никакого отношения? Пустое транжирство самого бесценного достояния — времени. Бабцев чуть помахал ему рукой, Айзек, улыбнувшись, мельком ответил тем же и торопливо удалился. И на том спасибо. Нет, не так. Просто: спасибо. Айзек, вероятно, сделал все, что было в силах человеческих.

Посмотрим...

— Рад знакомству, — сказал Юджин. Говорил он по-русски, похоже, совершенно свободно. Ну и хорошо. Он смотрел на Бабцева пристально, как бы что-то прикидывая про себя. Бабцев постарался ответить ему таким же взглядом. Мол, я тоже еще не знаю, что ты за птица и стоит ли иметь с тобой дело. Юджин все понял и чуть усмехнулся. Отпил из своего бокала глоток — перед ним стоял не кофе, но сок. Апельсиновый, похоже. Может, ананасный.

— Чем могу быть полезен? — спросил Бабцев.

— Тем же, чем всегда, — ответил Юджин. — Работа журналиста — распространение информации, не так ли? Доведение до сведения тех, кто чего-то не знает, но хочет узнать, того, что они хотят знать.

— Ну... — несколько потерявшись, ответил Бабцев. — Отчасти и так, конечно. Но ваше определение грешит односторонностью. Журналист — не корреспондент. Он еще и интерпретатор своей информации... Толкователь.

— Дело в том, — возразил Юджин, — что информация, которую вы хотели бы предложить на рынок, слишком специальна. Пока нет ни сенсаций, ни каких-то громких достижений, она, во-первых, может быть интересна лишь узким специалистам, а во-вторых, вы уж простите меня, Валентин, интерпретировать ее тоже могут лишь специалисты.

— Ну, предположим, — сказал Бабцев. Он не понимал, к чему клонит собеседник, и это ему не нравилось.

— Кроме того, предлагаемая вами информация базируется на непроверенных и, что еще хуже, принципиально непроверяемых источниках. Торговать такой информацией — ваше право, но право

потребителя — потреблять такую специфическую информацию специфическим образом.

«Через задницу, что ли?» — раздраженно подумал Бабцев. То, что втолковывал ему американец, звучало почти оскорбительно. Бабцев не торговал, а мир спасал.

— И тем не менее именно для узких специалистов она представляет определенный интерес, — хладнокровно продолжал Юджин. — Поэтому я хочу заказать вам целую серию статей для закрытого информационного бюллетеня НАСА. Серия может длиться практически бесконечно. Во всяком случае, до полного исчерпания темы.

— Что значит закрытого?

— Это значит, что он издается крайне ограниченным тиражом и распространяется только среди сотрудников НАСА, занимающихся той же тематикой, что и насторожившая вас русская корпорация.

— Что значит ограниченным? — упрямо задал очередной лобовой вопрос Бабцев, с недоверчивым изумлением начиная понимать, что происходит, и сам же невольно гоня от себя это неуютное понимание. — Сто экземпляров? Пятьсот?

— Я не знаю точно, да и не имел бы права вам сказать, если бы знал. Но — меньше, значительно меньше. Впрочем, если тиражи волнуют вас в смысле оплаты, то можете не беспокоиться. Оплата будет самой выгодной для вас. Максимально выгодной. Не побоюсь предположить, что, возможно, это будут самые выгодные гонорары в вашей карьере.

Юджин умолк, спокойно и выжидательно глядя Бабцеву в глаза. Бабцев достал сигареты, вытряхнул одну до половины, потянул губами за фильтр. Ему почему-то казалось, что Юджин обязательно даст

ему огня. Но тот только смотрел. Бабцев вытащил зажигалку, закурил. Затянулся.

— Но зато и информация потребуется качественная, — продолжил Юджин. — Точная и конкретная. Что полетело, на чем полетело, куда полетело. Что разрабатывается, кем разрабатывается, под какие задачи разрабатывается. Я не хочу вдаваться в обсуждение ваших источников, но, как мне представляется, пока они функционируют, вы вполне можете с их помощью обеспечить постоянный поток именно такой, конкретной и значимой информации. А интерпретировали бы ее, повторяю, специалисты.

Он умолк. Отхлебнул глоток сока. Собственно, все было сказано. Предложение поступило. Теперь дело Бабцева — как на него реагировать. Никто его ни за язык, ни за руку не тянул. Бабцев снова глубоко затянулся, выдохнул струю дыма в сторону от Юджина. Тот продолжал пристально смотреть Бабцеву в лицо, и Бабцев изо всех сил старался, чтобы лицо его было непроницаемым. Спокойным и равнодушным.

Всю сознательную жизнь Бабцев был уверен, что желает этой стране только добра. По мере сил он старался нанести вред лишь тому, что считал ее уродствами и пороками. И тем, кто был в них повинен, кто их олицетворял. Преуспел Бабцев в том или нет — не ему судить; иногда ему казалось, что нет, что он бьется лбом в стену, иногда — что в медленном, мучительном освобождении страны от самой вопиющей грязи и нечисти есть и малая доля его заслуг.

Но — это?

Да еще с использованием втемную Семки Кармаданова?!

— В конце концов, — примирительно сказал Юджин, — если вдуматься, вы именно этого и хотели. Предупредить. Но о столь специфических вещах обывателя предупреждать бессмысленно. Понять такие предупреждения могут только профессионалы. Понять, подготовиться, принять ответные меры... А иначе — зачем предупреждать? Для шумихи? Для безграмотных парламентских расследований, на которых политиканы делают себе имена и голоса? Или... Вы уж меня простите... Или в вас говорит тщеславие? Вот какой материал я откопал... А если материал будет читаться тихо и ограниченно, вам уже неинтересно предупреждать? Но это — непорядочно.

Ах, какие они порядочные, подумал Бабцев. Еще и воспитают меня заодно. Но опять смолчал. Затянулся. Выдохнул. И наконец произнес:

— Мне нужно подумать.

То ли от шершаво застрявшего в горле завитка дыма, то ли от избытка чувств голос оказался чуть хриплым.

— Разумеется, — с готовностью ответил Юджин и дружелюбно, с пониманием улыбнулся. — Вот моя визитка... — он протянул карточку Бабцеву; похоже, та давно уже была наготове в его руке. Как туз в рукаве шулера. — Позвоните, когда сочтете нужным. Нет так нет. А если да... Тогда просто позовите меня встретиться. Я скажу, когда и где.

Бабцев почти не помнил, как добирался до дому; как вел машину, как юлил и ерзал по асфальту, продавливаясь в вечных московских пробках, как моргали ему неприветливые, всегда мешающие светорфоры...

Всякий хоть немного интеллигентный россия-

нин впитывает с молоком матери — одна-единственная спецслужба в мире представляет для него опасность, одна-единственная: своя, российская. Наглая, подлая, открыто презирающая и в то же время беззастенчиво использующая все лучшие свойства души человеческой: доброту, верность, порядочность, чувство долга... Люди для нее — мусор. Лагерная пыль. Всегда. При царях, при генсеках, при президентах всенародно избранных... Всегда.

Чужие спецслужбы, в общем-то, выдуманы ею, чтобы запугивать обывателя и лишать его последнего разума. А если они даже и впрямь где-то есть, то занимаются в неких высях и далях своими, по-настоящему важными делами: борьбой с терроризмом, промышленным шпионажем... Что у нас шпионить? Сегодня парень водку пьет — а завтра тайны продает родного, блин, кирпичного завода! И если одни лишь иностранные спецслужбы могут хватать за руки наших взяточников, воров, киллеров — так спасибо им за это и низкий наш поклон, сами-то мы даже этого не можем. Нечего нам предложить миру, кроме преступников, которых мы сами не умеем найти и наказать; создавать мы не способны и никогда уже не будем способны, все нейроны-синапсы, отвечающие за мышление, у нас растворились от водки, весь творческий пыл ушел в поиски национальной идеи и оправдание державности и особого пути...

Это же всякий знает!

Значит, и за сегодняшнее — тоже низкий поклон?

А ведь мне дают, вдруг подумал Бабцев, шанс перейти в конце концов от слов к делу. Ему стало жутко. С какой-то стылой, мертвой внятностью,

будто в режущем свете ламп прозекторской, он осознал, что все его потуги иметь чистую совесть, а там уж будь что будет — не более чем позиция петуха-недотепы: мне бы прокукарекать, а там хоть не рассветай. А теперь можно приналечь как следует, упереться в землю и, надавив на исполинскую инертную массу, поработать на реальный... что? Рассвет?

Украсть то, что еще не украли, и обжулить тех, кто еще не стал жуликом, — это, получается, и есть мои представления о рассвете в России? Это и есть то дело, в которое переводятся мои слова?

А если не это — то, черт возьми, что?

Бабцев уже припарковался возле дома, но все не мог решиться выйти из машины, все курил одну от другой. Ощущение было сродни тому, о чем говорил Семка: будто распахнулась некая дверь, о которой Бабцев и не подозревал доселе. Только Кармаданову казалось, что приоткрывшаяся щель сулит выпустить его из затхлого чулана в солнечный простор, а Бабцеву — наоборот: что из уютной, обжитой квартиры, где он ориентировался вот уже много лет с закрытыми глазами и точно знал, где что лежит, его вытряхнули голым в арктическую пустыню без единого ориентира; только мертвая слепящая равнина кругом, и кроме нее — ничего.

Он, похоже, и впрямь несколько ослеп от событий, потому что поднявшись наконец в дом и привычно стараясь, чтобы Катерина не заметила его состояния и не стала задавать лишних, как правило, лишь впустую раздражающих вопросов, совсем не сразу заметил, что жена и не думает его о чем-то спрашивать и вообще что-то в нем замечать. Она даже не вышла на звяканье в скважине ключа встре-

тить мужа в прихожую, как выходила обычно. Он сунулся головой в комнату — Катерина сидела, сторбившись, у стола, потерянная, вдруг постаревшая, оплывшая, будто ее долго вымачивали; она не сразу обернулась в ответ на какую-то мирную благоглупость, которой мужественно приветствовал ее ослепший и потому делающий вид, что все в порядке, Бабцев; и только когда она все же обернулась, до него дошло, что с нею что-то не то. У нее были заплаканные глаза.

— Вовка — фашист... — бессмысленно пролепетала она, глядя мимо.

— Что? — после паузы спросил Бабцев.

— Вовка, оказывается, вот уже несколько месяцев в какой-то фашистской банде... А теперь пошел и сознался. И его будут судить.

— Ты с ума сошла... — тихо сказал Бабцев.

Но сам уже знал, что все так и есть. Что его, Бабцева, в ответ на его благородный и бескорыстный порыв, как последнюю мелкую мразь, вербуют в шпионы; да так, чтобы сразу мимоходом предал друга. Друга, да, черт возьми! Что его сын — да, пусть приемный сын, да, но все равно другого нет и уже, конечно, не будет — даже не патриот, а фашист. Все, что можно придумать самого плохого и мерзкого, — всегда и есть реальная жизнь. Никакая грязь не невозможна — и оттого никакая подлость не зазорна. И ничего нельзя сделать. Только опуститься на миг обессилевших, будто подрубленных под коленями ногах на стул в прихожей, уткнуть лицо в холодные ладони и, едва шевеля побелевшими губами, беззвучно бормотать: «Проклятая страна... Проклятая, проклятая страна...»

Мыслишки-то я куда дену

Шигабутдинов будто некую эстафету передал Корховому.

Ночью в больнице хорошо думается. Все равно делать больше нечего. И не спится — то ли от боли, то ли от обиды на случившееся. От унижения. Чужое насилие страшно не столько само по себе — пришло и ушло, кость срослась, и чирикай сызнава, как новенький, — но выбоинами на душе. Все, что делает человека человеком, начинает казаться высосанным из пальца, вычурным, смехотворным на фоне того, что с тобой, оказывается, можно вот так. Вот так просто. Хрясь — и привет.

А мысли все ж таки отвлекают...

Тошнит, и голова трещит, причем как-то нелепо — словно боль снаружи; рядом, близко, но не в голове, а прикатила по подушке, как угловатый булыжник, и навалилась на череп... Синдром сдавливания. Хорошее, кстати, название для книги или серии статей про наше житье-бытьё... Разве этот синдром возникает только у тех, кто завален щебнем ни с того ни с сего развалившегося собственного дома? Как бы не так... А обломками жизни? Крошевом страны? Житье-бытьё...

Житье-битье. Тоже хорошее название...

Тлеет ночной свет. Бодро храпит сосед слева; с достоинством и без передышек, точно трактор передовика, урчит во сне животом сосед справа... Смутно мерцает кафельный пол. Черный провал широкого окна напротив, за ним — ночь, мир спит... А ты не можешь спать.

Тогда лежи и думай.

И ведь следовало бы, наверное, первым делом обдумать то странное, чему Корховой случайно оказался свидетелем. Ведь странное, очень странное это было дело. Не такое простое, как можно было бы решить сгоряча: подумаешь, очередная пара безбашенных недорослей, с бодуна назначив сами себя спасителями Руси, не нашла ничего спасительней, как убить. Однако же странно это осуществлялось, и никто, кроме него, Корхового, пока не знает, насколько странно.

А вот думается совсем о другом.

То, что спел ему на прощание Шигабутдинов, завораживало. Вдохновляло. Дарило чувство перспективы. Как, впрочем, и многие другие баллады о русском пути... Хотелось Шигабутдинову верить. Нельзя было не верить многому из того, что он говорил. То была, сколько мог судить Корховой, самая натуральная, правильная правда. Не та, от которой выть хочется, — та, от которой хочется засучить рукава и мигом все исправить, наконец...

Но почему, стоит малость выйти из-под гипноза поэзии, мечты и неистребимой веры в то, что наше будущее, несмотря ни на что, прекрасно, становится неловко и срамно от того, что развесил уши?

Даже не вдруг сообразишь...

Наверное, потому, что, как бы логично ни звучали все подобные построения, стоит лишь сопоставить их с реальностью, от них, кажется, остается пшик.

Ведь мы вот уж сколько десятилетий лишь судорожно дергаемся на одном месте. История наша, несмотря на океаны крови и кажущееся изобилие судьбоносных событий, прекратила течение свое. Потому что наша культура не в силах ответить на очень важный и очень простой, самый простой и са-

мый важный вопрос, а без этого все мудрования подозрительны как игра ума, жаждущего хотя бы в мире иллюзий скомпенсировать фатальную жизненную неудачу.

Вот почему стыдно, нестерпимо стыдно слушать такое... Меня побили — но это потому, что я благороден. Одно дело, если тебя и впрямь побили потому, что ты благороден. Но если тебя просто побили, а уж потом, задним числом ты придумываешь себе специальное, красиво оправдывающее твою немощь благородство, про которое прежде и думать не думал, — любому мало-мальски порядочному и честному человеку становится нестерпимо стыдно. Только вруну и бахвалу не стыдно, он в этой красивой лжи купается...

Но хватит же уповать на врунов и бахвалов.

Все, чем мы гордимся, для многих выглядит лишь бесцельным самоистязанием, и все, чем похваляемся, имеет тухлый привкус специально придуманного после тумачков благородства, пока мы не ответили на вопрос: для чего живем?

Знаний не хватает, вот что. Лежа на больничной койке, под храп и нутряное бульканье соседей, всерьез, уж конечно, ничего не придумаешь. Надо книжки смотреть, с культурологами советоваться, факт.

Но не спится, и мысли текут привольно и бессовестно. Без оглядки на строгую науку цепляют и вытягивают из небытия одна другую... Как якорная цепь, когда судну пора уж отходить. Звено за звеном из-под воды на солнышко...

Для чего жить?

Все культуры мира раньше или позже сталкивались с этой палящей проблемой.

Любая из великих религий давала ответ точно,

просто и однозначно — но что делать, когда много людей уже оказываются не религиозны?

Тогда светская культура каждой цивилизации должна дать на этот вопрос светский, и при том — только ей присущий, рожденный на пике ее собственной религиозной традиции ответ.

И если мы мним себя самостоятельной цивилизацией, у нас должен быть свой ответ. А нет его — так нечего себе и другим мозги пудрить.

Грубо говоря, дети протестантской цивилизации живут для личного успеха. Дети конфуцианской — для семьи. Дети мусульманской — для Аллаха...

Конечно, в чистом виде такой целеустремленности не бывает ни у кого, разве что у свихнувшихся фанатиков. И протестант высоко ставит семейные ценности, ведь удачная семья — это важная часть личного успеха; и конфуцианец отнюдь не прочь добиться личного успеха: не зря, мол, меня папа с мамой рожали, сыновняя почтительность налицо... Набор жизненных смыслов невелик, и в той или иной пропорции они, переплетаясь, одухотворяют жизнь любого человека. Но для каждой культуры есть осевой, опорный смысл, из которого прорастают остальные. Это будто стандартная коробочка елочных игрушек, в которой, увы, не предусмотрели общего для всех наверху. В одной семье на самый верх, в качестве путеводной звезды, насаждают что-то одно, а все остальное — на ветки. В другой — что-то другое...

А елка — это наша физиология, тело наше смертное, болеющее... Ох, какое хрупкое!

Неутомимо урчавший животом сосед справа раскатисто, с басовитыми переливами пукнул.

Корховой даже вздрогнул от проткнувшего ночь неожиданно громкого звука. Потом тихонько засмеялся.

Вот именно.

Поэтому не украшать себя смыслами мы просто не можем. Украшения прячут от нас же самих то, как стремительно вянет елка жизни... То, как желтеют и сыплются с нее вчера еще такие зеленые и упругие, такие колкие, щекотливые и шаловливые иголочки... То, насколько она обречена.

Ведь жизнь — это всего лишь более или менее торопливое умирание. Ты родился — значит, твоя елка срублена. Ставь ее теперь в кастрюлю с водой, подслащивай воду сахарком, сдабривай аспирином; много всяких хитростей напридумано, чтобы елка стояла дольше... Не суть. Праздник — жизнь человеческая — начался, и всякому ясно, что в понедельник, в крайнем случае — во вторник елку выкинут на помойку, потому что всем пора будет снова на работу. В небытие ли, на тот ли свет — елке это на самом деле до лампочки.

И потому, пока длится праздник, на ней должны сиять разноцветные лампочки.

А на самом верху должен торчать завораживающе красивый шпиль. Венец.

Мы попытались жить для величия державы — и обломались. Потом попытались жить для светлого коммунистического завтра — и обломались еще больней. Полтора года лет бьемся лбом в эту стенку и никак не можем двинуться дальше. Хотя оба эти ответа вроде бы в православной традиции...

А вот сама елка их не питает.

Даже амебы стараются добиться личного успеха. Не говоря уж о теплокровных. Этот вскормленный-вспоенный католической рациональностью и кальвинизмом смысл — личный успех — подкреплен одним из самых мощных инстинктов и вырастает из него.

Всякая мало-мальски не одноклеточная тварь заботится о потомстве. Множество таких тварей сбиваются в стаи. Конфуцианский смысл подкреплен еще одним мощнейшим инстинктом и вырастает из него.

И мусульманский смысл, вроде бы не имеющий опоры в физиологии, наверное, можно возвести к одному из самых мощных психологических механизмов человека — стремлению иметь оправдание любому своему поступку, любой претензии и обиде... Раз я все делаю для Бога — значит, я неотступно прав. Всегда чистая совесть — это ж мечта!

А наши светские смыслы оказались слишком придуманными. Не подкрепленными потребностями самой елки. И потому, как бы поэтично и прельстительно их ни обосновывали, раньше или позже они начинали требовать насилия для того, чтобы оставаться для народа всеобщими.

А значит, из вдохновляющих путеводных звезд превращались в ненавистные пугала.

Тогда что? И вправду европейско-американский личный успех?

Тогда не надо громких слов, тогда мы — не цивилизация, а воистину лишь довольно-таки уродливый и отсталый, никак не могущий примириться с реальностью аппендикс Европы. И надо кончать болтать и со смирением и благодарностью за то, что нас не гонят, а учат уму-разуму, пристраиваться к ним в хвост.

Но почему же именно Россия и вправду всегда будто кость в горле у любого, кто прет в мировые господа? Почему именно она из века в век костями ложится на рельсы, чтобы преградить ему комфортабельный путь к людоедской победе — и именно ее потом раз за разом несут по всем кочкам за то, что господства якобы ищет именно она?

И почему тот, кто принимает идеал личного успеха, так быстро и безоговорочно начинает восприниматься здесь чужаком? Отступником? И почему сам он, стоило уверовать в эту рогатую звезду, начинает ненавидеть свою страну? Личный успех выколачивает из презренной Отчизны, а живет где подальше, ибо тут ему, видите ли, ад и гной?

Взаимное отторжение... И не имущественное, нет! Духовное...

Значит, не так все просто.

Тогда что?

Корховой и не заметил, как задремал, и проснулся, как от толчка. Голова болела почти невыносимо, ее будто тупым колом пытались продавить, но ответ был перед ним как на ладони. Цепь кончилась, и тяжелый разлапистый якорь, извлеченный из илистых глубин, засверкал над водой — и с него осыпались перепуганные моллюски.

Вот еще один из самых мощных инстинктов — стремление к расширению зоны обитания.

Конечно, испанцы вполне увлеченно гнали свои каравеллы через океан — ведь из-под синего горизонта им маячили жирные желтые отсветы золота. И североамериканцы настырно, как древоточцы, перли на волах через прерии Дикого Запада, волокли на мускулистых плечах свой фронтир дальше и дальше, неутомимо отстреливая то индейцев, то друг друга... Но кто сравнится с теми, кто, повторяя пусть и придуманный ими самими путь Андрея Первозванного, презрев холода и неудобье, вернее, не презрев даже, а благодаря за них Бога, потому что так, в холоде и неудобье — чище, честнее, святее, — порхнул из блаженного, хлебного черноземья в ледовитые беломорские пустыни? А потом за считанные

десятилетия нагулял себе всю Сибирь от Урала до Тихого океана?

А потом — Аляска, а потом — открытие Антарктиды, чего, несмотря на все усилия, не смог даже действительно великий Кук... А потом — ни с чем не сравнимое ликование из-за Гагарина... Можно, конечно, отнести его на счет гордости за державу и социализм, но это же поверхностная пена, елочная игрушка, куачовая лампочка... А на самой-то верхотуре елки — мы мир раздвинули, вот отчего восторг. Раздвинули мир, и опять-таки туда, где вроде бы и жить нельзя. Где ничего не надо отнимать у других, не надо никого сгонять или истреблять, не надо ни с кем сутяжничать, где, кроме нас, никого нет и, если бы мы не поднатужились, то и не было б...

А что насчет традиции?

Да проще простого!

Пусть европейцев в Откровении Иоанна Богослова приворожило не что-нибудь, а число Зверя, пусть они вокруг него целую мифологию наплели, не помня из текста почти ничего иного... Пусть. Они и вообще свихнулись на звере, их на этом дьяволе исстари переклинило, они в свое время и женщин своих красивых чуть не всех на кострах пожгли, потому что те — ведьмы и с Сатаной трахаются. У европейцев свои тараканы.

А нам в том великом тексте ближе и родней всех остальных его хитроумий и фантазмагорий одно... Одно-единственное, наше, только наше.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали... И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни

★ — болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.

Новое небо и новая земля.

Вот что на самом-то деле получается у нас лучше всего.

Если, конечно, не мешают.

Вот что за маяк светит нам спокон веку. Вот что за жажда ведет по свету и дарит топливо мыслям и мышцам. Дает корень всему, от литературы до космонавтики, не говоря уж о попытках реформ... Даже из потайной, подноготной глубины маразма, с каким в советское время любой очередной генсек начинал мешать с дерьмом предыдущего, выставляя гениальным уже себя, — и то мерцало доведенное высшим партийным образованием до состояния грубой карикатуры это же самое, вековечное наше, горнее: се, творю все новое...

Можете смеяться. Можете говорить, что это извращение и оно хуже любой наркомании. А только глупо под предлогом того, будто оно чересчур шумит, уговаривать сердце перестать биться...

Корховой сам не заметил, как опять уснул — на сей раз сладко-сладко, точно отработавший дневную норму землекоп. И ему даже не закрадывалось в голову: то, что на больничном окне нет занавесок, может оказаться для его хрупкой елки куда значимей, чем даже случайная встреча с Шигабутдиновым.

ГЛАВА 3

Опять пролилась

— Ой, я не могу, — остановившись на пороге палаты, тихонько сказала Наташка, и ее устремленные на запрокинутое лицо Корхового глаза стремглав

намокли, а губы по-детски сложились жалобным сковородником. Потом она решительно шагнула внутрь, а Фомичев, ни слова не говоря, — за нею. Соседи по палате, как по команде, обернулись на новых посетителей: к этому новенькому народ прямо валом валит. Стоявшая у изголовья койки Корхового миниатюрная яркая девушка, совсем молодая, чуть за двадцать, быть может, но одетая с подчеркнутой, какой-то демонстративной и даже вызывающей скромностью, тоже обернулась на вошедших.

— Я к вам приду еще, Степан Антонович, — умоляюще сказала она. — Вы позволите? Я хочу услышать все-все...

— Конечно, — раздался с подушки немощный голос Корхового. — Что могу, Зариночка...

Девушка несколько раз кивнула и, мельком глянув на идущих ей навстречу Наташку и Фомичева, торопливо, почти бегом, покинула палату. Наташка остановилась, ее взгляд встретился со взглядом Корхового.

— Степушка... — глотая слезы, пробормотала она. — Как же...

Фомичев встал чуть позади Наташки. Он смолчал, но его лицо и лицо Корхового, едва не наполовину скрытое бинтами, мгновенно приняли те парные, одно без другого не существующие и, в общем, неопишуемые выражения полного взаимопонимания, какие принимают лица глядящих друг на друга мужчин, когда один стоит, полный сил, а другой тяжело болен или покалечен. На войне ли, в окопной грязи, в мирном ли столичном городе — все одно. У лежащего: да в порядке я, в порядке, любая рана — хрень, если яйца не оторвало. Или так: погоди, сегодня уж я поленюсь, но завтра непременно за водкой

сбегаю. А у здорового в ответ: ну, ясен пень, кто б сомневался.

Несколько мгновений все трое молчали, только Наташка едва слышно шмыгала носом. Потом Корховой тихонько и почти не попадая в ноту запел:

— Голова обвязана, кровь на рукаве. След кровавый стелется по сырой траве...

Наташка постаралась улыбнуться, но губы ее не слушались. Ей явно надо было зареветь, и она сдерживалась из последних сил. Но Фомичев подхватил с готовностью, от всей души, и дальше они попели немножко хором:

— Кто вы, хлопцы, будете, кто вас в бой ведет, кто под красным знаменем раненый идет...

Оба не помнили, как дальше. Но этого хватило. Корховой бессильно, но удовлетворенно захихикал, Фомичев — улыбнулся, покивал одобрительно и ободряюще. Даже Наташка вроде бы справилась с первым порывом и все-таки сложила из губ вместо сковородника почти полноценную улыбку.

Соседи изо всех сил делали вид, что не смотрят и не слушают. В душе все четверо были благодарны новенькому, что из-за него опять такой аттракцион.

— Вы стульчики-то возьмите, — сказал сосед справа. Днем живот у него и не думал урчать. — Присядьте, в ногах правды нету...

— Точно, — согласился Корховой едва слышно. — Вы ж не на пять минут, я надеюсь?

— А есть и такие, что на пять минут? — спросил Фомичев.

— Ко мне очередь, как в Мавзолей, — мрачно сообщил Корховой. — То менты... То вот дочка Шигабутдинова зашла, Зарина... Я ж последний, кто с ним общался. Понимаете, она отца все эти годы не видела, ждала так... И мама ее. Он с ней, с ее мамой-то,

как раз по телефону и разговаривал, когда все случилось. Она его двенадцать лет ждала... Теперь дочка просит, чтобы я ей про него рассказывал.

— Может, ты и нам расскажешь, что случилось? — спросил Фомичев. Наташка только закивала судорожно, давая понять, что всей душой присоединяется к просьбе Фомичева. Корховой покусал губу.

— У меня, ребята, нынче душевная травма, — сказал он.

Фомичев, взявшийся было за стоявший у окошка стул, обернулся.

— Ну, ты даешь, — сказал он. — Тебе черепно-мозговой мало, да? Тебе еще и душевную подавай?

Корховой улыбнулся и стрельнул взглядом Наташке в лицо: мол, ну посмейся же, посмейся, все не так плохо... Фомичев придвинул стул для нее, потом отправился за следующим, для себя. Наташка села и сразу положила ладонь на лежащую поверх одеяла руку Корхового.

— Нет, правда. Не спалось, лежу, мыслю... И придумал русскую национальную идею. А потом заснул. И теперь вспомнить не могу!

— Безумец, вспомни! — грозно пророкотал Фомичев, тоже наконец присаживаясь. — Один человек на всю страну знал, какая у страны идея, — да и тот забыл!

— Спать нельзя... — пробормотал Корховой.

— Степушка, — жалобно проговорила Наташка, — ну перестань ты балагурить...

— Натаха, а что ж мне, — удивился Корховой, — плакать, что ли? Я еще в своем уме. Я радуюсь. Жив остался! Понимаешь? Это отнюдь не предполагалось сценарием!

— А ты полагаешь, — цепко спросил Фомичев, — был сценарий?

Наташка молчала и только знай себе поглаживала руку Корхового. Уже обеими ладонями. И все смотрела ему в лицо.

— Странная история, ребята... — сказал Корховой совсем тихо. — Ментам я сказал, что плохо все помню, мысли, мол, путаются, и просил подождать со снятием показаний... А на самом деле я просто не знаю, как им втолковать. Иногда мне кажется, что у меня и впрямь шарики за ролики заехали и я больше выдумываю, чем вспоминаю...

— Начало интригующее, — кивнул Фомичев. — Считай, ты нас загрузил.

— Да погоди ты! — вдруг прикрикнула на него Наташка. И сунулась вдруг в свою сумку. — Мы же тебе фруктов принесли, черешенки... Будешь черешенку?

Она торопливо достала полиэтиленовый пакет с роскошной, спелой черешней — цветом аккурат как ее губы.

— Ты не бойся, я помыла уже... И в другой пакет переложил, чистый...

— От вас, мадам, хоть кактус, — ответил блаженно сомлевший Корховой, изо всех сил стараясь не рассиропиться и не впасть в сентиментальность.

— Да ну тебя совсем!

— А ты мне в рот будешь вкладывать ягоды?

— Буду!

— А косточки вынимать изо рта будешь? А то мне голову не поднять, чтобы плюнуть.

— Буду! — героически ответила Наташка, встряхнув прической.

— А на что ты еще готова для раненого коллеги?

— На все, — серьезно ответила Наташка.

Устремленные на нее из-под бинтов глаза Корхового стали как у кота при виде сметаны.

— Ладно, — сказал Фомичев, по памяти цитируя близко к тексту «Своего среди чужих». — Это ваши дела. Это все ваши дела. А вот что золото в банде...

— Да, — спохватился Корховой. — Насчет банды.

— Так положить тебе ягодку? — спросила Наташка.

Корховой не ответил. Некоторое время молчал, прикрыв глаза. То ли собирался с мыслями, то ли перебарывал приступ боли или головокружения.

Потом поднял веки. Посмотрел на Наташку. Посмотрел на Фомичева.

— Там какая-то сложная подлянка... Подстава. Парень, который его застрелил... совсем мальчишка, пацан, он еще телефоном меня потом приложил... Он и понятия не имел, что они идут убивать. С ним был второй, повзрослей... Гнида. Он так ловко пацана за руку с пистолетом взял... Парень даже не понял, что произошло. До самого конца был уверен, что это случайность. А это была не случайность. Тот, второй, пришел убить Шигабутдинова, причем непременно рукой мальчишки. Пистолет нашли?

— Да, — боясь пропустить хоть слово, односложно ответил Фомичев.

— Ну, вот... А ведь они вполне могли его забрать, я уже отключился... Пистолет нужно было оставить, чтобы на нем нашли отпечатки. Ребята, тут капитальный материал для журналистского расследования. Но я в ближайшее время вряд ли потяну... Так что дарю.

— Когда теперь менты придут? — спросил Фомичев.

— Не знаю... Завтра, наверное... Наташенька, — просительно проговорил он, — дай мне ягодку, пожалуйста.

Наташка так торопливо дернулась исполнить просьбу, что чуть не вывалила всю черешню из пакета на больничный пол. Но природная ловкость выручила ее и на этот раз. Она осторожно вынула за хвостик двойную семейку черешен, поднесла к лицу Корхового. Губы ее сосредоточенно округлились, точно у кормящей матери, дающей ложку с кашей капризному, но, конечно, беззаветно любимому ребенку. Корховой широко открыл рот. Наташка аккуратно опустила туда ягоды, а когда Корховой с лошадиной осторожностью, одними губами, взял ягоды в рот, легко потянула хвостики вверх; хвостики остались в ее пальцах, ягоды — во рту Корхового. На лице Корхового отразилось неземное наслаждение. Он громко зачмокал.

— Завтра ты им расскажешь? — спросил Фомичев.

— Погоди ты со своими вопросами! — накинулась на него Наташка. — Он же поперхнетя!

Фомичев поднял руки, сдаваясь.

— Молчу, молчу.

Наташка поднесла пустую ладонь к щеке Корхового.

— Плюй, Степушка...

И вот тут Корховой покраснел. Беспомощно глянул на Фомичева, потом на Наташку. Покатал косточки во рту, не зная, как выйти из положения, — от подушки ему, похоже, было не оторваться. И, повернув голову немного набок, пунцовый, осторожно выдавил языком косточки Наташке на ладонь.

Палата с наслаждением созерцала.

— Ну вот, видишь, как просто? — обрадованно спросила Наташка. — Дать еще?

Корховой перевел дух.

— Не, погоди, — сказал он. Помолчал. — Правда,

знаете как обидно, что я напрочь заспал, чего ночью придумал?

— Ты, главное, не заспи, как тебя отоварили, — посоветовал Фомичев.

— Вы бы поспрошали стороной, есть пальчики пацана у ментов в картотеке или он начинающий, — сказал Корхойвой. — И если начинающий, если пальчиков нет... Куда и зачем его втягивали так круто — вот вопрос...

— Ментам тут карты в руки, — решительно сказал Фомичев. — Не мудри, Степа. А то не ровен час — перемудришь. Рассказывай им все скорее.

Корхойвой помолчал. Потом перевел взгляд на Наташку.

— Глупо, — проговорил он, глядя ей в глаза. — Я его минуту видел, ну, от силы две — не помню, сколько мы с тем вторым друг дружку валтузили, да и не в минутах дело... Ему с самого начала противно было Шигабутдинову говорить всякую чушь. Он говорил как робот — обязан сказать, вот и говорил. Без этой их фашистской истерики, понимаете... Такую идейную речь толкал — а себе под нос, с отвращением: бу-бу-бу... А потом за какую-то минуту он успел и изумиться тому, что его руками сотворили, и посочувствовал, дурачок, своему напарнику, потому что был уверен — тот случайно человека завалил и теперь будет угрызаться... и мне впередил уже совершенно искренне, от души, потому что товарища выручал... Он мне понравился, ребята. Я бы такого сына хотел.

И тут жгуче покраснела Наташка.

Она дала себе волю, только когда они с Фомичевым уже вышли из больницы на улицу, да и то коротко. Шагала стремительно, целеустремленно — железная деловая женщина — и вдруг останови-

лась, будто разом ослепла. Глухо, из глубины застонала, как если бы кто-то ей нож вогнал под ребро, затрясла головой, и из глаз хлынули так долго не получавшие вольную слезы.

И тут же потянулась за платком, враз утихнув. Спрятала лицо в платок, шмыгнула оттуда носом пару раз... Фомичев даже не успел вовремя отреагировать и, собственно, когда он затянул свое утешительное «Наташенька, да что ты, да не надо...» — она уже взяла себя в руки.

— Ничего же страшного... Видно же теперь — Степка счастливо отделался, скоро опять запляшет, правда...

— Да я понимаю, — ответила Наташка совершенно спокойно, только чуть хрипло. Спрятала платок. — Я же курсы медсестер в свое время закончила, с отличием... Все понимаю. А только... Нет, все. Главное — не думать о том, что могло бы быть хуже.

— Да уж... — согласился Фомичев. — На полсантиметра бы правее...

— Молчи, убью, — сказала Наташка. — Утешитель.

Фомичев невесело засмеялся.

— Да, — сказал он. — Прости. Ты сейчас куда? Может, пообедать пора? Давай перекусим зайдем...

Наташка отрицательно покачала головой. Помолчала, будто решая, отвечать или нет. И сказала нехотя:

— Я хочу, раз уж мы в столицу прискакали, к Журанкову заглянуть...

— К Журанкову? — удивился Фомичев.

— Ага...

— А он что, в Москве?

— Да.

— Откуда ты знаешь?

— Подсуетилась, — уклончиво ответила Наташка. — Мне за него как-то тревожно. Он такой неприспособленный... И вдобавок — его же не понимают совершенно.

— Слушай, а ты ведь окоlesiцу несешь, а?

— Ты тоже не понимаешь.

— Ты что, всем неприспособленным помощь и опора?

— Нет, — ответила Наташка. — Только самым хорошим.

— А Журанков что, тоже хороший?

— Очень, — тихо сказала Наташка, не глядя на Фомичева. Помолчала. — Я старательно так, с намеком пожаловалась вчера Алдошину... Мол, не задала Журанкову несколько важных вопросов, без ответов на них глава в книжке моей совершенно не пишется. И глазками на него наивно — бяк-бяк... Он возьми да и расколись: вы же завтра в Москву летите, попробуйте с Журанковым связаться. Мобильного у него до сих пор нет, не обзавелся гений, но чего-то он сейчас в Москву перескочил. Отрапортовал, что поселился в такой-то вот гостинице...

— Он же в Питер уезжал.

— Вот именно. Потому и тревожно. Что-то случилось. Даже Алдошин этого не понял.

— Ну, ты даешь... А ты уверена, что он тебя ждет?

— Уверена, что не ждет.

Фомичев помедлил, с новым интересом глядя Наташке в лицо. Она смотрела мимо.

— А прилично ли молодой красивой девушке самой так вот набиваться в гости к пожилому одинокому мужчине?

— Не говори ерунды, — резко ответила Наташ-

ка. Помолчала мгновение и сменила тему: — Какие у тебя самого-то планы?

— Ну, как... Сейчас перехвачу какой-нибудь еды и попробую в ментовку заглянуть... Пovyясню, что им там уже известно обо всей этой круговерти, где наш Степушка пострадал.

— Бог в помощь, — сказала Наташка.

— А то, может, все ж таки поедим вместе, как подбаивает порядочным людям?

Видно было, что она колеблется.

— Почему-то мне кажется, что надо спешить.

— Ну, тогда я умолкаю, — с утрированным благоговением сказал Фомичев. — Женская интуиция — это свято. Созвонимся вечерком?

— Обязательно, — сказала Наташка.

Силу чар своих Наташка знала прекрасно и, при всей ее совестливости, если надо было для дела, пользовалась ими без колебаний и на всю катушку. Портье растаял почти мгновенно, тем более что никаких особых причин скрывать Журанкова у него не было. Ключ отсутствует, стало быть, постоялец на месте. Я могу позвонить и предупредить о вашем приходе... О, что вы, это все испортит. А, понятно... Ну и впрямь понятно. Если эта шикарная дива — уж не жена, разумеется, жен таких не бывает — хочет посмотреть, чем тут развлекается ее подопечный, то ее дело. К постояльцу до нее никто не приходил, так что не будет ни скандала, ни испорченных отношений, ни ущерба репутации заведения. Вот если бы у Журанкова уже кто-то был — тогда другое дело, тогда портье позвонил бы непременно. А так... Номер двести семнадцать. Благодарю вас, вы так любезны... Портье провожал ее гибкую фигурку сальным взглядом до самого лифта; оставалось лишь облизы-

ваться, представляя, что там через какую-нибудь четверть часа начнется в номере двести семнадцать.

Все. Уже рядом. Улыбаться опытной улыбкой с каждой секундой делалось все труднее. Тревога закипала, как чайник, — вот-вот повалит пар из носика, а крышка затрясется и гадко забренчит. Наташка знала себя. Она не умела предчувствовать ни погоду на завтра, ни за кого проголосуют, не выиграла ни в одну лотерею и вообще не играла никогда и ни во что, полагая нечистым искушать судьбу из-за пустяков и на пустяки транжирить тонкий, собачий нюх сердца — но еще смладу, когда провалился под лед и утонул дед, а она за полдня до телеграммы принялась ни с того ни с сего на стенку лезть от непонятной тревоги, она поняла, что таким вот предчувствиям лучше доверять. Хотя бы на всякий случай. Пусть потом окажется, что ерунда и бабья дурь. Пусть. Посмеемся, да и дело с концом.

А если окажется, что это не ерунда, то... То...

Ведь про чужих людей она ничего не чувствовала.

Значит, помимо прочего, окажется еще и вот что: она и сама не заметила, как душа ее насквозь проросла Журанковым, пропиталась им настолько, что он стал ей уж всяко не менее близок, чем любимый, просто обожаемый когда-то дедушка: добряк, весельчак, отшельник, пасечник... Тот с таежными пчелами разговаривал, как с людьми.

А с людьми вел себя, как с пчелами...

По коридору она почти бежала.

На ее осторожный — в общем-то, смущенный — стук никто не ответил. По всем статьям надо было разворачиваться и уходить. Может, спит человек. Может, душ принимает. Может, у него уже есть кто. Она, закусив губу и даже притопнув ногой от негодования на собственное непонятное упрямство, по-

стучала громче. Нет ответа. Она осторожно нажала ручку двери. Дверь открылась.

Когда человек у себя в номере и хоть спит, хоть принимает душ, хоть принимает... кого-то... невероятно, чтобы он не закрылся изнутри.

Наташка шагнула и остановилась на пороге. Сердце скакало в груди так размашисто и высоко, что будто по глазным яблокам лупило изнутри; и от того темнело в глазах.

— Константин Михайлович? — осторожно звала она.

Тишина.

Она, тая дыхание, на цыпочках прокралась в номер. И даже притворила за собой дверь. Воровка, как есть воровка. В номере все было аккуратно и безмятежно, ни беспорядка, ни поспешно брошенных неуместных вещей... нет, неправда. Посреди пустынного, как полярная льдина, письменного стола в царственном одиночестве возлежал лист бумаги с размашистой надписью: «Борису Ильичу Алдошину».

Наташка перевернула его, не колеблясь ни мгновения.

«Я обманул Вас. Просто я очень устал от нищеты. Все мои расчеты — блеф. И теперь мне совестно, страшно совестно. Я больше никогда никому из коллег не смогу смотреть в глаза. Простите. Журанков».

— Константин Михайлович!! — отчаянно крикнула Наташка, озираясь.

Тишина.

А из-под двери в ванную сочился свет.

Дернув дверь на себя, Наташка не закричала лишь потому, что окаменела.

Погруженный в воду до самого подбородка, ви-

новато втянув голову, из ванны на нее круглыми испуганными глазами смотрел Журанков. Это был взгляд ребенка, которого строгая мама поймала за игрой со спичками. Ну, ругай, ругай, раз уж застукала, я и сам знаю, что нельзя... Физик лежал голый и беспомощный: узкие плечи, поросшая редким волосом впалая грудь, худой, мохнатый понизу живот, панически сжавшийся членик и длинные мосластые ноги, которым, конечно, не хватило в ванной места, а потому колени, раскинутые в стороны, торчали высоко на воздух. Вода в ванной была розовой, и от погруженных в нее запястий Журанкова вальяжно, массивно отматывались, мало-помалу расходясь и бледнея, жирные красные ленты.

Наташка с трудом сглотнула.

Журанков безнадежно закрыл глаза.

У него опять не получилось. Он опять не смог того, что решил. Он так все складно сочинил, так досконально расчислил. Он написал прощальное письмо Алдошину, чтобы никто и помыслить не смог увязать его самоубийство с делами сына. Он решил не топиться — когда еще труп найдут, а надо, чтобы от Вовки отстали поскорей. Пока не началось необратимое. Он не запер дверь в номер, чтобы его обнаружили нынче же.

Он все продумал, как всегда, — так, что комар носу не подточит. И как всегда, нелепая случайность, предсказать которую было не в силах человеческих, поломала весь его филигранный расчет. Ну кому могло прийти в голову, что женщина, которая теперь снилась ему каждую ночь, окажется в его номере через пять минут после того, как он отбросит лезвие?

Безнадежно...

Как всегда.

Он не открыл глаз, даже почувствовав ее руки у себя на плечах, и даже не попытался ей как-то помочь, когда она, надрываясь и то и дело выплескивая на пол, на себя, на ювелирно элегантное свое платье плюхающие кровавые волны, молча принялась выволакивать его из воды.

ГЛАВА 4

Опять не пролилась

Фомичев позвонил Наташке часа через четыре после того, как они разошлись у больницы. Он был доволен и собой, и тем, что ему удалось, — и имел все основания на это. По первости его хотели погнать взашей, а он — журналистское расследование. Ему: тайна следствия, а он — святая мужская дружба. В общем, ля-ля-тополя — и теперь в его бумажнике лежали миниатюрные копии фотороботов, которые по рассказам соседей были составлены в ментовке в дополнение к показаниям: двое совершенно свидетелям незнакомых, не живших в том краю и никогда доселе там не виданных ребят в течение не менее чем получаса сидели на скамейке у парадной и то ли чего-то ждали, то ли кого-то караулили. Соседи — они все видят, только, к сожалению, лишь задним умом крепки. Фотороботы так себе, но, во всяком случае, отчетливо видно, кто из парней старше, кто совсем пацан. Будем у Семки в следующий раз — хоть завтра, — обязательно предьявим.

Наташка долго не отвечала. Фомичев уже начал думать, что она либо спит, либо, наоборот, слишком увлеклась чем-то, неважно чем, чем-то очень важным, с этим самым Журанковым. Он уже хотел дать отбой.

— Ал-лэ? — спросила Наташка басом.

— Привет, — осторожно сказал он.

— А-а, — протяжно сказала Наташка, — это ты, Фомич...

У него брови слегка поползли вверх. Наташка так амикошонски никогда себя с ним не вела.

Прежде чем он сообразил что-то ответить, она вдруг хихикнула и запела:

— Голова обвязана, кровь на рукаве... След кровавый стелется... Бляха-муха, забыла. Как там? Стелется...

— Наташка, — сообразил он, — ты что, пьяная? Вы там выпиваете, что ли?

— Стошку вискаррика огрела, — легко призналась она. — На голодняка, правда. Нет, ты не думай, Фомич, это не разврат. Это я уже дома. В полном одиночестве.

— Точно только стошку? — усомнился Фомичев.

— Ну кто считает? — возмутилась Наташка. — Мы же воспитанные люди!

— Понятно, — сказал Фомичев. — У тебя что, Наташечка, нечаянная радость? Журанков тебе наконец рассказал, на чем мы осенью полетим к альфе Центавра?

Наташка отчетливо икнула. Потом поведала:

— Журанков с собой покончил. Вскрыл себе вены в ванне. А я его спасла.

— Ты что несешь? — обаддело помолчав, осведомился Фомичев.

— Правда, — ответила Наташка так тихо и трезво, что Фомичев сразу понял: да, правда.

— Как это было? — негромко и совершенно спокойно спросил Фомичев.

— Захожу, а он в ванной, — сообщила Наташка и опять икнула. — Ага. Вены на руках порезал и ле-

жит, как в маринаде. Ой, погоди... рекламная пауза. Я еще накачу. Вот это денек...

Слышно было, как звякнуло стекло о стекло. Похоже, у Наташки до сих пор тряслись руки. А может, наоборот — уже тряслись.

— Ага, — сипло сказала она через несколько секунд. — Есть. Я опять с тобой, Фомич. Я снова здесь, я собран весь...

— Наташ, — осторожно предложил Фомичев, — может, мне подъехать?

— Ни в коем случае! — сипло прикрикнула она. — Исключено! Я слабая женщина, пьяная и пришибленная, мне тоже помощь нужна. Надежное мужское плечо... Если ты тут окажешься, я тебе отдаваться начну, а это нельзя, нечестно. Я же тебя не люблю... Я этих уродов люблю.

— Понял, не дурак, — сказал он, помедлив.

— Ленечка... Ты не обиделся?

— Нет, — ответил он хмуро, но, в общем, не покривив душой. — На что тут обижаться? Дело житейское. На расстоянии-то со мной говорить ты сейчас можешь?

— О да.

— Он как-то тебе объяснил?

— Он молчал, как партизан. Я жгуты верчу, кровь останавливаю... Он зажмурился и молчит. Знаешь, будто маленький. Чурики, мол, я уже не играю, а вы делайте, что хотите. А когда я стала по телефону наяривать... Обычную-то «Скорую» я вызывать побоялась, не ровен час, они бы следствие затеяли. Назначат психическую экспертизу... Нам это надо? Связалась с представителем корпорации в Москве, объяснила ситуацию на пальцах. Надо отдать им должное, врубилась с двух слов. У них, оказывается, тут целый штат... Государство в государст-

ве. Ну, как и следовало ожидать, собственно. Если своя служба безопасности, то как не быть своей поликлинике? И своей «неотложке»? Частный сектор, мироеды...

— Наташка, ты героиня, — от души сказал Фомичев. — Так соображать в таком экстриме...

— Херня, — бесшабашно отмахнулась Наташка. — Слушай дальше. Когда я стала телефон крутить, он все ж таки соизволил снизить... Отверз уста и начал гнать полную пургу... Чтобы я не вызывала врача, чтобы я ему размотала повязки и отпустила залечь обратно. Потому как я все испортила и всех погубила. Его, мол, сына коварно впутали в кровавое преступление и теперь шантажируют Журанкова, чтобы он кому-то там рассказал главную военную тайну, а то сына засудят... А вот если он, Журанков, немедленно помрет, то и сыну ничего не грозит, и тайну никто не узнает...

У Фомичева в голове что-то напряглось, будто слова Наташки, как ключ, заводили некую пружину, а потом, коротко скрежетнув, провернулось и встало на свои места.

— Наташ, — тихо сказал Фомичев. — Таких совпадений, конечно, не бывает... Но на самом деле еще как бывает. Не сын ли Журанкова проломил башку нашему Степану?

Некоторое время в трубке было слышно лишь запаленное дыхание Наташки.

— Ты вот что, — сказал Фомичев. — Ты сейчас ложись спать... ну, накати там еще, сколько надо для релакса, и отдыхай. Завтра нам эту сову надо прояснить.

Он остановил себя на половине того, что поначалу хотел сказать, потому что вовремя сообразил: если сказать все, Наташка уж точно не заснет.

Потому что для Степана, если так, получался совсем иной расклад. Получалось, что он не плюгавой шпане под руку подвернулся, а занятым каким-то серьезным делом профи. А те, если уж начали, свидетелей не оставляют. Игра немалая. Журанков, конечно, как у Галича пелось, то ли гений, а то ли нет еще, но исходить надо из худшего. В данном случае худшее — это что он воистину гений и что ради завладения его мозгами и тем, что в них таится, крови не пожалеют.

— Фомич, — ошеломленно проговорила Наташка. — А ведь это и правда может быть. Он же мне сказал: мол, сына пальцы нарочно оставили... Только я не соображала ничего. Жду врачей, а сама думаю: платью у меня мокрое и в кровище, и платью мне смертельно жалко...

Через полчаса Фомичев уже снова был возле больницы. Смеркалось; для конца весны сумерки наступали, мягко говоря, рановато, но небо снова пучилось рваными тучами, тяжелыми, как насквозь промокшие ватные одеяла. Медленно, в крайней сосредоточенности озираясь по сторонам и словно что-то прикидывая про себя, Фомичев пошел по тротуару вдоль обшарпанной больничной стены; не сделав ни малейшего поползновения войти внутрь, прошел мимо входа, через который они совсем недавно так браво прошагали вместе с Наташкой...

Это только в американских боевиках нет ничего проще, чем добить лежащего в госпитале свидетеля. Переодеться в белый халат, пройти, механически раскланиваясь при встречах с другими белыми халатами, войти в надлежащую палату и, пока никто не видит, то ли укол сделать, то ли в капельницу чего-нибудь плеснуть, то ли отключить какой аппарат от электропитания... И назад, снова приветливо рас-

кланиваясь с якобы коллегами. Никто и внимания не обратит.

Попробуйте проделать нечто подобное, когда даже лечащего-то врача днем с огнем не сыщешь, и никакие умные приборы к потерпевшему не подключены за неимением таковых в больнице вообще, но зато палаты утрамбованы увечными, точно банки с килькой.

Если не современные американские боевики, то... Старый добрый Конан Дойль?

Конечно, все входные двери дома напротив больницы были в свое время оборудованы кодовыми замками — и, конечно, эти замки были либо давным-давно с корнем выдраны из гнезд, так что и сами пустые гнезда приобрели застарелый вид типа «дом так и построили», либо, в лучшем случае, кнопки, которые надлежало тиснуть, чтобы дверь екнула электрической селезенкой и всосала язычок замка, настолько затерлись, что не составляло труда определить, на какие именно надо жать. Да, это вам не Рублевка. Это — времен «Превратим Москву в образцовый коммунистический город».

Однозначно нам сюда.

Вошли.

Поднялись.

Дверь на чердак, разумеется, не запиралась.

М-да. Носом дышать — воняет; дышать ртом, чтобы не чувствовать вонь, может стошнить.

Ничего, привыкнем.

Еще недавно здесь, вероятно, было гнездовье каких-нибудь бомжей. Ага. Вот и одеяла... так сказать. Но то ли по случаю наступления теплых дней бомжи перепорхнули куда-то к лучшей жизни, то ли... то ли вернуться к ночи.

То ли их кто-то как-то спугнул.

А вот и слуховое окно.

Фомичев осторожно высунул голову.

Крыши, крыши... Красота. Горизонты раздвинулись; до туч, провисших, будто переполненные торбы, рукой подать... К небу чуть ближе — и дышится уже совершенно иначе, полной грудью, от души, и хочется руками махать, как крыльями. Чому я не сокил, чому не летаю... Из-за влажно отблескивающих железных горбов проросли невидимые снизу, из уличных теснин, изящные стебли далеких сталинских высоток; хаяли их хаяли, костерили-костерили, а до сих пор они лицо столицы. Вон то, конечно, МИД, а вон гостиница «Украина»... Давно бы пора ее в «Малороссию» переименовать. Для баланса. По Крыму едешь — вместо села «Русское» вот уж сколько лет село «Руське», вместо села «Пушкино» — село «Пушкине»...

Словом, хай живе жовтые монголоиды и блакитные европеиды.

Ага. Вот сюда, если что, можно юркнуть. Можно к следующему окну перейти по крыше... Без проверки запасного хода для отступления дела не делаются.

А вон и окошко палаты Корхового. Там уже свет зажгли. Наверное, отужинали, новости, как подобает настоящим мужчинам, посмотрели, обсудили степенно и разумно всю политику вдоль и поперек, смешали с дерьмом Чубайса и теперь, кто более-менее ходячий, козла забивают. А Степка лежит, слушает. Как бы это его убедить завтра же рассказать ментам поподробнее обо всех странностях происшествия... Менты-то должны сообразить, что в свете новой информации свидетель находится под угрозой.

Хотя, конечно, если бы у нас делалось все, что должно делаться, и все впрямь соображали бы то,

что должны соображать, — уж не по врожденной потребности мыслить, ладно, но хотя бы по долгу службы, в узких рамках прямых обязанностей, — у нас бы многое шло иначе... Ш-шастье уже было бы, и никто бы никуда не ушел обиженный. Ни в эмиграцию, ни в независимость...

Пока окончательно не стемнело, Фомичев обустроивался. Прошел по крыше до следующего слухового окна, разведаль отходные пути. Свобода. При Совдепе черта с два бы я тут так вольготно шатался... На двери бы висел во такенный ржавый замок, открыть который можно только ломом... Потом отступил на позицию. Судя по всему, первоначальный выбор был правильным — именно отсюда открывался наилучший вид на окошко палаты Корхового. Ну, а если вообще расчет ошибочен... Что ж, Степан, прости, я сделал все, что мог.

Бомжи так и не вернулись. Наверное, и не собирались. Одежда, стало быть, очень кстати. Надеюсь, хотя бы насекомых там нет... В этом ворохе можно очень даже нехило замаскироваться; ворох и ворох...

Ждать пришлось каких-то три часа.

Что-то коротко лязгнуло, проскрежетало, и тьма чердака, наполненная едва ощутимым, на грани чувствительности бокового зрения мерцанием, вдруг развалилась пополам: в дверь сунулся широкий световой луч. Фомичев успел прикрыть глаза и не видел, как шевелится в луче темный сгусток, скользко еще перегораживая свет. Потом свет будто снова откусили — дверь закрылась. Теперь, как и прежде, заваленные пылью, грязью и барахлом чердачные теснины освещались лишь рассеянным светом улицы, сочившимся в слуховые окна.

Движение было слышно отчетливо, неприкрыто. И дыхание.

Непрофессионал.

Фомичев сберег глаза от короткого удара внешнего света и теперь был в куда более выигрышном положении, нежели припозднившийся визитер. Тот некоторое время бестолково ворочался, шумно натываясь на какие-то углы, трубы и черт знает что еще — вроде бы и не было на чердаке столько препятствий и выступов, сколько гость насчитал плечами, коленями и, судя по разнообразию звуков, лбом. Потом отчетливо чертыхнулся, пробормотал что-то вроде «Сами пускай попробуют без фонарика...». Фомичев уже совершенно отчетливо видел, как темная фигура поставила на пол длинную сумку, порылась во внутренних карманах и извлекла из недр карманный фонарь. Еще мгновение — и тот пустил узкую струю желтого света, которая, строго говоря, сделала обзор еще более проблематичным: то, что прокатывается в струе, видно, да и то лишь в чересчур контрастном и оттого будто плоскостном, двухмерном изображении, а уж чуть от струи в сторону — вообще беда, бездна. Фомичев нипочем бы не стал так затруднять себе жизнь — светить здесь фонариком.

Все ясно. Шпана.

Гостю было лет слегка за двадцать. Может, даже меньше — просто, как одно время было модно говорить, акселерат: бицепсы, трицепсы, все свободное время — спортзал да водка с пивом; гениталии до колен, под черепом — полтора ганглия. Держа фонарик левой рукой, парень с лихим хрустом расстегнул «молнию» сумки и достал небольшую винтовку. Из бокового кармана сумки вынул оптический при-

цел. С легким щелчком вогнал прицел в гнездо. Потом неумело навинтил глушитель.

Ну, времена... Свобода, блин, свобода... Полуночи еще нет, а по улицам столицы разгуливают безмозглые недоросли с винтовками, и будто так и надо.

Если и есть в России что-то поистине удивительное, так это то, что тут еще остался кто-то живой.

Сосредоточенно сопя, акселерат стал ладиться с винтовкой на краю слухового окна, примериваясь стволом в сторону больницы. Фонарик акселерат оставил лежать на полу, лучом кверху, чтобы отраженным от потолка светом светил рассеянно и просторно. Ну, ладно... Киллер хренов.

Фомичев призраком вздыбился из тряпья и, двигаясь стремительно и беззвучно, в три шага оказался у парня за спиной. Тот, даже если бы и услышал что-то, не успел бы повернуться. Но он не слышал. И, похоже, не слушал — так был увлечен своим подвигом. И так уверен в том, что он властелин мира и кроме него в мире все — твари дрожащие. Фомичев небрежно ткнул киллера прямыми пальцами в шею с обеих сторон. Парень коротко хлюпнул горлом и, обмякнув, со стуком выронил просунутую было наружу винтовку и сам на подогнувшихся ногах повалился на пол рядом с нею.

Фомичев проворно прошелся руками по его карманам. Ну, документов, конечно, никаких нет, на это ума хватило. Записная книжка, ага. Мобильник. Ага. Это все нам пригодится... Так. Ох ты, господи, не заметил сразу — наш Ли Харя Освальд даже в перчатках! Это кто ж таких бойцов дрессирует, интересно? Романтика! Но теперь — оч-чень кстати. Фомичев стянул с рук парня перчатки и надел сам. Взял одну руку киллера, поискитрялся малость, что-

бы отпечатки пришлись туда, куда надо, потом притиснул пальцы террориста к прикладу винтовки. Прodelал ту же операцию с другой рукой. Вот так, голубчики. Долг платежом красен. А может, и для дела потом пригодится. Одной из тряпок бомжового вороха — как сей ворох тут кстати оказался, как кстати! слава бомжам! — скрутил запястья парня и притянул их к одной из тянувшихся вдоль стены труб, мохнатых от дряхлой обшивки и пыли. Аккуратно, чтобы не потерять отпечатки, взял винтовку, проверил магазин (два патрона, е-пэ-рэ-сэ-тэ), потом не утерпел: высунулся наружу и глянул на окно палаты Корхового сквозь прицел.

В палате теплилось лишь дежурное освещение, но хорошая оптика будто зажгла там дополнительный свет: лицо Корхового было прямо вот оно. И койка стоит как нарочно — напротив окна. У стены голенастый штатив дремлющей капельницы — скелет инопланетянина...

Одно короткое мгновение Фомичев смотрел в оптический прицел на лицо спящего друга, потом зябко передернул плечами.

Эх...

И тут парень захрипел. Очухался...

Фомичев резко обернулся и ткнул болвану в затылок ствол винтовки.

— Обернешься — стреляю. Кто послал?

До парня осознание случившихся перемен сочилось, будто сквозь капельницу. Ту самую, из палаты Корхового. Доморощенный киллер недоуменно подергался было в своих путах, чем-то напоминая бесславно подышающую в паутине громадную снулую муху, но Фомичев, чуть взяв винтовку на себя, ткнул стволом в затылок еще раз, посильней. Парень оторопело замер.

— Ты кто? — сипло спросил он, не делая ни малейшей попытки обернуться. Врубился.

— Штирлиц в пальто, — ответил Фомичев. — Это я тебя спрашиваю, а не ты меня, усвоил?

— Да... — после паузы ответил парень. Голос прыгал, срываясь. Не обделался бы, герой...

— Повторяю вопрос: кто послал?

Некоторое время парень молчал. В тишине было слышно только его дыхание. Фомичев малость потерпел, не желая пережимать. Пусть освоится.

Потом все же слегка пошевелил стволом винтовки. Парень будто того ждал. А может, и на самом деле ждал — неловко было колотиться сразу, но еще одно минимальное воздействие — и все, потек; я же, мол, интеллигентный человек и неповторимый, бесценный субъект мироздания, поэтому уступаю грубой силе...

— Воевода... младший воевода Розмысл.

— Почему этого человека надо убить?

— А... — в голосе парня прорезалась дополнительная растерянность. — А хрен его знает. Приказ командира — закон для подчиненных...

Они там, подумал Фомичев с ненавистью, еще и в красноармейцев попутно играют. Сволочь... Последние извилины забили, как окошки в деревне забивают при отъезде — крест-накрест. Мурка — и та без хозяев одичала... Не ждите. Все ушли на фронт.

Встречать вермахт хлебом-солью.

Фомичев с трудом сдержал животный порыв отращения, когда без раздумий и рефлексий хочется просто придавить гада.

— Значит, так, — очень спокойно сказал Фомичев. — Ты, дубина, мне неинтересен. Ты мне сделаешь завтра встречу с Розмыслом. У меня твой мобильник — позвонишь мне на свой номер и передашь трубку вое-

воде своему, мы с ним договоримся, где, когда и как. Если не позвонишь — два уровня карательных действий. Первый — по мобиле я тебя вычислю, и уже к вечеру ты костей не соберешь. Второй — мусора найдут твою винтовку, на ней твои пальцы. Усвоил?

Парень ошеломленно молчал.

— Усвоил, я спрашиваю?

— Ну... это...

— Ну чего «ну, это»? Рожай быстрее!

— Бля... ну...

Чем быстрее ему надо было соображать, тем дольше у него получалось. Защита и опора нации...

— Может, ты в недоумении насчет винтовки? Может, думаешь, моя угроза — не угроза, ведь ты же не стрелял? Это мы сейчас поправим.

Фомичев каблуком раздавил фонарик. Беспомощно хрустнуло стекло, и с потолка плюхнулась густая темнота. Фомичев сызнава высунулся в слуховое окошко. Под углом в сорок пять градусов поднял винтовку к оранжевому ночному небу в ту сторону, где за издевательскими теснопутьями будто курам на смех помпезно осиянных проспектов, по которым, треща протекторами на хамских скоростях, летают тачки элиты — казино, дворцы интимного отдыха, стрелки, разборки, ночные гонки-экстрим, попробуй, правила-то соблюдая, поспеи везде! Тем более что порой, хоть и робея от понимания, для кого тут все вертится, но перегораживает стремительный их путь по невероятно важному делу какая-нибудь дурацкая «Скорая помощь»...

Там, за всей этой бурной, как у червей в падали, жизнью, которую надо было любить и беречь, потому что она — Родина, вечная и ни в чем не повинная Москва-река устало перекачивала из пустого в порожнее черную воду.

В сторону реки-то Фомичев и послал аккуратно обе пули. Винтовка, дважды лягнувшись прикладом, дважды аккуратно щелкнула. Запахло порохом.

— ... в рот! — плаксиво выкрикнул герой.

— Все, — сказал Фомичев. — Вы-с и убили-с.

Впрочем, тебе эта цитата ничего не говорит... Мусора приедут не скоро. Если вообще приедут... Тряпки ветхие, и ты, ежели подергаешься не лениво, минут через двадцать вылезешь. — Он сунул винтовку в сумку парня и, перекинув ремень сумки себе через плечо, легко пошел прочь с чердака. Слышно было из темноты, как, уразумев с опозданием, что выстрел в затылок ему больше не грозит, исступленно задергался на тряпичном подвесе неудавшийся киллер:

Только на лестнице Фомичев почувствовал, как устал.

Конечно, начатая многоходовка была неуклюжей, ненадежной и рискованной. Но другого способа попытаться выйти на тех, кто заказал Корхового и кто, следовательно, охотится на журанковские мозги, Фомичев вообще не видел. Попытка не пытка... Хотя, конечно... Импровизации в стиле Паганини. В смысле — на одной струне.

Он не мог сейчас знать, что вся затеянная им игра изначально лишена была смысла, потому что еще несколько часов назад, примерно тогда же, когда Наташка пророчески спешила к Журанкову, его сын, Вовка, пришел с повинной.

Фомичев узнал об этом лишь на следующий день и поэтому уже не удивился, что Розмысл ему так и не позвонил.

Фомичеву, в общем, и самому назавтра стало не слишком-то до воеводы, потому что еще ночью у него возникли иные поводы удивляться.

Добравшись около половины третьего до дому, Фомичев все еще не смог позволить себе завалиться спать. Первым делом следовало помыться, потом непременно написать Даше о случившемся. Посоветоваться Фомичев не успел, некогда было, но пусть хоть будет в курсе событий и поделится своими ображениями постфактум.

Хорошее русское имя — Даша.

А вот по-китайски, например, Даша значит Большие пески... Есть даже, говорят, такой поселок в китайском Синьцзяне; интересный, говорят, поселок...

«Милая Дашенька! — пристроив ноутбук на коленях, а сам с ногами устроившись в любимом кресле, Фомичев быстро зашелестел клавиатурой. — Сегодня произошло столько событий, что всего так сразу и не расскажешь. И события все больше печальные. Наш гений попробовал было свести счеты с жизнью, а почему — пока трудно сказать, какие-то проблемы с сыном, завтра я постараюсь узнать подробнее. Только случайность его, похоже, спасла. Имя той случайности — Наташа Постригань, я тебе уже писал о ней несколько раз и, похоже, буду писать еще чаще, потому что, чует мое сердце, между нею и нашим гением завяжутся непростые отношения...»

Письмо получилось длинным: события понеслись вскачь. Кто бы мог предвидеть такое еще вчера, когда они с Наташкой нервно собирались в Москву, чтобы навестить в больнице раненого друга...

Когда Фомичев вошел в сеть, диспетчер сообщений тут же поведал, что и его самого ждет не дождется Дашино письмо. Принять, конечно...

Письмо оказалось вовсе не от Даши.

«Здравствуйте, уважаемый Леонид Петрович.

Я занимаю довольно высокий пост в системе безопасности корпорации «Полдень-22», и то, что это мое письмо Вы получаете с хорошо известного Вам совсем по другим делам адреса, должно подтвердить Вам, что вы имеете дело не с шутником и не с дилетантом. Я знаю о Вас все, но это знаю пока только я. Пять лет назад с Вами в контакт вошли китайские спецслужбы, и с тех пор Вы являетесь информатором Комиссии КНР по науке, технике и оборонной промышленности. Судя по Вашему недавнему визиту на Байконур и иной Вашей активности, Комиссия всерьез заинтересовалась нашей корпорацией. Могу Вас заверить — это абсолютно правильное решение и абсолютно оправданный интерес. С другой стороны, я все более убеждаюсь, что никакие частные достижения и даже прорывы в науке не смогут быть ни использованы, ни даже по достоинству оценены российским руководством в силу его коррумпированности и ориентированности на Запад. Горстка тех, кто еще как-то заботится о собственной стране, явно тает, несмотря на рост патриотической риторики. Личные счета в банках — там, основная недвижимость — там, дети учатся — там, и в этих условиях нелепо ожидать от слуг народа какой-либо твердости и последовательности в отстаивании реальных интересов России. Систематически занимаясь охраной «Полудня», в частности и от своекорыстия наших же российских чиновников, я ощущаю, что делать это становится все труднее, и распродажа наших достижений — лишь вопрос времени. Все, что мы создадим, окажется, как уже не раз случилось в последнее время, за бесценок сдано нашим геополитическим противникам. Пусть даже отношения между Россией и ими не дойдут до прямых конфликтов, наш труд неизбежно будет в конечном

итоге использован во вред России, во вред именно тем людям, которые трудились вдохновенно и самоотверженно. Народный Китай представляется мне куда более достойным для того, чтобы воспользоваться уникальными плодами работы нашей корпорации в том случае, если ими не сумеет воспользоваться Россия. Поэтому я предлагаю Вам следующее. Я буду регулярно информировать Вас о том, что мне как одному из руководителей службы безопасности корпорации становится известно относительно наших передовых, прорывных научных достижений, методик и технологий. Вы вольны как Вам угодно проверять и перепроверять поставляемые мною сведения — это Ваше дело и Ваши проблемы. Я искренне заинтересован в том, чтобы Народный Китай и его руководство были осведомлены о наших работах и могли бы их использовать в надлежащее время вместе с Россией или вместо России с тем, чтобы окончательным монополистом всего что ни есть на свете передового, не оказалась какая-либо третья держава, которая в силу этого безраздельно и, возможно, необратимо получила бы господство в мире. Если Вас заинтересовало мое предложение, можете ограничиться отсылкой короткого подтверждения на тот адрес, который я прикладываю в конце своего письма. Можете также посоветоваться с Вашим руководством. Как легко понять, я контролирую Вашу переписку с центром в Даша — во всяком случае, данный ее поток. После получения подтверждения я извещу Вас о том, каким образом и с какой периодичностью буду поставлять Вам информацию, представляющую интерес для Комиссии. Всего Вам доброго, и надеюсь, что Вы и Ваше руководство примете в этой ситуации правильное решение».

Фомичев спустил ноги на пол и распрямился в кресле. Чуть щурясь, словно глядя на слишком яркий свет, он просмотрел служебную информацию странного письма. Все как следует быть. Что за чудеса...

Он поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и, продолжая с недоумением глядеть на заполненный текст письма дисплей, некоторое время тихонько посвистывал сквозь зубы.

ГЛАВА 5

Лжесвидетель

— Именно так, ваша честь. Благодаря этому я видел их прекрасно, совершенно отчетливо видел их обоих, а они меня — нет. Они меня вообще не видели. Собственно, они и не смотрели, они были уверены, что потерпевший... покойный... один дома. Так совпало, я уже объяснил. Но даже если бы им пришлось в голову сначала осмотреться, то в узкую щель между приоткрытой кухонной дверью и косяком они бы меня не увидели.

— Это уже понятно, свидетель. Продолжайте говорить по существу.

— А по существу... Подсудимый очень уныло, будто произнося хорошо заученный, но самому ему совсем не нравящийся текст...

— Воздержитесь от столь субъективных оценок.

— Это не оценка, это факт.

— Это для вас факт. Мы его проверить не можем никак.

— А все остальное, что я говорю, — можете?

— Свидетель, делаю вам замечание. Не вступайте в пререкания. А представителю обвинения следовало бы поменьше прерывать свидетеля и дать ему

сообщить все, что он считает нужным. Продолжайте, свидетель.

— Слушаю. Так вот. Подсудимый произносил свою речь с отвращением. Она ему не нравилась. Она ему была чужда. Но он ее все-таки произнес — как добросовестный исполнитель. Это — факт. Я не могу воспроизвести ее дословно. Должен признаться, я в тот момент был несколько обескуражен происходящим. Но обоснование приговора помню отчетливо: покойный своим лукавым мудрованием искривляет предначертанный славянскими богами светлый путь.

— Подразумевал ли этот, как вы сами выразились, приговор какое-либо наказание?

— У меня не создалось такого впечатления. Это, конечно, мнение, а не факт, прошу простить. Слово «изыди», которое, как я точно помню, произнес подсудимый, я трактовал бы скорее в смысле духовном, в смысле прекращения активности.

— Смерть и есть прекращение всякой активности.

— Еще раз прошу простить. Ваша честь, с моей точки зрения религиозный термин «изыди» подразумевает изгнание, но не уничтожение. Я бы трактовал его как требование снова покинуть пределы России, или уехать из Москвы, например, или, скажем, прекратить писать и выступать. Но предварять этим требованием приведение в исполнение приговора к высшей мере наказания мне представляется нелепым. Если подсудимый и впрямь пришел именно убивать, то, наверное, он и сказал бы что-нибудь вроде «умри, презренный».

— Понятно, свидетель. Полагаю, нам следует двигаться дальше. Мнение свидетеля суду ясно, но

оно является не более чем мнением. Продолжайте излагать факты.

— Слушаю, ваша честь. Шигабутдинов повел себя очень просто и мужественно. Это вообще был незаурядный человек, и я страшно жалею, что не знал его прежде и что наше знакомство было столь непродолжительным. Он сказал: «Я все понимаю, но давайте поговорим спокойно, и прежде всего опустите пистолет, потому что вы очень волнуетесь. Или отдайте вашему напарнику, он более спокоен». И протянул руку к пистолету. И в этот момент тот, второй... Он, в отличие от подсудимого, видимо, точно знал, для чего они пришли и чем все должно закончиться. Он положил пальцы поверху пальцев подсудимого и его рукой нажал на курок. Это было сделано, ваша честь, очень грамотно. Будто он просто пытается помочь подсудимому не отдать пистолет Шигабутдинову.

— А может, так и было?

— Нет. Убежден, что нет. Я видел совершенно отчетливо. Не было лишних движений, не было каких-либо иных движений, кроме имевших своей целью выстрел. Да к тому же... Если бы второй повел себя так же, как и подсудимый! Подсудимый был ошеломлен происшедшим. Он сразу закричал, обращаясь ко второму: «Зачем?» Кстати, этот вопрос, на мой взгляд, свидетельствует о том, что подсудимый уже практически сразу приписал действиям старшего своего напарника некий элемент осознанности, намеренности... Но вот сам второй несколько не был потрясен тем, что Шигабутдинов оказался застрелен. Все происходило очень быстро, потому что тут уж я, после выстрела-то, сразу выскочил к ним — но тот, второй, выглядел так, будто все идет, как должно идти. И только мое появление его удивило.

— Что было потом?

— Я выбил у подсудимого пистолет...

— Вы опасались, что он и в вас будет стрелять?

— Я в этот момент вообще не опасался. Честно сказать, я вообще даже не думал. Некогда было думать и опасаться. Просто прыгнул, выбил пистолет — и все. Чтобы он отлетел подальше. А драться мне пришлось не с подсудимым, а со вторым... И он, смею вас уверить, в этом смысле был подготовлен куда лучше подсудимого. Мало того, что я отнюдь не сразу его вырубил...

— Продолжайте. Почему вы замолчали?

— Потому что очень неловко признаваться...

— Что такое?

— Я его нокаутировал, но и он меня достал... Он повалился, однако ж и я повалился. Ну и приложился черепом об телефон... Шигабутдинов, когда те ввалились, как раз разговаривал по телефону... Как я теперь знаю, с присутствующей здесь, в зале суда, матерью тоже присутствующей здесь своей дочери Зарины. Телефон в момент потасовки стоял на столике у самой двери.

— Свидетель!! Это против правил, но я вынужден повторно предупредить вас об ответственности за дачу ложных показаний.

— Я помню, ваша честь.

— Почему на предварительном следствии вы показали, что телефоном вас ударил в голову подсудимый?

— Понимаете... Глупо... Не могу себе простить. Я тогда еще не вполне оправился, лежал пластом... Это я-то, здоровенный мужик! И мне было так неловко, так стыдно, что я, этакий, простите, лось, не справился с двумя пацанами... даже, собственно, с одним, потому что подсудимый как раз в драку даже

и не лез... Знаете — гримаса мужского тщеславия. Даже не сообразил, что на мальчика ваю... На самом деле я рухнул сам, и... ну, такое уж мое везение было в тот день — виском об железяку или обо что там... Аппарат старый, массивный, прочный... Очень стыдно.

— Свидетель! Вы отдаете себе отчет в том, что...

— Да конечно, конечно! Хоть сквозь землю провалились от стыда... Соврал на следствии... от гордости, что ли...

— В таком случае, как вы объясняете то, что на телефоне обнаружены отпечатки пальцев подсудимого?

— Ваша честь, заявляю протест. Вопрос обвинения вынуждает свидетеля излагать не факты, а собственные домыслы.

— Протест защиты принят. Продолжайте рассказывать, свидетель.

— А что рассказывать? Все... Упал, потерял сознание. Очнулся — гипс... То есть, простите, ваша честь, — не гипс, а бинт... Последнее, что я слышал, — это как тот, второй, которого как раз не поймали, крикнул: «Ходу!» То есть во дворе он инструктировал подсудимого, потом, вначале, он стоял у подсудимого за спиной, как надсмотрщик, как лицо, надзирающее за его действиями, потом именно он пальцами подсудимого нажал на курок и произвел выстрел, потом именно он вступил со мной в драку, и потом именно он дал подсудимому распоряжение убежать...

Все кончилось.

Публика расходилась не торопясь, гудя разговорами сдержанно, даже как-то озадаченно и время от времени исподволь оглядываясь на Корхового. Но тому уже все было неважно. Он проводил взглядом

миниатюрную Зарину, поддерживавшую под локоть пожилую, но все равно еще красивую, не броско величавую мать; обе женщины перед самым выходом обернулись и несколько мгновений смотрели на Корхового со спокойным, печальным пониманием. Корховой чуть-чуть улыбнулся Зарине. Потом снова приблизился к клетке, в которой, опустив голову, мрачно ждал конвоя Вовка. Мальчик будто почувствовал его взгляд. Ни на отчима, ни даже на маму он почти не реагировал, когда те вились вокруг него, а тут поднял на Корхового несчастные, глубоко запавшие глаза. Совсем уже не детские. Точно такие же, как у Журанкова, перед началом судебного заседания молча стоявшего возле клетки сына, будто на часах. Несколько мгновений Вовка и Корховой смотрели один на другого, потом губы мальчика беззвучно шевельнулись. «Что?» — спросил взглядом Корховой. Вовка снова шевельнул губами и отвернулся. Корховой так и не понял, что тот хотел сказать.

«Я когда-нибудь вас тоже спасу», — сказал ему Вовка.

Это обещание осталось при нем, никем не услышанное. Но он сдержал слово — через каких-то четырнадцать лет.

Корховой, Наташка и Фомичев долго молчали. Покинули зал суда, миновали тесный, полный мелкой суеты коридор, спустились по лестнице; вышли наконец на улицу. Молча. Наташка вообще избегала говорить о произошедшем, потому что было слишком страшно хоть словом разбудить кошмар; нельзя было ни роптать на судьбу, ни вызывающе радоваться. А вдруг бы кончилось хуже? Ведь валялся же там пистолет, и тот, второй, мог бы... Разве мы, простые законопослушные граждане, не знаем, что такое

контрольный выстрел? А с другой стороны, вдруг ничего еще не кончилось? Разве не знаем мы, как и через неделю, и через месяц неукоснительно добивают ненужных свидетелей? Да чуть ли не каждый день слышим о том по новостям, не реже, чем во времена кровавого коммунистического режима — о трудовых победах сталеваров и о гектарах зяби.

Много было у нее причин молчать, много. Она и молчала.

Но Фомичев в конце концов все же подал голос:

— Получается, того, второго, так и не нашли?

— Как в воду канул, — нехотя ответил Корховой.

Искоса глянув в профиль Корховому, Фомичев осторожно сказал:

— Слушай, Степка, вот уж нам-то скажи честно: ты действительно сам упал и ударился об телефон или все-таки...

— Гляньте, пацаны, — прервала Наташка. — Я в выходные в Коломенское ездила, так вся листва еще на деревьях была и зеленых — полно! А уже вон чего... Точно асфальт краской окатили.

— Осень, — ответил сразу понявший намек Фомичев. — Время летит.

— Красиво, — сказала Наташка и тоже стрельнула в щеку Корховому каким-то заискивающим, виноватым взглядом. Тот шел, глядя только вперед. Но ответил спокойно, добродушно:

— Скоро Новый год... Скоро опять елки на праздник рубить. Новое, так сказать, поколение...

Все же покосился на Наташку — и она торопливо расцвела несмелой улыбкой навстречу его короткому взгляду.

— А знаете, ребята, — сказал Корховой, — я таки вспомнил, что придумал тогда ночью в больни-

це. Помните, я вам печаловался, когда вы первый раз меня навестить пришли?

— А как же, — ответил Фомичев. — Ну и что?

— Как раз про Новый год и про елки, — задумчиво сказал Корховой. — Чем замечательнее праздник, тем больше надо за собой следить. Ни в коем случае не повредить молодые елочки, которые понадобятся на будущий год. Есть только доброкачественные продукты и не обжираться. Пить только благородное и только в меру, просто чтобы весело стало и заботы показались пустяками по сравнению со смыслом жизни. Ни от чего не пьянеть и не дуреть. А главное — не начать в пылу застолья хамить тем, с кем сидишь за одним столом, и ни в коем случае с ними не передрасться. Чтобы, когда придет пора выбрасывать елки в ближайший сугроб и идти в новую жизнь на работу, проснуться как стеклышко, с чистой совестью и ясной головой.

— Горячим сердцем и чистыми руками, — улыбаясь, добавил Фомичев.

— Именно, — согласился Корховой. — И с новыми силами. Потому что новая рабочая неделя — она... Кто знает, сколько она продлится потом. После Нового-то года...

— Как ты мудр, — уважительно произнес Фомичев. И забубнил: — Блаженны трезвые, ибо они наследуют землю... Блаженны не сблевавшие, ибо их есть царствие небесное...

— Именно так, — сказал Корховой серьезно. — Блаженны не поставившие фингал ближнему, ибо они будут наречены сынами Божьими.

— Блаженны не разбившие бутылки об головы соседей и сдавшие их в целостности-сохранности, ибо они насытятся...

— Ребята, — резко сказала Наташка, — кончайте. Не смешно.

— Да мы уважительно, Наташечка, — примирительно ответил Фомичев.

— Все равно. Не знаю. Неприятно.

— А всегда неприятно, — задумчиво сказал Корховой, — когда что-то давнее, сквозь века светившее, вдруг начинают излагать якобы современным языком. Мол, понятным современному зрителю и читателю... Тогда кажется, что всегда было как сейчас — и от этого тоска. «Ёп-тыть, Жека, — процедил Ленский, поигрывая перышком. — Да я ж тебя, сучонок, за бэби Ларину на ремешки порежу!»

— Ох, — сказала Наташка.

— А что, — сказал Фомичев. — Достоинно сцены Большого. Степан, ты займись этим всерьез, бабла нарубишь немерено! Представляешь: выходит на сцену старый генерал в эполетах и отличным басом поет на радость утонченному бомонду: «Онегин, я скрывать не стану — я в рот попробовал Татьяну...»

— Не смешно, — стеклянным голосом повторила Наташка.

Фомичев осекся.

— Да, — сказал он покаянно. — Язык мой — враг мой.

— Тоска не потому, — сказала Наташка. — Тоска от однообразия. Негде подсмотреть модели альтернативного поведения. Я не тургеневская барышня. Старые генералы и прочее благородное дворянство за картами или винцом, в своей компании, наверняка именно так и беседовали. Но именно они-то, если душа требовала, и совершенно иначе могли завернуть. «Да если б я был не я, а красивейший и умнейший человек на земле, и то почел бы за счастье просить руки и любви вашей...» Потому что романтиче-

ские книжки читали. А теперь можно докатиться до того, что если переживания нельзя описать в понятиях «нарубить бабла» и «в рот», они как бы не существуют. Потому что про них никому невозможно рассказать. Язык их не предусматривает. А потом глядишь — их и впрямь не стало. Страшно даже вообразить, в каком хлеву мы тогда окажемся.

— Как ты мудра, — с картинной потрясенностью заключил Фомичев.

Некоторое время они снова шли молча. Мокрый от вчерашнего дождя тротуар залепляли желтые листья, и Наташка принялась по-девчачьи загребать их ногами. Корховой и Фомичев размеренно, строго шагали справа и слева от нее, словно почетный караул. Словно оберегали ее игру — изначально немного грустную уже потому, что это была только осенняя игра.

— Жалко, что мокрые, — пожаловалась Наташка потом. — Не шуршат.

И пошла нормально.

— Наташ, — спросил Фомичев, — а ты крещеная?

— Ага. Ой, а кстати, Степа, я все хотела спросить. Зарина — мусульманка?

— Не знаю, — помедлив, ответил Корховой. — По некоторым повадкам вроде да... Но это же само по себе ничего не значит, мы все трое, если со стороны посмотреть, наверняка по многим повадкам православные. Просто потому что тут родились и выросли... А ходит ли она молиться — не знаю пока. Почему ты спросила?

— Интересно, — сказала Наташка. — Миленькая девочка, и фигурка замечательная, но одевается так, будто хочет, чтобы этого никто не заметил. А платка при всем при том не носит...

— Точно, — сказал Фомичев. — В нашей компании для полного равновесия явно не хватает еще одной красивой женщины.

— А она разве журналист? — Наташка озадаченно покосилась на Корхового. Тот отрицательно покачал головой.

— Микробиолог вроде, — сказал он. — Будущий. Четвертый курс.

— О-о... — сказал Фомичев с разочарованной уважительностью: мол, это, наверное, очень возвышенно и благородно, но за пределами моего понимания... Огляделся. — Ладно, ребята. Вот как раз метро, мне туда... Покорнейше прошу простить, дамы и господа, но мне пора воротиться в полк, ибо намерены за рекою услышаны были звоны шпор да сабель и крики «Вив л'эмпре»... Наташечка, так нужно изъясняться благородному человеку?

Наташка благодарно улыбнулась ему.

— Приблизительно вот так, Никаноровна, — ответила она.

А с Корховым Фомичев не обменялся ни словом — только взглядом и крепким рукопожатием. И когда Фомичева заглотила густая комковатая лава голов, мерно стекающая в подземелье, Корховой и Наташка, проводив его взглядами, двинулись дальше.

Потом Наташка взяла Корхового под руку. Он чуть улыбнулся и сказал:

— Надеюсь, теперь твой Журанков успокоится наконец насчет сына.

— Он не мой, — сказала Наташка тихо.

— Ну, не твой...

— Так ты что, — ошеломленно проговорила Наташка, — это ради меня?

— Ради всех, наверное... — ответил Корховой. — Мне мальчишку тоже жалко. Слушай, давай, чем ме-

мекать, подобьем итоги. Дело все равно сделано... Ты в него влюбилась, что ли?

— Я не знаю, Степа, — жалобно сказала Наташка. — Правда, не знаю. Он такой ранимый! Без кожи. Он не живет, а будто голый через колючки продирается. Кто-то ему неловкое слово сказал, он потом весь день больной: раз со мной можно так пренебрежительно, значит, я ничтожество. Сам кому-то неловкое слово сказал — два дня больной, гложет себя за глупость, хамство и ни о чем больше думать не может, кроме как перебирает: как на самом деле надо было сказать. Он же кровью истекает у всех на глазах. А никто ничего не понимает. В лучшем случае думают: он высокомерный и так нос задрал, что ни с кем не общается... не снисходит, мол... А он от ужаса просто серый... Стыдно, говорит. Пока, говорит, один сидел и никому был не нужен — казалось, горы сверну, звезды достану... А сейчас, когда все забурило — голову, говорит, будто выварили. У меня все сердце изболелось, Степка. Он погибнет, если его чем-нибудь мягким не обернуть...

Корховой с недоверчивым восхищением коротко глянул на нее искоса сверху вниз и сразу отвел взгляд; но она так горячилась, что даже не заметила.

— Да-да, погибнет! А никто и тогда ничего не поймет, все только скажут: ага, он лишь казался сильным ученым, а в сущности-то ничего особенного! Поначалу подавал, дескать, надежды, но сколько таких молодых мы уже видели... Степка, это так несправедливо! Я не могу этого вынести!!

— Наташка... — ласково проговорил он. — Горе луковое...

— Ну что «Наташка»?

— А скажи, — неожиданно для себя спросил он, — вы уже целовались?

— Нет! — перепугалась она. — Что ты!

— А хочешь?

— Да, — ответила она без колебаний. — Конечно. Как же иначе?

— Послушай, Наташ, — сказал он, помедлив. — Послушай, благородная женщина, сермяжную истину. Тебе двадцать восемь, и у тебя еще нет детей. Это тебя материнский инстинкт колбасит. Если ты, не ровен час, от него родишь — инстинкт у тебя ориентируется туда, куда и надлежит: на ребенка. И тогда от мужика ты начнешь хотеть именно того, что нужно женщине от мужика. Покоя, надежности, удобства, в разумной степени — свободы... И прочего. Нормального! И я не представляю, как вы тогда будете. Он же привыкнет, что ты ему мама. У него почва из-под ног уйдет в одночасье, а хлопот по-отцовски прибавится. Он захочет тебя снова в маму превратить, будет канючить, может, даже петьельку себе опять намылит. Тебе будет совестно, что ты по-старому не можешь. И ты его за это возненавидишь. А он тебя возненавидит за то, что ты его, так получится, обманула и не смогла быть ему мамой вечно. Предала, стало быть. Я не представляю, как вы из этого выпутаетесь...

Некоторое время Наташка молчала, вышагивая словно по ниточке и сосредоточенно глядя себе под ноги. Потом Корховой понял: она просто пряталась, потому что, когда она наконец подняла на него глаза, они полны были слез. Давненько он не видел слез у нее в глазах — пожалуй, с того самого дня, как они с Фомичевым пришли его в первый раз навестить в больницу.

— Господи, — благоговейно и обреченно сказала она, — какой ты хороший!

И как когда-то перед вылетом на Байконур, и как еще много раз потом, она обняла его руку обеими своими и прижалась плотно-плотно. Грудью к локтю, щекой к плечу... Но это уже не радовало и не возбуждало; даже не ощущалось. Словно то была не упругая плоть прильнувшей любимой женщины, а тихий дым.

— Наташ, — мягко сказал он, — если у вас это затянется, я тебя ждать не стану.

— Не жди, — ответила она.

ГЛАВА 6

Новое небо

Март ликовал.

Небо взлетело высоко-высоко и тонко, прозрачно мерцало, словно в пронзительной синеве украдкой роились все звезды. А снег, сухо треща под лыжами, пылал, как подоженный. Висячие сугробы на ветках сами сияли, будто причудливые слоистые солнца.

Так далеко от городка уже мало кто уходил. Народ предпочитал тешиться толпами, переваливаясь по-утиному на бесхитростных ближних взлобках кто с друзьями-подругами, кто по-семейному. Но здесь и трассы делались посложней, и перед носом не мельтешил никто; пустая лыжня прельстительно, вся — только твоя, улетала в лес, нескончаемо обещающая, что вот за следующим поворотом еще красивее. А если кидалась под ноги пересеченка, так уж не ручные бугорки для немощных увеселений, но нешутейные, окрыляющие уклоны метров в двести

длиной, такие, чтобы в ушах свистело, и морозный пузырь, лопаюсь и трепеща перед лицом, срывал дыхание.

Здесь редко кого встретишь.

А если и доведется, то обязательно тоже фаната, жадного до НАСТОЯЩЕЙ свободы и потому взмыленного так, будто он и не отдыхает вовсе, а из последних сил шкуру спасает от идущих по пятам душманов. И сразу видно — человек. Не языком чесать вышел, и не престижный инвентарь демонстрировать, театрально телепаясь там, где побольше зрителей, и даже не в снежки играть, хохоча и флиртуя, — а чтоб до седьмого пота и полного счастья. Потому что даже на шестом поту полное счастье еще не наступает, только намек на него, только обещание. Вот когда седьмой пот сошел — тогда все. Тогда ты любишь весь мир, готов всем все простить и со всеми обниматься. И все кажется ясным и преодолимым.

Сегодня непременно следовало дойти до седьмого пота. Потому что приезжали мама с Валенсием, и Вовка, собственно, так и не знал еще, как себя с ними здесь вести.

Хекнув азартно, он что было сил ударил палками снег и вписался в резкий поворот. Начинались самые дебри.

Опаньки!

Вот так. Вот тебе и редко кого встретишь.

Чуть ли не прямо на дороге, аккурат на пересечении с поперечной лыжней, уходящей на боковой холм, за которым, как уже знал Вовка, обвалью срывался аж до самого озера головоломный спуск по узкой извилистой просеке, в сверкающем всклокоченном снегу романтически сидела, изящно подогнув ножку, одинокая пигалица в ярко-красном комбинезоне.

Будто на пляже.

Ага, понятно. Съехала сбоку и не справилась, как говорится, с управлением. Наверное, туда залезла, там у нее сразу сердце в пятки. Вовка и сам, забравшись в первый раз на гребень, с полминуты духу набирался, прежде чем толкнуться в тесный безвозвратный провал, падавший, казалось, чуть не к антиподам. Ясно дело, решила не рисковать, правильно сделала, между прочим, могла бы и костей не собрать; развернулась, покатила назад и, похоже, влетела вон в ту сосенку...

Однако далеко забрела пигалица...

Ну и чего сидит теперь?

Ладно, пусть сидит. Я хочу бежать и бегу, она хочет сидеть и сидит. Живи и не мешай жить другим, как любит поучать Валенсий...

В ярком, но мешковатом лыжном унисексе и нахлобученной до глаз шапочке с трогательно свешенном набок помпоном не понять было, сколько девочке лет: двенадцать? четырнадцать? Может, и семнадцать? Может, фитюлька, а может, красotka. «Только б не решила, что я запал и клеиться начну». Вовка выпятил челюсть, уставился вперед и, снова ударив палками посильней, с сочным яблочным хрустом прокатил мимо.

— Мальчик, — безупречно вежливо, голосом чистым и прозрачным, как сосулька, позвала сзади пигалица. — А, мальчик...

От этого обращения у Вовки едва палки из рук не выпали. Он обалдел настолько, что не вспомнил тормознуть; катя по инерции, растерянно обернулся — и, натурально, потерял равновесие. Прямо на глазах у наглой пигалицы он, нелепо взмахнув руками, ухнул мордой в глубокий, рыхлый, но все равно колючий на пятнадцатиградусном морозе снег.

Яростно чертыхаясь про себя, он неуклюже поднялся на карачки; всем весом оперся на палки и, выдав себя, как домкратом, упруго встал. Смахнул снег со щек и подбородка, обернулся. Пигалица глядела на него и негромко, беззлобно смеялась. Словно из ладони в ладонь пересыпала звонкие хрусталики.

— Ты тоже! — сказала она. Потом смех ее затих, и лицо вновь стало озабоченным. — И я тоже.

Развернувшись, Вовка аккуратно толкнулся и подъехал к ней вплотную. Она подняла лицо, но так и не сделала ни малейшей попытки встать, будто приросла к очень уж приглянувшейся ей солнечной полянке.

— Какой я тебе мальчик, — угрюмо сказал Вовка.

— Кто скажет, что ты девочка, в того я первая брошу камень, — отозвалась она. Судя по тону, это была какая-то цитата, но она ничего не напомнила Вовке. Цитата, не цитата — ясно было, что над ним издеваются. У него дернулся уголок губы.

— Я не мальчик, я руссофашист, — брякнул он.

С чего он так развоевался, он и сам не знал. Наверное, слишком уж она его достала «мальчиком». Да еще так нелепо мордой в сугроб...

Пытливо глядящие на него снизу большие карие глаза стали очень серьезными. Пигалица собрала губы в трубочку и чуть склонила голову набок.

— Ты? — спросила она после паузы.

Но Вовка уже совладал с собой.

Ни с того ни с сего рассказывать про то, как он, тупой, точно булыжник, который кто-то ногой пихнул с горы, накатил и раздавил чужую жизнь; про то, как за явку с повинной, активное сотрудничество со следствием и, главным образом, из-за показаний Корхового ему пять лет навинтили условно, да

потом еще, за неимением в стране нормальной программы защиты свидетелей, предложили и помогли смотаться из Москвы — и он, совсем потерявшись от обвала событий, обеими руками ухватился за робкое предложение отца переехать хотя бы на время к нему: все-таки городишко режимный, бандит сюда не вдруг попадет... И как ревмя ревела мама, и как Валенсий в праведном гневe воздымал руки к потолку и кричал патетически, с отчаянием, какого прежде Вовка у него не слыхивал, — отчим будто пытался сам себя в чем-то окончательно убедить, добавить в себе какие-то сомнения и потому выл в голос, распаляясь: «Ну почему всякий, кто, понимаете ли, за эту страну, обязательно становится фашистом? И почему всякий порядочный и честный человек обязательно становится этой стране врагом? Ведь еще полтора века назад было написано: «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья!»...

Вот прямо тут, посреди застывшего в снежном сиянии дремучего леса, рассказывать эту мрачную тягомотину маленькой фее, вызывающей, загадочной и беззащитной, словно проросшая на арктических льдах земляника...

— Шутка, — только и ответил он ей.

У нее в глазах заиграли бенгальские огни.

— Ну, тогда я еврейка, — сказала она. Спокойно, без вызова, лишь с едва уловимым удовлетворением от того, что знает, чем сразу ответить; интонация подходила скорее игре в города, в которую Вовка когда-то, давным-давно, так любил играть с папой и мамой. Ленинград — Донецк — Кудымкар... На что предыдущий кончился — с того последующий должен начаться. Иностраннх не называть.

— Да и пожалуйста, — угрюмо проговорил Вовка. Запнулся. — Чего звала-то?

— Понимаешь, мальчик, — голос у нее опять стал донельзя вежливым, — я сломала лыжу и сильно ушибла коленку. Не то что ехать — даже встать не получается. Ты не мог бы подать мне руку и помочь дойти до города?

Она говорила так безмятежно, будто на танцульках просила его купить мороженое.

Вовка просто офигел.

Было поразительно тихо. Летом лесные сердцевины полны звуков — зимой ничего живого. Стекланный лес, хрустальный воздух, крахмальный снег, ртутное солнце — сплошное царство минералов; и, пока сам не шевельнешься, все молчит. Белое безмолвие.

Только размашисто бьет помпа сердца.

Несколько мгновений Вовка не мог ни слова вымолвить от потрясения, потом спросил:

— И сколько ты тут сидишь?

— Наверное, минут сорок, — ответила она почти застенчиво.

Как же ей, наверное, страшно было одной...

— Замерзла?

— Да. Немножко.

— Слушай, а мобилы у тебя нет, что ли?

— Разбился, — виновато сказала она, а потом, словно боясь, что он не поверит, стремглав расстегнула «молнию» на груди, сунула руку за пазуху и извлекла оттуда изящную, как шоколадка, плиточку «Эрикссона». Было похоже, что шоколадку прямо в обертке попробовал на зуб и, разочаровавшись, сплюнул гиппопотам.

— Так ты нехило приложилась, — окончательно уразумел Вовка.

— Так я и говорю, — просто ответила оца.

— Скорей застегнись! — вдруг поддавшись заботливой панике, рявкнул он. — Мороз ведь!

Девчонка послушно затянула «молнию» до подбородка.

Вовка быстро огляделся, видя все будто в первый раз, будто внове, потому что задача встала новая. Носиться, как охреневший слон, дело нехитрое. А вот ее оттранспортировать... Будет ковылять, опираясь на его руку, на сломанной лыже, да при том, что ему придется торить по рыхлому снегу параллельную лыжню для себя... Не, они и к закату не дойдут. Она просто остекленеет.

— Тебе сколько лет?

Она не сразу ответила. После паузы призналась:

— Тринадцать.

Совсем фитюлька.

— Как же тебя занесло-то сюда? — У него произвольно прорезался нежный, отцовский тон.

Она беззащитно пожала плечами:

— Сама не знаю. Шла, шла... Красиво.

Ответ, достойный уважения. Фитюлька, но наш человек.

— Значится, так, — начал Вовка, сам не заметив, что заговорил, будто Глеб Жеглов, но чувствуя себя очень взрослым, опытным и могучим. — Сейчас будем играть в Машу и медведя.

— Чиво-о? — изумилась пигалица.

— Ничиво-о, — передразнил ее Вовка. — Молчи и слушай. Время дорого. Сейчас сядешь мне на спину, обхватишь руками-ногами... Лыжи твои мы выкинем тут. Все равно одна сломана. Палки можешь мне отдать, я их потащу вместе со своими. Твоя задача: крепко держаться. Ясно?

Она опять поджала губы. Уже побелевшие от мо-

розного передозняка щеки ухитрились налиться краской.

— А позволь, Микитка, я положу на тебя свою ножку, — пробормотала она. — А он и рад тому: не то что ножку, говорит, но и сама садись на меня. И как увидел он ее белую полную ножку...

— Ты эти секс-прихваты брось, — с негодованием прервал он. — Подрости сперва!

Она засмеялась:

— Это же «Вий»!

Вовка остался непроницаемо суров. Какой такой вий, блин...

— Поздняк трепаться, — строго сказал он и опустился рядом с нею на корточки. Надо бы коленку посмотреть, мельком подумал он. Их там, в банде, помимо прочего, основным приемам первой помощи тоже учили — хоть какая-то польза; как говорит отец, знаний лишних не бывает, и коль в голове что-то застряло, то когда-нибудь да пригодится. Если это, конечно, настоящие знания, а не болботня. Да, но толку-то? Пока он будет изображать Айболита, она вообще зачоченеет.

Нет, никаких медосмотров. Галопом, галопом...

Он снял лыжу с расшибленной ноги. Тогда девочка распрямила здоровую — и стал виден надевший на нее расщепленный обломок лыжи. Надо же, она его спрятала... Зачем? Чтобы не выглядеть жалко? Ну, пигалица... Молодец, чес-слово... Вот ведь угораздило ее... Он снял обломок. Повернулся спиной и встал на четвереньки.

— Заползай.

Очень странное, щекотное для души это было чувство — когда на него уселось сзади и потом, устриваясь повыше и поудобней, от задницы к плечам аккуратно поползло мелкое, но цепкое существо по-

тенциально женского пола. Как ни крути — не мартышка. Тонкие и гибкие, как хлыстики, руки, шурша тканью комбинезона, неловко обняли его за шею, широко разведенные коленки обхватили бока.

— Так? — стесняясь, спросила она.

— Ага, — одобрил он. Пигалица оказалась удивительно легкой; не девчонка, а пластмассовая Барби в натуральную величину. Вовка осторожно распрямылся. Она, едва слышно ойкнув, поехала было вниз по его спине, но тут же притормозила; здоровая коленка прижалась плотней, а руки судорожно передавили ему горло.

— Только не придуши меня.

Она стремглав освободила кадык. Надо же, сразу поняла, где... Чуткая.

— Прости, пожалуйста, — покаянно пробормотала она и повторила: — Так?

— Да, — сказал он. Чтобы храброй фитюльке стало повеселей, он жеребьячи топнул ногой и громко заржал: — Иго-го!

И, работая только ногами, чтобы плечи и спина оставались неподвижны и девчонке сподручней было держаться, он, по возможности поддерживая ее за коленки, начал первую в своей жизни эвакуацию пострадавших.

Поначалу они не разговаривали. Осваивались. Стекланные изваяния сосен роями плыли назад. Скрежетал и рычал под ногами снег.

Потом сзади раздался фитюлькин голос:

— Ты еще не устал?

Надо же, заботливая нашлась...

— Нет, — сказал Вовка. — Ты легкая. Не завтракала, наверно.

Он хотел пошутить, чтобы еще немножко ее развлечь, но она оскорбилась:

— Как не завтракала? Завтракала!

— А если даже и устану — мне полезно.

— Почему?

— Хорошая физподготовка.

— Ты спортсмен?

— Нет.

— Хочешь в армию?

— Позовут, так пойду, но...

— А, поняла! — сказала она. — У вас в фашистском уставе сказано, что в здоровом теле — здоровый дух.

— Дура, — сказал он.

Некоторое время она молчала. Ее дыхание обижено участилось и горячо щекотало ему шею сзади.

— Прости, — неловко пробормотал он. — Я же сам тебе... Прости. Я в космос хочу. Знаешь, сколько весит скафандр для выхода в открытый космос?

— Сколько? — заинтересованно спросила она как ни в чем не бывало.

Он и сам не знал.

— Много, — сказал он. — Больше тебя.

Первый поворот... Километр прошли.

— А зуб даю, — сказала она, — пока ты сюда не приехал, про космос и не думал.

— Точно, — подтвердил он.

— Тут место такое. У нас мальчишки в классе как с ума посходили. Все хотят кто на Луну, кто на Марс. Просто смешно. Таблицу умножения друг у друга выясняют, но болтают с умным видом про апогей и перигей. Я у одного спрашиваю: а что выше, перигей или апогей? Молчит, моргает... Я у другого... Только третий вспомнил.

«И я на них похож», — подумал Вовка.

Надо будет посмотреть, сколько весит скафандр.

— Ты в каком классе? — спросил он.

— Ты молчи, — заботливо ответила она. — Береги дыхание. А я буду тебя развлекать разговорами.

Он скорчил рожу типа «фу ты, ну ты» — но видеть этого она не могла.

— Я вот не понимаю: а зачем, собственно, этот космос?

— То есть как? — удивился он.

— Нет, конечно, интересно. Вот как я сюда забрела. Идешь, идешь, и хочется все дальше и дальше. Но ведь это просто идешь. Ни денег не надо, ни ракету строить... А такое сложное дело должно быть для чего-то очень нужного. Вот был в России философ Федоров. Он странный, я его поэтому люблю. Только читать ломает, у него такой язык... Жутики. Он был совершенно религиозный человек, но сам этого не понимал и хотел, чтобы все, что в религии обещано, было прямо тут. Он в науку верил, как в бога. Если наука чего захочет, сказал он, то обязательно это сможет. А что самое важное для людей? Не бояться смерти. Поэтому надо воскресить всех, кто умер. Не дожидаться Страшного суда, когда бог воскресит, а научиться самим. И будет рай. Федоров это называл: воскрешение отцов. Тогда встает вопрос: а куда же расселить такую прорву народу? Земли не хватит. И вот Циолковский, между прочим его почти что ученик, сказал: в космос. Там места бесконечно много. И начал придумывать ракету. Вот ради такой цели — это я понимаю...

Вовка, втянувшись в ритм, с неторопливой размеренностью отпихивал то правую, то левую лыжню, и те будто сами несли его, как несет пловца, накатывая волна за волной, безветренная морская зыбь. Голова была свободна для беседы, но Вовка ушам своим не верил. Слушать детский голосок, произносивший все это, было противоестественно.

Как если бы маленькая золотая рыбка в аквариуме, подплыв к стеклу, вместо беззвучного и бессмысленного шлепанья губами открыла ротик и зычно выдала из-под воды оперную арию.

— Слушай, а ты правда еврейка?

— А что? Думаешь, я так шучу?

— Нет, просто... — Он не знал, что сказать; потом нашелся: — Не похожа. У тебя нос скорей картошкой, чем клювом...

— Еще вытянется, — кровожадно пообещала она.

— Да ну тебя. Я серьезно спрашиваю...

— А если серьезно, то наполовину. Папа русский. По фашистским понятиям — самый криминальный вариант.

— Понятно... — хмуро проговорил он.

— Но ты знаешь, я про все эти национальные дела вспоминаю, только когда слышу, что жидов ругают.

Он помолчал, потом не выдержал:

— А когда русских?

— Ну, знаешь, — возмутилась она, — смотря за что.

— Вот то-то и оно, — сказал он, поразмыслив.

— Что?

— Что когда евреев несут по кочкам, ты сразу вспоминаешь, что еврейка. И сразу: а-а-а! наших бьют! А когда русских — то не вспоминаешь, что русская. Тут, мол, за дело ругают, справедливо. А тут, пожалуй, перехватили... Но за живое не берет. Правильно я понял?

Она долго молчала. Он метров полтора успел отмахать и уже почти уверился, что опять ее обидел, но она задумчиво призналась:

— Даже в голову никогда не приходило посмотреть так.

Он засмеялся.

— Ты чего? — удивилась она.

— Прости, но... Не удержался. Как ты мне про Федорова-то...

— А Федоров чем тебе не угодил?

— Да не в том дело... У нас прям как в листовке. Евреи едут на шею русского народа и его же учат русской культуре.

Некоторое время она озадаченно молчала. А его зудяще тянуло говорить с нею именно об этом. Она казалась живым опровержением всех мерзостей, и ему невтерпеж было опровергать их ею снова и снова. Бескомпромиссно, в лоб.

— Ну, поучи ты меня, — попросила она.

Он порылся в памяти, пытаясь сообразить, чему бы такому мог научить ее. Федоров... Воскрешение отцов, блин, Страшный суд... Плохо дело, подумал он.

— И вообще, знаешь, я к тебе на спину не просилась, — сказала она; тогда он понял, что она все-таки опять обиделась, только старается не подать виду.

А его будто черт какой-то бодал.

— Именно, — сказал он. — Там и про это сказано. Русские, мол, всемирно отзывчивые. Сами себя по доброте душевной предлагают в ярмо. Мы ж богатыри, у нас, мол, сил на всех хватит. А остальные уже к этому привыкли и не только благодарности не испытывают, но относятся как к должному. И если русские их на плечи не сажают, а говорят: идите своими ногами, в ответ тут же в крик: как это — своими ногами? Это же притеснение по национальному признаку! Русские хотят нас поработить и истребить!

— Знаешь, это то же самое, что верить, будто панночка взаправду на Хоме летала, — непонятно, но очень сухо сказала она. — Тебе надо прочитать речь Достоевского, где он ввел понятие всемирной отзывчивости русских. Сравнишь.

Он только головой покачал.

На сей раз они молчали долго. Тянулся, пожалуй, уже пятый километр; Вовка начал уставать.

— Ты не устала висеть-то? — чуть принужденно спросил он; очень трудно возобновлять разговор с тем, кого ты явно обидел.

— Нет, — односложно отозвалась она.

Конечно, устала. Руки затекли, конечно. Приподняты, пережаты, кровь отлила... Он постарался покрепче подхватить ее под коленки. Спустить ее наземь и дать отдохнуть? Нет, нельзя, холодно.

— Расскажи еще что-нибудь, — попросил он.

— А я как раз думала об этом, — призналась она. — Только не знала, как предложить. Мне показалось, ты обиделся.

У него точно гора с плеч свалилась.

— А ну, — сказал он, непроизвольно улыбнувшись до ушей, — давай развлекай меня разговорами.

— Сейчас, — с готовностью отозвалась она. — Но ты, пожалуйста, не смейся.

— Почему? — удивился он.

— А потому что... Потому что я стесняюсь, — честно сообщила она. — Ладно, если захочешь — смейся. Это опять про космос... Тут правда место такое. И звезды. В Москве я никогда столько звезд не видела. Я недавно как уставилась на них, так даже сразу стих придумала.

Это его добило.

— Ты еще и стихи пишешь?

— Первый раз, — утешила она. — Хочешь, прочитаю?

— Еще бы! — ответил он без колебаний.

Она немножко помолчала, набираясь смелости. И сказала:

— Млечный Путь, а, Млечный Путь! Уведи куда-нибудь.

Это очень странно прозвучало. Доверчиво и мягко, будто фитюлька обращалась с незамысловатой просьбой к родному человеку.

Или к человеку, от которого ждет только добра.

«Мальчик, а, мальчик...» — вспомнил Вовка.

— А по Млечному Пути можно далеко зайти... — проговорила она, интонацией дав понять, что под «далеко» имеет в виду отнюдь не одни лишь райские кущи. И, чуть помедлив, закончила: — Но без Млечного Пути — просто некуда идти.

Вовка подождал. Может, это не все, может, есть еще продолжение, и фитюлька театральную паузу держит. Но — нет. Он даже затылком чувствовал, как она робко ждет его восхищения.

— Ну, ты прямо... это... — Он порылся в памяти, стараясь взять по максимуму, чтобы фитюльке стало приятно. — Прямо Анна Ахматова!

— По-моему, у меня философски глубже, — серьезно сказала фитюлька. Вовка только головой качнул: вот наглая... А врет, что стесняется. И тут услышал, как она хихикает ему в шею — сначала тихонько, потом громче, от души. Шее стало жарко, точно летним солнцем припекло. Это она пошутила, облегченно понял Вовка и засмеялся с нею вместе. И будто бежать стало легче.

— Слушай, а может, все-таки расскажешь, зачем тебе космос?

— Трудно объяснить, — отозвался Вовка. — Я еще сам не очень...

— Ой, я забыла! Молчи, молчи, береги дыхание!

— Да ничего, я еще в форме... Просто у меня пока... больше ощущений, чем мыслей. Понимаешь... Людям иногда надо иметь куда разъехаться. Когда все впритык, непонимания и злости больше, чем на просторе. Я по себе знаю. Это даже между близкими так. А между народами и подавно. У нас в мире столько злости, столько обид... Люди многие уже и сами бы рады от них избавиться... А въелось. Я вот иногда думаю. Кто-то, скажем, какую-нибудь занюханную долинку между гор двадцать лет делит и поделить не может. А предложить им по целой планете? Не Луну дохлую, конечно, и не Марс... А настоящие, полноценные планеты. Они называются землеподобными, ты, наверное, знаешь. Вот тогда станет видно, кто чего стоит. Кто способен жить сам, тот и будет. Да еще и развернется в полную силу. А кто потянется вслед за теми, от кого якобы хотел избавиться, кого крыл на весь свет... Стало быть, и вправду паразит. Момент истины, понимаешь?

Солнце, будто не желая докучать грубым светом, присело за деревья и, вкрадчиво подзадоривая, оставило их вдвоем. Снег выдохнул таинственную синеву. Просека поплыла. Иногда в какую-нибудь пустяковую пазуху, ненароком сложившуюся из многоярусных ветвей и висячих снежных груд, стреляла тягучая вспышка луча, поджигая золотое пятно на сумеречной лыжне — и каждое разбрасывало по мгlistым сугробам мириады переливчатых искр. То тут, то там... Казалось, мальчик и девочка бегут по Млечному Пути.

А люди прежние

Городок был невелик — в сущности, один громадный дом творчества, а не полновесный населенный пункт. Близость старого, почти с аналогичной целью, но совсем в другие времена наспех сляпанного центра практически не ощущалась. Архитекторы не зря ели свой хлеб с икрой, и не зря заказчик драл с них семь шкур: с квадратно-гнездовой древневосточной планировкой, в течение веков считавшейся самой рациональной — когда хирургически прямые улицы шинковали жилую плоть на мертвые однообразные шматки, — тут покончили. Тут заботились в первую голову о том, чтобы людям было уютно и нетипично. Поэтично. И потому фантазия творцов, постаравшись разбудить будущую фантазию жителей — а фантазия от будущих жителей требовалась просто по работе, — причудливо сплела из улиц, переулков, мостов, набережных, площадей, скверов и детских крепостей что-то вроде то ли Китежа, то ли ганзейской твердыни, когда ни один дом не напоминает соседний, ни один угол не прям, ни один квартал не похож на промзону и ни одно дерево — на ээка на прогулке; но в то же время — без средневековой грязи, тесноты и полной невозможности уразуметь, отчего это за домом пять сразу выпер дом сорок восемь. Здесь было увлекательно и бродить, и ездить; а носиться, отупев от вечного цейтнота, со скоростями за сто, все равно было некуда и не для чего.

И все же новое обиталище Кармаданова смутно напоминало Бабцеву шахматный Байконур, несущий отпечаток, казалось бы, совсем иной эпохи.

Может, просто чистотой, о которой после торжества демократии по-русски — когда всем все можно, кроме того, что нужно, и всяк волен гадить под себя в любых количествах, а вот убирать некому — в больших городах уже забыли.

А может, каким-то несуетным выражением лиц встречавшихся людей. Будто ни один не похмелялся уж по меньшей мере года два, и будто ни один не боялся, что его ограбят — не в подворотне, так в ЖЭКе, не в ЖЭКе, так в бухгалтерии на собственной же работе в день полочки... Будто здесь машинам не нужны противоугонные устройства, девушкам — газовые баллончики, а ответственным главам семей — веера сложных, дорогостоящих и обременительных знакомств во всех структурах, от коих зависит повседневность, от сантехника и до начальника райотдела милиции...

— Ну, вот, а ты боялся, что шарашка! — приветствовал Бабцева Кармаданов, открыв ему дверь и тут же заключив в объятия. — Рад тебя! — сказал он.

Бабцев в ответ тоже обнял Кармаданова, похлопал по спине... Что-то было в этом ненатуральное, принужденное. И Кармаданов будто очень устал и даже улыбку явно держал на лице с трудом — мол, чудесно, что ты все ж таки приехал, но как же не вовремя ты свалился на голову...

— И я тебя, — сказал Бабцев.

Конечно, шарашка, подумал он. Вызов нужен, чтобы приехать. И КПП...

Свобода у нас возможна только если как следует отгородиться от всякой соседней свободы свободно висящей колючей проволокой, по которой совершенно свободно течет электрический ток.

Он снял теплую куртку, переобулся в домашние тапочки, заранее приготовленные Кармадановым.

Не без любопытства озираясь, прошел в ванную помыть руки. Ничего особенного, не апартаменты, конечно, не пентхаус. Квартира как квартира. По меркам их панельно-блочного детства — дворец. Спору нет, уютненько...

— А что ты без Кати? — спросил Кармаданов, подпирая плечом косяк двери в ванную. Бабцев тщательно вытер руки. — Вы же вдвоем должны были прилететь...

— А мы вдвоем и прилетели, — ответил Бабцев. — Но она сразу пошла с Вовкой повидаться... А он, как нарочно, загулял где-то. Совести у парня совсем нет. Ну, пусть на меня ему плевать — ладно. Но ведь знает, что мать прилетает! В итоге она мне полчаса назад позвонила и сказала, что никуда не пойдет, пока не найдет сына, и пошла его искать к папе. Папа-то тоже у вас приютился. Ну, а я... Во-первых, я уже договорился с тобой о времени, а во-вторых... в конце концов, пусть они сначала вдвоем там поворкуют. Не хочу отсвечивать.

Странно, но у Кармаданова на лице написалось облегчение. Он будто сразу слегка отдохнул.

— Ну, и хорошо, — сказал он. — Будет у нас с тобой мальчишник. Руфь нынче совершенно не в форме.

— А что такое?

— Да как сказать... Знаешь, бывают такие совпадения в жизни... Вот не раньше, не позже, именно в день, когда вы прилетели. Я уж не хотел говорить...

— Да что такое?

Кармаданов мялся. Они прошли по старой привычке на кухню — лучшего места для дружеской беседы в России все ж таки нет и не будет. Бабцев достал из сумки причудливую бутылку чистопородного коньяку; улыбаясь, решительно поставил на стол.

— Ты не большой любитель, да и я не большой

любитель, — сказал он, — но, во-первых, русский обычай требует, а во-вторых, это по-настоящему вкусно и, может, даже полезно.

— Мне нынче и впрямь полезно, — совсем воспрянул Кармаданов. У него даже глаза засветились от мужского предвкушения. Какой полноценный мужчина не взволнуется и не испытает радостного подъема, получивши внеплановое предложение культурно выпить? — Ты просто гений, Валька. Но, скажи, с каких это пор ты вдруг начал чтить русские обычаи?

— Видение мне было, — загробным голосом сказал Бабцев. — Георгий Победоносец на «КамАЗе»...

— Да иди ты! — засмеялся Кармаданов, начиная суетиться и метать на стол все, что можно зачислить в разряд экстренно понадобившихся закусок. Бабцев уселся, с удовольствием глядя на его радостные хлопоты.

— Так что такое у тебя нынче приключилось, ты не сказал, — напомнил он.

— Серафима отчудила, — помрачнев, проговорил Кармаданов. Из рук его проворно прыгали на стол тарелки. — Отпустили мы ее на лыжах. Не в первый раз. Тут на окраине шикарный парк, плавно переходящий в бескрайние просторы России... Но девчонка-то большая уже, вполне вроде разумная и к лыжам привыкла, ходит неплохо. Мобильник с собой... Суббота, в парке народу должно быть полно, ее же друзей-приятелей, одноклассников. Честно скажу, в Москве я так безмятежно к этому не относился никогда — но тут совершенно, казалось бы, безопасно. За эти месяцы не слышал ни об одном казусе, которыми столица полным-полна...

— Ну и?

Кармаданов от воспоминания даже передернулся.

— Час проходит, два проходит, три проходит... Исчез ребенок. Мы ее в ежовых рукавицах не держим, крепились до последнего — вот придет, вот сейчас, ну, подождем еще пять минут, не надо паники... Руфь с тетрадками сидит, я с бумагами — рабочей недели не хватает, как всегда, ты же понимаешь. Нету. А темнеет уже! Наконец — все, лопнуло терпение, звоним ей. А нам отвечают: недоступен, мол, абонент. Ну, тут уже сердце в клочья. Побежали в парк. Нету. Расспрашиваем тех, кто там катается... Не видели. В милицию... в больницу... Ну, в общем... Руфь чуть с ума не сошла, да и я... А она, оказывается, решила, что давненько Северный полюс никто не открывал. Или землю Санникова, я уж не знаю... В общем, понесло ее прочь от города, в леса и доли. И там упала, да всерьез, до полной потери хода, расшибла ногу и телефон разбила об дерево.

— Умереть, какие ужасы ты рассказываешь, — сочувственно проговорил Бабцев.

Кармаданов помолчал. Чувствовалось, что он еще полон переживаний — мало времени прошло, и его пока не вполне отпустило. Да, подумал Бабцев, сегодня коньячок Семену воистину не повредит...

— И что дальше?

— Дальше началась сказка. Дели на десять. А впрочем, может, и нет... Я бы, говорит, обязательно замерзла насмерть, или меня бы волки съели...

— Тут есть волки?

— Откуда я знаю? Никогда не слышал, но разве ж я волками интересовался? Дело не в волках! Это у нее уже фантазия разыгралась, я думаю... Братья Grimm. Какая ж принцесса в лесу без стаи голодных волков?

— Принцесса?

— В общем, пока мы тут корвалол хлебали, у нее

целое приключение произошло. От неминуемой смерти ее спас благородный рыцарь... Вернее, если следовать ее рассказу дословно, не рыцарь, а русский богатырь. Высокий, красивый, могучий, скромный, потрясающе умный и умопомрачительно добрый. Посадил на спину и дотащил до города. Принес в травмопункт, дождался, когда ей снимок сделали, убедился, что нет никаких серьезных последствий, только сильный ушиб, донес до дому. А когда она позвонила в дверь, удрал. Мы его даже не видели. И она даже не знает, как его зовут. То ли постеснялась спросить, то ли вообще забыла о таких мелочах. То ли паршивке так показалось романтичней...

— Ищут прохожие, ищет милиция... — покачал головой Бабцев, открывая коньяк. — Вы тут, я смотрю, заняты реанимацией не только советского могущества, но и советских воспитательных мифов...

— Факт остается фактом, однако... — с однозначным интересом следя за руками Бабцева, сказал, усаживаясь, Кармаданов. — Когда у нас уже круги пошли перед глазами, когда я уже четырежды весь городок, наверное, обежал и пошел на пятый круг, а Руфь дома сидела в прострации ожидания, вдруг в дверь, Руфь говорит, — звонок. Бежит открывать — и вот она, дочурка, стоит, опираясь на стену, сладостно задумчивая, благостная, вся в эгических переживаниях... Ангел, объевшийся пирогом. Ну, я не видел, как они тут разбирались в первые минуты, а только вдруг они мне звонят — а я парк в очередной раз прочесываю, в сугробах уже роюсь... Звонят — можешь возвращаться, Сима дома... Вот такие дела. Теперь они обе спят после треволений, а я вот...

— И ты так и не знаешь, кто ее выручил?

— Ни малейшего представления. И она не знает.

Последнее, что он ей якобы сказал: не вздумай мне говорить «спасибо», потому что я всего-то прощения прошу...

— Умереть не встать, какая романтика.

— Именно. Серафима романтически потрясена до глубины души. Мы от нее подробностей ее собственных злоключений так и не сумели добиться — она только про своего спасителя могла рассказывать. С сердечными придыханиями... Понимаешь, фантазия у нее богатая, и, повторяю, все это можно было бы делить на десять — но ушиб-то действительно серьезный, и она действительно двух шагов пройти сама не может. Несколько дней ей в лежку лежать. Значит, кто-то ее действительно нес. Я уже и в травму, где ее смотрели, стаскался. Да, говорят, была такая — с молодым человеком... Какой из себя? Знаете, папаша, нам вот только и заниматься составлением словесных портретов тех, кто сопровождает травмированных. Не знаю, что и думать... Вот такой у нас нынче день.

— Жуть, — согласился Бабцев и разлил коньяк по рюмкам. — Ладно. Тогда первый тост не такой, как я планировал, а за благополучие наших детей. Симка твоя — просто чудо.

— В перьях... — буркнул Кармаданов, но ясно было: это он так, чтоб не раздуться от гордости.

— Да хоть и в перьях, — мирно согласился Бабцев. — Мне немножко обидно, конечно... У кого-то вон какие благородные сыновья растут... Богатыри, не вы! Но я Вовке все равно желаю только добра, несмотря ни на что. За это и выпьем. За детей.

Кармаданов взялся за рюмку и, прежде чем ее поднять, несколько раз от души кивнул.

— Я согласен, — заявил он потом, точно и без

того уже не было стопроцентно ясно, что он согласен.

И они выпили. То был добрый, чуть суровый «Хеннесси», настоящий коньяк безо всяких этих цветочных, парфюмерных выкрутасов, столь ценных в спиртном дамами, но сам с готовностью расцветающий горячим темно-коричневым цветком, едва посеют его в мужской утробе... Выпить вот так запросто на уютной, теплой кухне, с минимальной закуской, без хрусталя и трех сортов вилок — казалось, молодость вернулась. Да, взять немножко алкоголя — это, подумал Бабцев, оказалась правильная мысль. А он еще сомневался.

— Ты теперь что-нибудь расскажи, — попросил Кармаданов.

— Мне нечего, — покачал головой Бабцев. — Я тебя слушать приехал. У меня же ничего не меняется. Это у тебя новая жизнь на подъеме...

Кармаданов усмехнулся. Расценил ли он это как тонкую лесть, или воспринял как простую констатацию фактов — неважно. Похоже, он и сам считал, что у него новая жизнь на подъеме.

— Но ты ж понимаешь, Валька, это все не для газет...

— Слушай, я обижусь. Ты что, полагаешь, будто я уже не способен просто так с другом разговаривать, не выведывая информации для очередных сенсационных статей? Если хочешь знать — осточертели мне все эти сенсации, скандалы... Горячие факты, холодные факты... Чуть теплые факты...

— Неужто разочаровался? — ахнул Кармаданов.

— Нет, но как-то успокоился. Просто работа... Хлеб насущный даждь нам днесь.

— Вот как... А у меня, знаешь, наоборот. То есть нечистых на руку чинуш хватать за шкирку или хоть

за кончики пальцев — это тоже было отрадно, но... Как бы это... Заниматься противодействием плохому всегда второстепенно по сравнению с созданием хорошего. А у меня тут чувство, именно будто я создаю. Причем мало кто, кроме меня, на таком уровне может. Очень кропотливая работа — следить за всеми этими полупотайными потоками, которые нас питают, сводить их воедино, присматривать, не откусил ли кто-то где-то лимон-другой... Ведь от сумм, которые и так порой движутся не вполне открыто, самый большой соблазн откусить, понимаешь? И тут от нюха очень много зависит. Больше, чем когда-либо, правда. Самая интересная работа в моей жизни. А чувство, что уж эти-то деньги идут на достойное дело — оно, конечно, тоже очень важно.

— Вот за это мы и выпьем, — сказал Бабцев, разливая по второй. — За то, как я тебе белой завистью завижидую...

Подняв свою рюмку, он поразмыслил мгновение и запел, с легкостью импровизируя, на мотив «Трех танкистов»:

— Фининспектор все унюхал точно и пошел, авизою взметен...

— Для строительства ракетной точки... — с готовностью засмеявшись, подхватил Кармаданов.

— Спрятанный от жуликов лимон! — с хохотом закончил Бабцев.

Они чокнулись и выпили.

— А что за ракетные точки? — спросил Бабцев, невзначай зажевав ветчинкой.

— Да не знаю, — отмахнулся Кармаданов. — Это я так, в рифму чтобы. Какие у нас ракетные точки... Запускают там же, где и раньше запускали. Тут думают. Фундаментальными делами занимаются. И еще, знаешь, — собиранием умов.

— Как это?

— Ну, знаешь ведь этот гундеж: пора России снова земли собирать, пора... Провокационный гундеж и бесперспективный. Как их собирать? Войной? Да и зачем, у нас что — тесно? У нас не земель не хватает, а людей... Настоящих людей — особенно. Будет у нас перспектива — земли сами обратно подтянутся. Не будет перспективы — хоть изойди на минометы, никаких земель не соберешь, только возненавидят тебя пуще. Тут явно сообразили собирать умы, потому что без них перспективы не светят. Ты вот все про шарашку гонишь, про сталинскую колючку, а мы с Руфью и Симой летом поедем к Руфиным родственникам в Израиль. Отдохнуть, покупаться... По храмам походить — это же только попробуй вообрази, и уже дух вон от восторга: постоять на Голгофе... омыть ноги в Иордане, там, где Иоанн Иисуса крестил...

— Ты что, уверовал, что ли? — с легкой иронией, но вполне, впрочем, дружелюбно спросил Бабцев, прищурившись и откинувшись на спинку стула.

— Да не в этом дело... Уверовал, не уверовал... Но было же!

— Ах, вот оно что, — с утрированно понимающим видом улыбнулся Бабцев.

— И вот там, помимо Голгофы, как и следовало ожидать, полно наших... Жил-поживал и работал в Союзе, оказывается, совершенно замечательный ракетный конструктор Михаил Гинзбург. Был — да, как и многие, сплыл. И вот на днях заходит ко мне просто-запросто Алдошин... Это научный руководитель корпорации, пижон, знаешь, закваски еще тех былинных времен, когда стилиг на улицах дружинники хватали, а он уже тогда за узкие штаны готов был хоть на сто первый километр. И в то же время —

демонстративный демократ. Сидит такой вот, вроде меня, грубо говоря, бухгалтер в своем углу, сводит дебет с кредитом, и вдруг дверь открывается, и заходит семидесятилетний академик, лауреат всего, присаживается по-студенчески на угол стола и говорит: «Покорнейше прошу простить, что помешал, но не найдется ли у вас пары свободных минут, мне бы хотелось попросить вас о небольшом одолжении...»

— Игры больших начальников, — хмыкнул Бабцев.

— Знаешь, вообще-то все на свете — игры, — отозвался Кармаданов. — И я, честное слово, предпочитаю, чтобы начальники играли в «братья на семейном огороде», а не в «юберменьш из высокого кабинета».

— Это конечно, — мирно согласился Бабцев и разлил еще по половинке.

— Ну, ты гонишь... — опасливо засомневался Кармаданов, торопливо дожевывая свой бутерброд. После дневной-то беготни и нервотрепки он уже малость захмелел.

— Ну, я просто так, чтобы в рюмке светилось, — ответил Бабцев. — Хотя вообще-то тебе, по-моему, нынче бесполезно...

— Это точно, — вздохнул Кармаданов, и чувствовалось, что, отвлекшись было разговором, он опять будто лбом ударился о дневную жуть; глаза его съехали с Бабцева и уставились в стол. Потом он встряхнулся. — Все, все... Все кончилось. Все хорошо, что хорошо кончается... — Запнулся. — Кто же это все-таки был?

— Илья Муромец, — пошутил Бабцев. — При чем — бегущий по волнам... То есть по снегам.

— Прощайте, Гарвей... — тихо проговорил Кармаданов. — Мне еще многим нужно помочь... Я то-

роплюсь, я спешу... Никогда мне не нравился Грин. Все у него так высокопарно, неестественно... Даже обидно. По идее — согласен, а подано так, что тошнит...

— Эй, эй, — Бабцев с улыбкой помахал у Кармаданова перед лицом растопыренной ладонью. — Приди в себя, не улетай в беспредельность. Ты еще предыдущую историю не досказал! Не надо мне про Грина, давай про Алдошина.

— А, да! — спохватился Кармаданов. — Но, собственно, все почти. Я это к тому, что у нас тут совсем не шарашка. Кто бы меня из шарашки выпустил в объятия израильской военщины? А Алдошин... Вы, говорит, я слышал, едете в отпуск в Нетанию... Если у вас найдется там время, не передадите ли вы привет одному моему старому знакомому и коллеге... Только его еще надо найти. Но Израиль — страна маленькая, все друг друга знают, так что, я полагаю, поиск не составит труда... Передайте привет и, если у него сохранилось желание работать в российской космической отрасли, приглашение. Мы, мол, его тут ждем с распростертыми объятиями...

Бабцев засмеялся.

— Ты чего? Ты чего хохочешь?

— И ты мне говоришь, что у вас не шарашка! — проговорил Бабцев. — Да это же типичная вербовка!

— Пошел ты... — обиженно сказал Кармаданов и выпил.

— Нет, ты сам посуди! Человек... как его, ты сказал...

— Гинзбург...

— Человек Гинзбург живет себе, поживает спокойно на исторической родине. И вдруг этакий ком с горы! Является как бы в отпуск, как бы ни при чем невинный персонаж. И соблазняет его вернуться

туда, откуда человек Гинзбург — между прочим, в здравом уме и твердой памяти — давным-давно сдрапал, потому что ему тут, я уверен, было тошнехонько... А не поработаете ли вы, мил-человек иудейский, сызнова на наши ракеты, которые мы потом «Хамасу» давать станем... Что тебе велено ему сулить?

— Да ничего! — огрызнулся Кармаданов. — Интересную работу на переднем крае, и только!

— При какой зарплате?

— Не было о том разговора.

— Ну, знаешь, не верю. Но даже если и не было, то, помяни мое слово, ближе к твоему отпуску обязательно будет. Вот так же зайдет к тебе какой-нибудь симпатичный полковник ФСБ, присядет на край твоего стола и уважительно, с дружелюбной улыбкой скажет: а беглых жидочков подманивать лучше всего вот так и так... нет, вы не записывайте, пожалуйста, вы на память...

— Валентин, кончай, — серьезно сказал Кармаданов.

Бабцев помолчал. Пожалуй, и впрямь перегнул палку...

— Ну, не серчай, друган, — слегка пошел он на попятный. Помедлил. — Но ведь это все оттенки. Пусть это будет не полковник, пусть тот же Алдошин. И пусть он скажет не «жидочков», а как-то иначе...

— Нет, — ответил Кармаданов твердо. — Коричневый цвет не может быть оттенком лазурного...

— Коричневый — метафора более или менее понятна, — сказал Бабцев. — А лазурный — это что? Я грешным делом думал, ты коричневому кумачовый противопоставишь.

Кармаданов отрицательно покачал головой.

— Пойми, Валька, — задумчиво ответил он. — Я советскую парашу ненавижу не меньше твоего. И до сих пор ничего ей не простил... Как, впрочем, я и девяностым годам ничего не простил и не прощу. А лазурный — это небо. А за ним — звезды. Наши звезды. Их раскидало черт-те куда. А они друг по другу скучают... не могут не скучать... Я же вот по тебе скучаю. А они, помимо дружбы, еще общее дело делали. Великое.

Бабцев растроганно помолчал.

— Ну, раз так, то ладно, — сказал он. — Убедил. Молчу.

Некоторое время молчали оба, сосредоточенно отдавшись скромному блаженству неторопливого закусывания. В промежутках между оживленно кидаемыми друг в друга репликами хорошо пьется, но закусывается худо — не успеть выбрать, что схватить, не успеть прожевать. А вот когда сама собой взошла, заполнив кухню, тишина, душевная и теплая, будто летний полдень на одуванчиковой поляне, — нет ничего лучше, чем покатасть от щеки к щеке неторопливо измельчаемый немолодыми уже, но, к счастью, все еще вполне способными к дружеским застольям зубами вкусный ломтик ветчины или копченой колбаски.

— Конечно, — сказал потом Кармаданов. — Тут зависит от того, как ты к этому относишься, потому что всякое стремление к безопасности можно обозвать шарашкой. Ты понимаешь... Вражьи шпионы — это ж полбеда. Это, знаешь, фоновый режим, про который всерьез, по-моему, никто и не думает. Я, конечно, со шпионами, мягко говоря, мало общался...

— Но все-таки общался? — дружелюбно подколол Бабцев.

— В последний раз — когда «Тайну двух океанов» в детстве читал, — честно признался Кармада-

нов. — Не сбивай. Я вот что хотел сказать... Никто так не презирает собственных звезд, и никто так не стремится их ограбить, выпотрошить и выкинуть на помойку, чтобы больше не вякали, как свой же чиновник средней руки. Вот поэтому у нас и шарашка... Из-за них. И финансирование такое сложное, на шестьдесят процентов подспудное, — из-за них, сволочей...

— Даже на шестьдесят? — удивился Бабцев. Но эта тема показалась Кармаданову, видимо, совсем неинтересной или очень уж специальной, и он только ладонью махнул пренебрежительно: мол, не о том я, погоди...

— Конечно, тут иначе. Спокойнее, безопаснее... А какие тут детки! Руфь с уроков приходит — не радуется. Вдумчивые, любопытные... никто шмотками не выпендривается, ни от кого ни пивом не пахнет, ни табачищем... Можно, конечно, сказать, это потому, что мы железным занавесом отгородились от остальной России, как когда-то СССР от цивилизованного мира... А можно и наоборот. Грязь стараемся сюда не пускать. Ну, и бравуруем, конечно, маленько — мы же все интеллигентные люди, все помним, что такое пропускные системы и режимы... А отчасти даже где-то лестно. Я вот себя поймал, что, когда ты про шарашку говоришь, я обижаюсь на тебя только потому, что ты это... ну... произносишь слишком уж с неприязнью. Слишком уж. Мы и сами иногда наш город называем Королев-16... С иронией, да, но отчасти, знаешь, с гордостью.

Бабцев поднял брови.

— Почему?

— Шутим так... А в каждой шутке есть доля правды. Ну, Королев — понятно. Из-за нормального городка Королева на Клязьме, в котором всякая там «Энер-

гия» сидит... А шестнадцать... Из-за Арзамаса-16, честно скажу. Сверхсекретного Сарова, где в свое время водородную бомбу клепали.

— Ага! — не утерпел Бабцев.

— Да ну и что, в конце концов! Тебе наша бомба много вреда нанесла? Или кому? Японцам в Хиросиме, может, сахаровские бомбы кровь сильно попортили? А кстати... По секрету — у нас тут теперь тоже свой Сахаров есть...

— Свят-свят-свят, — сказал Бабцев. — И тоже под арестом?

— В Сарове он под арестом не был, не передергивай. С ним там носились как с писаной торбой. И у нас носятся.. По слухам, такой же гениальный... И вроде бы такой же малахольный. Примерно одновременно со мной приехал, относительно недавно. Это, кстати, насчет собирания умов. В полной нищете и неизвестности где-то в Питере дотлевал несколько лет, наслаждался расцветом демократии, а корпорация его просто спасла, и сейчас, поговаривают, на дальнюю перспективу он чуть ли не единственный светоч.

— Дальняя, ближняя... Сема, мне ж это ни о чем не говорит. Откуда я знаю, что у вас дальше, а что ближе?

— Да если по правде, мне это тоже по барабану. Или, как молодежь сейчас выражается, — параллельно. Я же не ракетчик и даже не физик. Так говорят. Ну, говорят, смотри, Кармаданов, в оба! Когда Журанков, мол, раскрутится — деньги понадобятся немереные...

— Журанков? — медленно переспросил Бабцев.

— Угу... — Кармаданову, судя по всему, было совершенно все равно, Журанкову немереные деньги потребуются для переворота в космических техно-

логиях или, скажем, Колобкову. Или Эфроимсону какому-нибудь. Важно, что потребуются. И их надо будет обеспечивать.

А вот для Бабцева... Для Бабцева это было совсем даже не все равно.

Бабцев, стараясь держаться как можно спокойней, взялся за бутылку и разлил по полрюмки. Рука не дрожала. И на том спасибо.

— А звать как? — спросил он.

И голос не дрожал. Ай да я, подумал Бабцев.

— Звать? — чуть удивился Кармаданов. — погоди, чтоб я помнил... Константин, что ли... А тебе-то что?

Бабцев взялся за рюмку. Криво усмехнулся.

— Ты будешь смеяться, — сказал он, — но Константин Журанков из Питера — это отец моего папы. Первый муж Катерины.

— Е! — громко сказал Кармаданов после долгой паузы. Будто икнул.

Потом они еще несколько мгновений молчали.

— Ну, жизнь играет, — пробормотал, очухавшись, Кармаданов. И тоже взялся за рюмку. Но не стал ее поднимать, выжидательно глядя на задумавшегося друга. Бабцев, точно просыпаясь, глубоко вздохнул.

— Да уж... — сказал он.

— Ты теперь к нашим секретам ближе меня, — проговорил Кармаданов то ли с завистью, то ли даже слегка с ревностью. — Просто зайдешь да поболтаешь невзначай... По-семейному.

Бабцев некоторое время молчал, а потом снова тяжело вздохнул и пробормотал:

— В том-то и дело.

И поднял рюмку.

Полтора часами раньше в квартире Журанкова раздался звонок.

Журанков никого не ждал. Осекшись на полуслове, он удивленно вытянул шею и немного повернул голову к двери. На лице его однозначно читалось желание, чтобы этот звонок оказался ошибкой или какой-нибудь случайностью в сложной самостоятельной жизни электричества: проскочил лишний электрон, вот и вздрогнул звонок во сне сам собой...

Настырный долгий звук раздался снова.

Наташка выключила свой диктофон.

Журанков как раз описывал ей со всеми возможными подробностями, как прятал в чавкающих под сапогами глинистых полях сверхсекретные технологии будущего. Наташка взялась за Журанкова и его жизнь всерьез и сама не сразу поняла, насколько это получилось удачно. Кто бы мог подумать! Журанков, когда не боялся, что его прервут, когда был уверен, что слушателю и впрямь интересно, во мгновение ока превращался в потрясающего сказителя. Пристально глядя на покладистый, никак не пытающийся его перебить или, наоборот, сбегать диктофон, время от времени вскидывая чуть вопросительные детские глаза на замороженно молчащую Наташку и убеждаясь, что она, в общем, тоже ему ничем не угрожает, он говорил ярко, емко, с немусорными подробностями, что не утомляли, но давали ощутить всем нутром вкус и аромат былых времен, в меру — с юмором, и при том великолепно держа нить, ничуть ее не забалтывая; время от времени в его рассказе, вроде бы посвященном делам давно минувших дней, ветвились нежданные отступления — по мыслям, как правило, нетривиальные, сочные, цветные, хоть сразу лови пригоршнями и перебрасывай на бумагу...

Разница между его невозбранно текущим в свободном пространстве повествованием и его редкими попытками высказаться на людях — блеклыми, косноязычными, словно заранее им же самим туго связанными по рукам-ногам — поражала. Нет, там он тоже не мемекал, как комедийный придурок, не тянул миллион раз уже обыгранное во всех карикатурах на ученых «э-э-э» — но он будто после каждого слова взглядом и интонацией спрашивал всех, кто кругом: «Вам еще не надоело? Нет? Я уже что-то устал... По-моему, все, что я вынужден произносить, неважно и неинтересно, и скорей бы уж мне добраться до конца...» Стоило кому-то произнести хоть слово против, он с готовностью кивал и соглашался: «Да, конечно, это гораздо вероятнее...» А перебить его было легче легкого; Журанков не то что покорно, но с радостью умолкал и потом, даже если прервался на середине фразы, да хоть на середине слова, больше не брался продолжать. Однажды у Наташки на глазах дошло буквально до абсурда: кто-то из молодых инженеров сдерживал зевок — мало ли у молодежи поводов недоспать! — и какое-то мгновение не мог ни всласть открыть рот (стеснялся), ни окончательно закрыть его (ну рефлекторная же реакция!). Журанков, пытавшийся втолковать группе техников некую высшую премудрость про потребные ему то ли соленоиды, то ли... Наташке все время хотелось вспомнить журанковский термин как «аденоиды», хотя она понимала, что этого не может быть, что это ее гуманитарный глюк; словом, завидев напряженно замерший в приоткрытости рот инженера, Журанков, решив, видимо, что тот ждет момента высказаться, прервал сам себя и убежденно заявил, ткнув в зевающего пальцем: «Да-да, а вот это, я думаю, крайне существенно!» И умолк. Потом

была очень долгая и чрезвычайно неловкая пауза. И, как вскорости стороной выведала Наташка, тот молодой болван еще и жестоко обиделся на Журанкова, ибо решил, что мстительный, желчный калиф на час нарочно его опозорил перед всем коллективом.

Так Журанков наживал себе врагов, и Наташка с ужасом прикидывала, какие громадные тучи гнуса, остервенело гудя и при каждом удобном случае мелко, но злобно кусая исподтишка, в самом скором будущем будут виться вокруг него, ни сном, ни духом о том не подозревающего и уверенного, что он со всем миром в ладу, всем уступает и никому в жизни не перебежал дороги...

— Вы ждете кого-то, Константин Михайлович? — спросила Наташка.

Журанков чуть растерянно пожал плечами, а потом на лице его проступило озабоченное понимание.

— Полчаса назад Вовка звонил, что они с Катей... с мамой разминулись, — сказал он. — Насколько мне известно, они договорились встретиться у него, но он опоздал. Может, это кто-то из них? Ищут друг друга?

— Понятно, — упавшим голосом сказала Наташка и поднялась.

— Подождите, Наташенька, — взмолился Журанков. — Может, я ошибся, или... В общем, у нас еще сохраняется шанс продолжить, я полагаю. После некоторой паузы.

— Вы не устали?

— Вы смеетесь, — улыбнулся Журанков ласково и благодарно. — Я удовольствие получаю.

Она таяла от одной его улыбки.

Она нерешительно улыбнулась в ответ.

— Не уходить? — для верности спросила она.

— Не уходите, — попросил он, глядя на нее снизу вверх, а потом тоже поднялся; будто телескопический штатив вырос из своего кресла. Уже привычным, затверженным до автоматизма жестом потянул вниз рукава рубашки — один, потом другой; так он до сих пор старался прятать шрамы на запястьях. Звонок требовательно полоснул воздух в третий раз.

— Может, я тогда отсюда в ваш кабинет перейду? — спросила Наташка. — Если это правда ваша жена...

— Да, очень дельная мысль, — пробормотал Журанков, торопясь к двери.

То действительно оказалась Катя.

Журанков открыл дверь и, нервно окаменев на миг, галантно посторонился, без слов и вроде бы совсем обыденно приглашая ее войти. Она посмотрела на него немного исподлобья и шагнула с лестницы в прихожую.

Они не виделись со страшных дней суда. А вот так, наедине, в тихом уюте дома — и вовсе с незапамятных времен. С тех времен, когда он мог называть ее «Катенька».

То, как он провинился, по старой памяти машинально назвав ее «Катенька» в мае, до сих пор едко саднило у него в душе. Больше таких ошибок делать было нельзя.

— Здравствуй, — первым сказал он и не назвал ее никак.

Клацнула за ее спиной, закрывшись, входная дверь.

— Здравствуй, — просто сказала она. И тоже никак его не назвала. Не раздеваясь и даже не дотронувшись хотя бы до верхней пуговицы своей пыш-

ной шубы, она сделала шаг внутрь, озираясь. — А где Вовка?

Он не знал, красива она или нет. Он не знал, стройная ли у нее фигура. Положа руку на сердце, он никогда этого не знал — даже когда любовался ею в детстве, даже когда в молодости начинал ухаживать за нею. Это были понятия совершенно из другой частотной полосы, из иного измерения. Бывают красивые пейзажи, стройные березы и сосны... Разве их по этой причине хочется обнять? Женщину хочется обнять потому, что она — родная.

Он неловко спрятал руки за спину.

— Он у себя, — ответил он. — Я разве не говорил тебе по телефону? Мы не живем вместе, у него комната в общежитии нашего университета... Мы оба почти сразу решили, что так лучше. Он взрослый парень, самостоятельный, а я его могу просто задушить мелкими потугами сделать как лучше.

— Я все это знаю, — терпеливо сказала она. — Но его нет в общежитии.

— Он там, — сказал Журанков.

Разговор с самого начала завелся странный: черное — нет, белое — нет, черное...

— Я только что оттуда.

— Он мне звонил меньше получаса назад. Он опоздал. Катался на лыжах, зашел дальше, чем собирался, не рассчитал время... Опоздал. Сейчас он на месте. Вы просто разминулись.

— Безобразие, — сказала она. — Уж сегодня-то мог бы...

Журанков чуть развел руками и виновато улыбнулся, словно это он сам, Журанков, в чем-то согрешил перед нею.

— Ребенок, — сказал он. — Все-таки он еще почти ребенок.

— Вы ладите?

Она спросила невзначай; но по тому, как она поймала первую же подходящую петельку в летучем кружеве разговора и стремглав вплела в нее свой вопрос, можно было догадаться, что ответ ее волнует не на шутку.

— Да, — проговорил Журанков, а потом опять чуть улыбнулся, предлагая не относиться к его словам слишком всерьез. — Наверное, потому, что не надоедаем друг дружке, — запнулся. — Но космосом он, по-моему, заинтересовался.

— Этого-то я и боялась, — проговорила она.

— Сам, — торопливо добавил он. — Первый начал спрашивать.

— Это прозвучало невероятно по-детски. Точно воспитательница застала двух карапузов рвущими друг у друга паровозик, и те пытаются оправдаться. Я не виноват, Марь-Ванна, он первый начал!

Она помолчала. Сделала еще шаг вперед. Он, отступая перед нею, попятился еще на шаг назад. Она остановилась на пороге комнаты. Осмотрелась.

— У тебя уютно. Большая квартира для одного... Две комнаты?

— Три.

— И для сына комната отдельно. С тобой тут считаются, я смотрю.

— Вроде, — виновато сказал он и слегка пожал плечами.

— О тебе вообще тут много говорят. Ты что, на самом деле оказался великий?

Он отрицательно покачал головой.

— Что ты, Катя. Я довольно жалкий. Просто мысли иногда в голову приходят нестандартные.

У нее дрогнули ноздри, точно внезапным порыв-

вом сквозняка до нее донесло неприятный, но, к счастью, отдаленный запах. И вдруг спросила:

— А сколько ты теперь получаешь?

Он ответил. Она чуть качнула головой.

— Неплохо...

Он виновато улыбнулся и сказал:

— Мне больше предлагали. Но... Что с ними делать-то?

Ноздри ее дрогнули снова.

— А почему ты без Валентина? — спросил он.

— Он сказал, что на первый раз нам лучше поворковать вдвоем, — рассеянно и не сразу, словно задумавшись о чем-то ином, ответила она.

— А-а, — понимающе протянул Журанков.

Она нахмурилась.

— Он в последнее время сильно изменился, — сказала она. — И я не уверена, что в лучшую сторону. Будто в нем завод кончился или пропал стержень...

— Катя, — твердо сказал Журанков, — мне кажется, это неправильно, что ты его обсуждаешь со мной.

Он был готов к любой ее отповеди. Но она лишь добродушно рассмеялась. Подняла наконец руки и расстегнула верхнюю пуговицу шубы.

— Жарко, — пробормотала она словно бы про себя. — Ну почему? — сказала она уже Журанкову. — Мы, в конце концов, все не чужие друг другу люди...

Журанков ощутимо растерялся и не ответил. Она подождала немного, но, ничего не дождавшись, опять спросила как бы про себя:

— Почему же он мне не позвонил?

Сразу поняв, о чем речь, Журанков ответил:

— Он мне сказал, что звонил тебе, как только вернулся в общагу и понял, что ты его не дождалась. Но у тебя телефон был выключен.

— Странно, — сказала она. Сунулась в сумочку и, точно конфету из бонбоньерки, двумя пальчиками вынула изящную, серебристо сверкающую игрушку телефона. Мимолетно всмотрелась. — Действительно, — с удивлением проговорила она, отпустив телефон упасть обратно. — Зачем бы мне его выключать?

— Может, ты боялась, что я, раз ты прилетела, буду тебе названивать? — спросил Журанков.

Она улыбнулась.

— Костя, не сходи с ума, — сказала она так запросто и так душевно, будто они и не расставались никогда. — У тебя преувеличенное мнение о моем нежелании с тобой общаться. Не понимаю, откуда.

Она сделала еще шаг вперед. Он отступил еще на шаг.

— По-моему, я никогда не давала поводов к тому, чтобы ты так дичился. В конце концов, мы прожили вместе столько лет, и я тебя любила... Очень любила, — мягко и будто что-то обещая повторила она. — У нас сын... Когда мы с Вовкой по телефону разговаривали, он очень хорошо и уважительно о тебе отзывался.

Этого Журанков не ожидал; он был уверен, что сын к нему настроен скептически. Молодой и крепкий парень, полный сил и уверенности, просто не мог не относиться к нему более или менее пренебрежительно, для Журанкова это была аксиома. От ее слов он расцвел тихой, несмело счастливой улыбкой.

— Правда? — спросил он.

— Да-да. Правда. Мне, ей-ей, любопытно, как вы общаетесь... Он меня ждет, ты сказал? Хочешь, пойдём сейчас к нему вместе?

Он ушам своим поверить не мог. На его лице

проступило нерешительное, недоверчивое изумление.

— Я был бы рад... — пробормотал он. Осекся. — Но я ж ему тут, наверное, и так надоел. А по тебе он соскучился, я знаю. Катя, — он просиял, — можно же ему позвонить! Давай его самого спросим?

В спину и в затылок ему дунул легкий порыв ветра — и по внезапно и разительно переменившемуся лицу Катерины Журанков понял, что сзади произошло нечто из ряда вон выходящее. Он резко обернулся. Дверь в кабинет была невозвратно распахнута настежь, а на пороге в позе пай-девочки, в позе душой и телом преданной и на все готовой ученицы стояла пунцовая Наташка, одетая лишь в небрежно накинутую и застегнутую на одну, самую нижнюю пуговицу рубашу Журанкова.

Эта древняя, светящаяся на локтях и лопатках рубаша, в которой Журанков еще в «Сапфир» ходил, висела на спинке стула перед рабочим столом. Встречая Наташку, Журанков переоделся из любимой в более приличную, поновее и поярче, а ту безбоязненно оставил дожидаться в потайной глубине квартиры, уверенный, что никто и никогда родных лохмотьев не увидит, ведь кабинет — место запретное, неприкосновенное, куда более священное, чем, скажем, какая-то спальня.

— Константин Михайлович, — срывающимся голосом спросила Наташка, — я вам сегодня еще понадоблюсь или можно одеваться?

Вид Наташки обнажен — точно шашка из ножон.

Этим присловьем в свое время окучивал юную Наташку ее первый; впрочем, вскоре выяснилось, что он вовсе не сам его придумал, а лишь подставил Наташкино имя в давний и чужой стишок. Но факт

оставался фактом: точно шашка из ножен. Особенно теперь, когда угловатую голенастую девчонку, почти подростка, как следует наточили девять прошедших лет.

Несколько мгновений две женщины: элегантная, ухоженная, уже несколько оплывшая, но прекрасно одетая и с безупречным макияжем — и жгучая, точно молодая крапива, слепящая, как внезапный свет, молча смотрели одна на другую. Глаза в глаза. Потом Катерина хрипло сказала:

— Ах, вот что...

Рывком повернулась и, изо всех сил стараясь идти без позорной торопливости, прошагала вон. И даже не стала хлопать дверью. Много чести.

Журанков, превратившийся было в соляной столб, бессильно обмяк и опустился, свесив голову, в кресло.

— Наташенька, — мертвенно выговорил он, глядя в пол. — Что ж это вы...

— А что она вам голову морочит! — с болью крикнула Наташка.

В глазах у нее был ужас. Казалось, до нее только теперь начало доходить, что она натворила.

— Мне перед ней совестно.

— Вот глупости.

— Мне еще с тех пор перед ней совестно.

— Ну почему?

— Не знаю. От хорошего человека жена не уйдет.

— Да что ж вы городите такое, Константин Михайлович! — она прижала кулаки к щекам.

Он помолчал.

— Ладно, — сказал он. — Что теперь. Одевайтесь...

Она не двигалась. Помолчала, набираясь храбро-

сти — потому что твердо знала: второй попытки не будет и все решится теперь же.

— Зачем? — тихо спросила она.

Журанков поднял голову.

Она, осознав, что он наконец-то на нее смотрит, неуклюже расстегнула последнюю пуговицу и, совсем не задумываясь, сколько у Журанкова с этой рубахой связано, стряхнула ее со светлых покатых плеч. Невесомая тряпка, медлительно пузырясь, спланировала на пол. Не ведая, куда деть руки, Наташка сделала маленький шагок в сторону Журанкова, а потом — еще один, порывистый, широкий; кинула ему на затылок ладони и прижала лицом к себе.

— Может, немного погодя... — пронзительно ощущая животом твердую выпуклость его носа и широкий лоб, чуть невнятно сказала она. Губы не слушались так же, как и пальцы.

— Наташенька, — тихо сказал он, — этого не может быть.

— Может, — выдохнула она.

— Это неправильно...

— Это правильно.

— Я не могу...

— А я могу.

Час спустя они лежали рядом, смертельно усталые, но ничего так и не произошло. Наташка по двадцать раз повторила самые ласковые, самые призывные и прельстительные слова, какие только знала и какие только сумела придумать заново, она исцеловала и вылизала его с головы до ног — на какие-то мгновения он набухал, становился каменным, пытался навалиться на нее, но стоило ей с готовностью раздвинуть ноги, безропотно и жадно подставляясь, он сразу обвисал, как жухлый мокрый лист. Можно

было спятить. Сердце ее, скачущее, точно лягушка на горячей сковороде — и то готово было провалиться вниз, ему, черт бы его побрал, навстречу, но он отшатывался, откатывался, не чувствуя, верно, ни ее кожи, ни ее преданности, ничего, кроме своего кретинского стыда и кретинских своих угрызений, и ей, из последних сил держащей себя в руках, истекающей девичьим соком, приходилось, выждав минуту, начинать все сначала.

И снова впустую.

Конечно, она могла бы закончить все сама, ртом хотя бы, — и расклинить это несчастье, это изнурительное, опустошающее ни вперед, ни назад. Но каким-то десятым чувством, в котором не было ничего от похоти, все — только от жажды будущего, она знала твердо: если с такого начать, он уже никогда не вырвется из тисков. Даже это бессильно взвалит на нее навсегда — и взаправду раньше или позже станет отвратителем.

Вы тут давайте меня любите, а я пока в потолок погляжу, взгрустну...

И потому сейчас они лежали неподвижно, не касаясь друг друга, и оба — с закрытыми глазами, потому что каждый не хотел видеть своего позора.

«Я не уйду, — думала Наташка. — Я не уйду сегодня, я не уйду завтра. Нельзя. Я не могу уйти, я не могу даже ноги спустить с дивана, потому что тогда он немедленно решит, что — все, бесповоротный конец. Пусть сам прогонит, если захочет. Тогда — да. Тогда — может быть. Пусть пинками меня из койки вышибает. То-то посмеемся... А сама — нипочем».

Вот и все, мертвенно думал Журанков.

Напряжение схлынуло. Отпустило паническое чувство, что вот сейчас или никогда; что последний шанс доказать себе и миру, будто он еще способен

хоть на что-то, — это немедленно и с легкостью исполнить поразительную прихоть юной красавицы, столь неожиданно опалившей его жизнь. «Я так и знал, — думал он. — Я же заранее это знал. У нас чуть не двадцать лет разницы — но это еще полбеды; а вот что у меня никогда ничего не получается, это беда. Но я и к беде привык. Можно больше не волноваться. Я был уверен, что у меня этого никогда больше не будет — и как в воду глядел.

А ведь я был уверен, что у меня уже никогда не будет и того, что только что было.

Это ведь тоже немало. Только я не успел ничего почувствовать... Жаль».

Ну, что поделаешь.

Он открыл глаза.

Она лежала, одну руку подложив себе под расплеснувшуюся на всю подушку черную жесткую гриву, другую обессиленно закинув высоко над головой. Она лежала на спине. Она будто спала. Она светилась.

У нее были нежные вишневые губы. Большие, чувственные...

«Эти губы меня пять минут назад целовали, с ума сойти. Какая жалость, что я почти ничего не ощущал.

Я уже много лет знал наверняка, что больше никогда не увижу женской груди. Тем более — такой... Молодой, тугой, точеной. Это невероятно. Даже можно положить руку ей на грудь».

Он положил ладонь ей на грудь, и у него перехватило дыхание. У нее дрогнули и приоткрылись губы.

Одна нога была полусогнута, и гладкое женственное колено доверчиво смотрело на Журанкова.

«Я был уверен, что уже никогда такого не увижу».

Можно потрогать это колено.

Он, богобоязненно стараясь не задеть скромный нательный крестик, повел рукой по ее груди. Упруто прочертил его ладонь и прыгнул наружу напряженный, теплый сосок. Опасливо дрогнул от прикосновения живот. Тяжелая, напевная округлость бедра медлительно увенчалась коленом. Ничего не чувствуя про себя, все — только про нее, Журанков, сам не понимая, зачем, легонько толкнул его от себя.

Полусогнутая нога, как створка гостеприимной двери, послушно откинулась, пустив его ошалелый взгляд туда, где он так безуспешен оказался телом.

Господи, почти с благоговением подумал он, какая же она красивая.

Кажется, только сейчас это заметил.

Можно ее поцеловать.

Он осторожно приподнялся на локте и наклонился над нею. Она не двигалась. Он осторожно коснулся ее полуоткрытых губ своими. Она не двигалась. Он снова положил руку ей на бедро и чуть потянул к себе. Он понял, что происходит, лишь когда вошел в нее, будто нож в масло, а она пружинисто выгнулась и застонала от долгожданного счастья. Он обеими руками запрокинул ей голову, ища губами губы, и только тогда краем сознания отметил, что она, наверное, ростом ему дай бог до подбородка.

Прежде он и помыслить не мог, что он — выше.

... — Наташ, ты...

— Я.

— Нет, я хотел спросить...

— Ни о чем не спрашивай.

— Но я же хочу знать...

— А без слов не знаешь? Ты что, по глазам не видишь, что я совершенно сомлела? Что я вся как сытая кошка? Я три раза успела.

— Наташ, а когда мы перешли на «ты»?

— Ой! Не знаю. Не заметила.

— И я не заметил.

— Это хорошо?

— По-моему, да.

— А как мы на людях будем?

— Н-ну... Не знаю.

— Я не смогу при чужих людях сказать тебе «ты». Ты великий и весь за облаками. Я не то что при чужих — я вообще, когда встану и оденусь, уже не смогу говорить тебе «ты».

— Серьезно?

— Абсолютно. А знаешь...

— Да?

— Ужасно приятно при тебе говорить такие простые слова: оденусь... Разденусь... Лучше, конечно, разденусь.

— Ты совершенно шальная девчонка.

— Да. Да-да-да. А можно я тебя тоже спрошу?

— Конечно.

— Я тебя никогда не спрашивала... Таких вопросов, в общем, не задают. Но теперь... вот пока мы еще совсем рядом...

— Спрашивай.

— Ты правда подаришь нам звезды?

Журанков помолчал.

— Главное, — сказал он потом, — найти физический эквивалент состояния, при котором множитель «эр» превращается в мнимое число.

Она тихонько засмеялась и поцеловала его в шею.

— Спасибо, — сказала она, — обнадежил.

Он улыбнулся.

— Во всяком случае, я постараюсь, — пообещал он. — Теперь у меня есть целых два человека, ради

которых хочется прыгнуть выше головы. Не по долгу и не из гордыни, а для удовольствия...

— Надеюсь, — негромко осведомилась она, — один — это твой Вовка, а второй — это не твоя злыдня, а я?

Журанков озадачился. Будто на выходе из дому его спросили, не забыл ли он чего, и он мучительно пытался вспомнить, погасил газ под чайником или нет. Потом он немного смущенно, но честно ответил:

— Значит, три.

Санкт-Петербург — Рощино — Коктебель
Март — октябрь 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЕТХОЕ НЕБО	7
Другие: Далекие маяки	7
ГЛАВА 1. Считаю чужие деньги	19
ГЛАВА 2. Свобода на баррикадах.	28
ГЛАВА 3. Радость Руси есть пити	39
ГЛАВА 4. Почка, почка, огуречик — был да вышел человек	52
ГЛАВА 5. Оазис	73
ГЛАВА 6. Время жевать камни	87
ГЛАВА 7. Крылатая каравелла	114
ГЛАВА 8. Мы едем, едем, едем	125
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ДЕТИ НА КЛАДБИЩЕ	141
Другие: Вражья досада — новая засада	141
ГЛАВА 1. Послед империи	149
ГЛАВА 2. Сердце красавицы — это иероглиф	178
ГЛАВА 3. Я, брат, Родину люблю	199
ГЛАВА 4. Лебединая песнь соловья	215
ГЛАВА 5. Где не пахли цветы	250
ГЛАВА 6. Средь нас был юный барабанщик	260
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПОКУДА КРОВЬ НЕ ПРОЛИЛАСЬ.	277
Другие: Маленькие гаулейтеры большого зверинца	277
ГЛАВА 1. Спасая друга	285
ГЛАВА 2. Мыслишки-то я куда дену	310
ГЛАВА 3. Опять пролилась.	318
ГЛАВА 4. Опять не пролилась	332
ГЛАВА 5. Лжесвидетель	349
ГЛАВА 6. Новое небо	362
ГЛАВА 7. А люди прежние	378

Литературно-художественное издание

Рыбаков Вячеслав Михайлович

ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

Издано в авторской редакции

Ответственный редактор *В. Мельник*
Художественный редактор *Е. Савченко*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *С. Пяташ*
Корректор *Л. Баскакова*

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 11.04.2007.

Формат 84×108 ¹/₃₂. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная.

Бумага тип. Усл. печ. л. 21,84.

Тираж 8100 экз. Заказ № 7106.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.